# НЁМАН

# 12/2016
ДЕКАБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**Издается с 1945 года**
**Минск**


## СОДЕРЖАНИЕ

---

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА



Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
*e-mail: info@zvyazda.minsk.by*

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
*e-mail: neman-lim@mail.ru*

*Подписные индексы:*

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

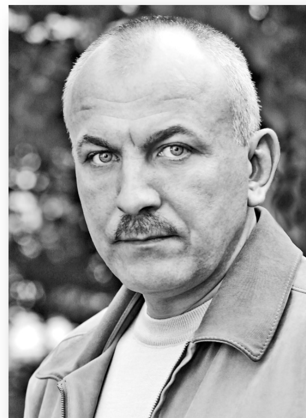
Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 13.12.2016. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,73 . Тираж 1512. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

*К сведению авторов*

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



Анатоль КОЗЛОВ

# *Ладонь на плече*

*Повесть*

***«Он воевал пятьдесят лет. Непрерывно. Ежедневно и еженощно вел войну полстолетия. Наступления сменялись позорным бегством и минутными замирениями, но проходили счастливые часы отдыха, и он снова бросался на темные уголки своей души. Да, Хотейко воевал сам с собой. До полного изнеможения и отравы в крови. Он уничтожал в себе маленького человечка: мелкого и мерзкого завистника, льстивого и трусливого муравья, гнусного клеветника и скаредного хвастуна. Однако, несмотря на тщедушие маленького врага, который, казалось, вот-вот околеет в мощном теле, — пятьдесят лет ничего не получалось у Хотейко. Да и, Господи спаси, если бы кто-нибудь из враждующих сторон победил, получилась бы непоправимая трагедия с комическим финалом. Хотейко в таком случае был бы вынужден пойти на похороны самого Хотейко. Не больше и не меньше. Поминки по самому себе не каждый способен выдержать и не спятить. Так зачем же Хотейко война? Непрестанная, каждодневная и бесконечная? Ответ до примитивного прост: Хотейко нужна война, чтобы жить. Жить в согласии с самим собой. Парадокс?.. Нет!»***

Вирун оторвал взгляд от закопченной стены полуразрушенного строения и присел в противоположном углу. Текст был написан обычным мелом. Почерк неизвестного автора был неторопливый и аккуратный. По-девичьи старательный. Только странноватым казалось то, что для прозаического опыта человек выбрал столь неподходящее место. Ну, пусть бы написал: «Вася + Катя = любовь», но неизвестный замахнулся на философское обобщение жизни некоего Хотейко. Что автор намеревался этим подчеркнуть? Да и вообще, зачем тратил мел и время в заброшенной и наполовину разрушенной двухэтажке на окраине Минска?

Вирун случайно забрел сюда осенним вечером. Поселившись в новом микрорайоне столицы, мужчина захотел узнать все окрестности, чтобы чувствовать себя более раскованно и привычно. Не чувствовать себя сиротой среди однообразных серых строений спального района ему помогала вечерняя прогулка по лесным островкам, что по непонятной причине оставили строители, а также блуждание по старым, заброшенным баракам пригородного поселка. Что здесь находилось, Вирун и теперь не знает. Обычно, отработав полный день в своей конторе, добравшись на метро домой, он торопливо перекусывал и, переодевшись, отправлялся в путешествие. Пускай и в недальнее, даже примитивное, но — путешествие, на пару часов. Тут мужчина отдыхал от

надоевшего многолюдия и городского шума. Блуждая по пригоркам пустырей и низинам, заглядывая в брошенные и расхристанные ветрами бараки, Вирун оттаивал душой и до боли в сердце понимал простую истину: все вокруг быстротечно и переменчиво. Ничего нет в природе, а тем более в жизни, постоянного, вечного. Каждый день — это оторванный лепесток от цветка жизни. Приближение к неизбежному. Когда-то он болезненно боялся таких мыслей, старался обходить их. Всяческими хитростями принуждал себя раскованно посмеиваться над самим собой. Мол, меньше думаешь — дольше живешь. Будучи по натуре одиноким, Вирун старался выглядеть для своего окружения законченным оптимистом. Правда, удавалось ли ему это, он точно не знал. Дважды женившись и дважды разведясь, мужчина решил: семейная жизнь не для него. Ему постоянно хотелось бескорыстной, искренней любви, а ему подворачивались властолюбивые и завистливые подружки… А может, ему так казалось? Однако и по сей день Вирун ни разу не пожалел, что тихо и мирно разошелся с ними. Не пришлось ему переживать и за детей: их не было ни от одной из жен. Зачем плодить нищих? Планета и так перенаселена! С ним не соглашались, спорили и приводили сотни доводов в пользу малых карапузов. Но Вирун оставался при своем мнении: никаких детей. Нет, у него самого было хорошее детство. Относительно этого никаких комплексов не должно существовать в его самосознании. Не хотел Вирун наследников — и все тут. Возможно, кто-то видел в этом причину разводов довольно привлекательного и ничем не обделенного Богом мужчины. Выше среднего роста, темноволосый и стройный мужчина часто ловил на себе взгляды изголодавшихся по ласке и теплу «сороковок». Особенно в метро, где хорошее освещение и плотное, порой слишком плотное соседство между пассажирами. Порой до неприличия плотное. Такое, что чувствуешь стук сердца соседа и запах проработавшего целый день организма. Но, как говорят острословы: если не нравится общественный транспорт, езди на такси…

Вирун бездумно сидел в противоположном углу барака и невидящим взглядом упирался в закопченную стену с текстом. В некий момент ему показалось, что это он сам написал, поскольку согласен с каждым словом неизвестного автора… Хотя зачем эта война с собой, если человеку нужно так мало в жизни. Притом каждому. Ну, необходимы жилище, работа, здоровье... Для кого-то — семья. Кому-то, но не Виpуну. К чему чрезмерные амбиции, от которых тесно и душе, и сердцу? Не нами ведь сказано, что на тот свет ничего не заберешь…

«Ну, ты и додумался! — улыбнулся мужчина. — С такими мыслями человечество вернется обратно в пещеры. А почему бы и нет? Неплохо было бы, если бы мы, наконец, отрезвели от своего всесилия-бессилия…»

За проломами окон начал сеяться спорый дождь. Под порывами ветра тонко поскрипывали ветки сирени. Через дыры на коньке крыши капли падали в барак и беззвучно угасали в кучках мелкого мусора. Запахло одиночеством поздней осени: едва живой пожелтевшей травой, раздавленным шифером, ободранными обоями да и печалью низкого неба. Среди всех этих разнообразно-одинаковых запахов Вирун чувствовал себя уютно. Здесь жила тишина. Глубокая и всеобъемлющая. Медлительная и тягучая, как сахарный сироп, твердо-прозрачная, словно янтарь. Тишина, которой всегда не хватает человеку, чтобы чувствовать себя счастливым и защищенным, независимым и свободным не только в мыслях, но и в поступках. Потому что печаль-тишина очищает, вымывает из головы множество ненужной, но липкой, как смола, информации. Тишина дает возможность прислушаться и скрытым третьим

глазом присмотреться к самому себе. Наконец, уравновесить желания и возможности. Тишина питает в глубине души зерно счастливого прошлого. Того прошлого, когда радовался даже дождевому червяку на обочине дороги, хлюпанью босых ног в лужицах футбольного поля. Она же, тишина, щемящей сладостью заполняет сердце при воспоминании о первом постижении взрослости… Вирун в эти минуты и наслаждался непривычной тишиной под стук капель в почерневшем бараке. Он по сути был счастлив. Усталый, расслабившийся и счастливый. Бездумно опустив веки, он задремал. Слух притуплялся, тело охватывало ленивое равнодушие, дыхание замедлялось, успокаивалось. Синичка, присевшая на разломанный подоконник, с любопытством взглянула на крючковатую фигуру человека у глухой стены и, скокнув раз-другой по почерневшему дереву, спрыгнула на кучу щебня посреди здания. Повертела головкой, прислушалась: а нет ли где опасности? Перелетела еще ближе к заснувшему Вируну. Птичке хотелось узнать: зачем кто-то пришел в это глухое место? Что он тут делает? Кого ищет? Опасен он или нет? Выждав еще минуту и поняв птичьим разумом, что спящий человек ей не угрожает, синичка юркнула через пролом в потолке на чердак, к своему жилищу или временному пристанищу.

А Вируну снилось глубокое подземелье с отполированными блестящими полами и грубо отесанными каменными стенами, в которых яркими звездами, между пылающих факелов, сверкали в окне алмазы, а у стен, как галька, валялись золотые самородки. Безмерно огромный подземный зал был наполнен каким-то туманно-голубым светом. Сполохи живого огня факелов и призрачного света хорошо сочетались, не нарушали окружающей гармонии. Вирун заметил вдалеке прозрачные, в несколько десятков метров высотой сталактиты. Они грациозно опускались откуда-то с потолка помещения и стрельчато застывали у пола. От них веяло теплом. Мужчина чувствовал это лицом. Чтобы убедиться в том, что не ошибается, он протянул перед собой руки. Словно слепой, ищущий поддержки. Ладони охватило ощущение уюта, по кончикам пальцев, показалось, кто-то осторожно стреканул пучком крапивы. Вирун не отдернул руки, наоборот, сделал несколько шагов вперед, все еще держа их перед собой. Самое удивительное, что мужчине показалось, нет, он был убежден, что уже бывал в этом прекрасном месте. Он на ментальном уровне точно помнит, где находится это подземелье. Даже может показать на карте, потому что с самого детства, с той минуты, как, поскользнувшись, упал в полынью на озерце возле дома бабушки, он запомнил этот зал подземелья. Всем своим великолепием, неповторимостью и переменчивостью оно впечаталось в мозг. Вирун помнил, как играл с тяжелыми самородками, перебрасывая из руки в руку тяжелые металлические гладыши. И теперь ему захотелось поднять пару темно-желтых самородков. Он помнил, что и они когда-то были не зябко-холодными, а будто согретыми яйцами в гнезде курицы-несушки. Вирун опустил правую руку и, шагнув к стене, нагнулся к самородкам.

— Не все то золото, что блестит, мой дорогой, — услышал он приглушенный голос.

Он тотчас выпрямился и огляделся по сторонам. Никого не увидев, мужчина стал внимательно вглядываться в пространство зала. Но — никакого движения вокруг. «Странно, — прошептал сам себе. — Такое богатство кто-то должен охранять. Во всех сказках и преданиях так говорится».

— Это не сказка, дорогой Вирун. И не предание, — снова послышался голос, — а реальность. Или, правильнее сказать, реальный соблазн для мелких душ. Для тех, кому в жизни всегда всего мало. Сколько бы и каким

способом ни хватали, а все равно им кажется мало. Большинство таких людей рядом с тобой живет. Или я ошибаюсь?

— Кто ты? — произнес в пространство Вирун. — Я не могу говорить сам с собой! Покажись.

— Я и не прячусь. Пройди к центральным сталактитам и ты увидишь меня.

Мужчина уверенно пошел вперед. Он сделал добрую сотню шагов, пока дошел до прозрачно-ледяных, даже заскрипело на зубах, сталактитов. Пролез между плотно стоявшими двойниками и увидел деревянную, цвета топленого воска, лодку, просторную и надежную. Нет, скорее, это была ладья, на какой когда-то путешествовали викинги-завоеватели. В этой доисторической посудине можно было легко поместить человек тридцать. Но в лодке-ладье стояла одинокая стройная девушка. Белолицая, чернобровая, с ясно-зелеными глазами, с водопадом волос до бортика лодки, она с печалью глядела на гостя.

— Ну и зачем ты снова пришел ко мне? — вздохнула хозяйка ладьи. — Я же отпустила тебя в детстве. Радовалась, глядя, как ты живешь, что не уходишь с избранного пути, что никогда не называешь белое черным, а черное белым. Дуракам говорил, что они дураки, обиженным подставлял плечо и протягивал руку. Что теперь бунтует в твоей душе? В чем ты усомнился? Что омрачает твои дни?

— Умирает у меня вера в людей. Не нахожу я чистоты помыслов и стремлений у моих соплеменников. Народ мой не живет, а проживает, не горят их души огнем чести и гордости за себя и своих близких. Нет народа, и нет меня вместе с ним. Я потерялся в безликой толпе. Я такой же потребитель, как миллионы. Я начал бояться. Понимаешь, бояться!

— Врешь! Ты никогда и никого не боялся. Еще в детстве ты мне сказал, что, кроме души, у человека ничего нельзя отнять. А все материальное — это пепел. Даже хуже — дерьмо. А душа неподвластна людям.

— Теперь я сомневаюсь в этом.

— Неправда, — не согласилась девушка. — Ты просто в возрастном раздрае. Так мне кажется. Вот посмотри: вокруг тебя безграничное богатство. Не измеримое никакими человеческими мерками. У тебя даже мысли не возникло что-нибудь прихватить с собой. Точнее, чтобы иметь хотя бы крупинку того, что видишь.

— Зачем? — равнодушно спросил Вирун.

— У меня вопросов больше нет.

Откуда-то подул ветер. Этакий своевольник. Весенний ветер-озорник. Он раскачал ладью, поиграл с волосами девушки, повернулся юлой вокруг двойников-сталактитов и затих на горке золотых самородков.

— За каждый наш поступок мы отвечаем перед самими собой. Так ты учила меня, — после минутного размышления заговорил мужчина. — Да и не только перед собой, а еще и перед той неизвестной Силой, которую не видим, но ежеминутно чувствуем и душой, и разумом. Так в идеале должно быть в человеческом обществе. А этого нет. Я не праведник. И никогда не стану им. Однако есть простейшие, не нами придуманные принципы, по которым стоит жить, чтобы чувствовать себя человеком, а не вороном на куче трупов. Я хорошо понимаю и то, что прежде чем создать, необходимо что-то разрушить. Воспитывая в себе сегодняшнего, я разрушаю вчерашнего. Поднимаясь на ступеньку над собой, я в то же время опускаюсь на колени. Так мне кажется.

— Такая раздвоенность в мыслях наилучшим образом характеризует твой жизнесмертный возраст. Ты дошел до полувековой границы, дожил не слукавив… или не так?

— Ох, разное было. Не подобрал котенка в кустах. Голодного и мокрого котенка. Бросил двух жен. Предал собаку, которая мне поверила. Поверила, как никто до сих пор. Это мой наибольший грех. Не могу себе простить и сегодня.

— Та собачка давно уже в лучшем мире. Не в вашем человеческом. И она простила тебе. Потому что ты человек.

— Почему же тогда при встрече с собакой, которую выгуливают, у меня болит сердце? Я виновато улыбаюсь каждой из них и совсем не замечаю, не помню их хозяев.

— Пока это не диагноз. Иди и живи. Отпускаю тебя и теперь. Могу подарить пригоршню самородков. А если не ленишься, то наковыряй себе горсть алмазов, — одними губами улыбнулась девушка. — Не стыдись.

— Спасибо, не надо.

* * *

Вирун резко пробудился от того, что огромный паук пытался залезть в его левую ноздрю. Волосистыми лапками он старался забраться в понравившееся место. Стряхнув членистоногую гадость затекшими пальцами, мужчина громко чихнул. Только теперь он почувствовал, как безудержно стучит, колотится сердце в груди, а в ушах морским прибоем пульсирует кровь. Он глубоко вздохнул и задержал дыхание. Попытался успокоить сердцебиение. Выждав несколько секунд, он выдохнул и повторил этот способ лечения снова. Сердце понемногу успокаивалось.

«Ну, надо же так. Ай-яй-яй, — укорял себя Вирун. — Вот околел бы в разрушенном бараке, и никто бы не спохватился. За несколько дней собаки съели бы и косточек не оставили. Нельзя столько пить кофе и выкуривать по две пачки сигарет в день. Сердце у меня, оказывается, не железное, как и у всех».

Он не спеша, опираясь руками на стену, медленно поднялся. Отряхнул с брюк прилипший сор, разгладил легкую хлопчатобумажную куртку и взглянул в слепое окно на улицу. Там, за стенами барака, явно смеркалось. Воздух будто набряк густым и тягучим туманом. Дождь закончился, но влажность, казалось, заполнила весь простор, каждую щель. Вирун перевел взгляд от окна на стену и остолбенел. Рядом с предыдущим текстом он увидел новый. Написанный таким же ровным, аккуратным и неторопливым почерком. Невольно провел тыльной стороной ладони по глазам и шагнул вперед, чтобы лучше разглядеть текст, прищурился и начал читать.

***«Скучно. Жить ему скучно, а умирать не хочется. Или еще рано? Слишком рано. Пока, слава Богу, не ушли в лучший мир родители. Не рождены (да и родятся ли?) дети. Его дети. Ага, сколько же их бродит по белу свету?.. Если бы он мог подсчитать. Точно знает, что с десяток есть, а остальные? Вспоминает иной раз тех девушек и женщин, которые, не сказав ни слова и опустив глаза, едва уловимо, машинально прикрывали животы, когда возлюбленный безжалостно оставлял их. Молча уходил. Искал счастья. Свое счастье, которое, казалось, здесь, рядом с очередной дочерью Евы, ему не суждено. Счастья просто не***

***будет с Вероникой, Анжелой, Виолеттой, Надькой, Ириной… И он шел дальше. Забывал обо всем и обо всех. Потому что хотел своего счастья! Чувствовал его вкус, касание, дыхание и аромат там, за дверью квартиры. И срывался с места, стремглав мчался в неизвестность. Бежал от их тепла, от ласк и любви в дождливый вечер, в снежное утро и жаркий полдень. Мчался навстречу неизведанному, туманному, похотливому и переменчивому счастью… А почему бежал? Он и теперь бежит, правда, уже не с той скоростью и подъемом. Но бежит, бежит еще, хотя и становится скучно жить. Потому что изведано, познано многое. Но все ли? Если бы знать… Ему кажется, что человек и вообще не знает, чего хочет. Потому что по жизни каждый странник и искатель приключений. Останавливаются только те, кто с рождения ленив или физически бессилен, искалечен… Или боится потерять те крошки «счастья», которые случайно подобрал во время предыдущего забега. Жиреет тело, заплывает жиром и стремление к поиску. Порой душа бунтует, но куда ей без рыхлого уже тела. Марафонец превращается в метателя молота. Молота желаний… С чего же нам начать? Знающие люди говорят, что с любого места. Необязательно с первого шага или поцелуя, или пионерского галстука на шее… Главное начать. Рассказ поведем не только о любви, верности или измене. Будем говорить о жизни конкретного человека, на определенном участке земли в ограниченном пространстве. Начнем мазками создавать картину. Или лучше сказать, писать образ. Что получится из этого? Возможно, пейзаж, а может, и абстракция или мозаика. Поживем — увидим».***

Прочитал до последнго слова — и бросило в пот, взмокли ладони, увлажнились глаза. Мужчине показалось, что он выскочил из парной бани. Новый текст на стене был определенно о нем, или почти о нем. Кто-то невидимый будто бы заглянул в глубину его души и, внимательно посмотрев, увидел то, что мужчина прятал даже от себя. Не хотел проговаривать вслух. Потому что однажды произнесенное не даст покоя уже до смерти. Лучше пускай оно, больное, сидит занозой в теле и изредка покалывает. Главное, чтобы не воспалилось, не сделалось гнойником. А когда превратится в фурункул, само же прорвется, незаметно очистится и затянется новой кожей. Молодой и гладкой. Конечно, может образоваться шрам, но он вряд ли будет мешать. С ним можно жить, не обращая внимания на отметину. Разве мало их и на теле, и в душе? Да не сосчитать этих шрамов! Исполосован ими как внутренне, так и внешне каждый. Вирун тут не исключение. И ему тоже не чужда поговорка: жить как набежит. Он так же, как большинство, прячет от посторонних глаз некрасивые поступки, похотливые мысли, желания, мелочность стремлений. Вирун такой же, как все. Или почти такой… А может, и хуже человеческого большинства… Если бы знать, каков ты и кто ты есть на самом деле…

— Боже, я схожу с ума! Определенно шизанулся! — прошептал мужчина пересохшими губами.

На лбу его крупными каплями росы выступил пот, а губы пересохли, как почерневшая пижма среди зимы на лысом пригорке.

— Кто и когда мог написать на стене этот текст? Я же сидел напротив. Неужели не услышал, как кто-то вошел? Да и тот человек, который вошел, почему не увидел меня? Не мог он не увидеть другого в такой маленькой комнатке барака. Происходит что-то не то… А к чему, к какому событию непонятный сон? Пещера с невообразимым богатством, красавица в лодке...

И приснится же такое! Да где? В наполовину сгнившем бараке довелось увидеть горы золота. Тексты, написанные неизвестно кем на закопченной стене. Белое на черном… Подземелье и вещунья среди богатства. — Вирун стоял ссутулившись и напоминал теперь старого коршуна, попавшего под проливной дождь. Уголки губ на его лице опустились, подковой повисли над прямоугольным массивным, как любят рисовать американцы на своих военных плакатах, подбородком. В глазах же застыла глубокая тоска и неприпрятанное недоумение или даже растерянность. По всему было видно, что человек запутался в своих переживаниях и мыслях. Он затих, будто муха, попавшая в паутину. Но через минуту, собравшись с силами, существо начнет сражаться за свободу, жизнь и полет по замкнутому кругу. По кругу, который называется так просто, но так значительно — жизнь. Однако пока неизвестно: хватит ли ловкости, навыков и способностей выпутаться из липких тенет? Выбраться из одного плена, чтобы попасть в новую ловушку. Может, и более опасную и угрожающую, чем предыдущая.

Эх ты, человек-муха, или муха-человек, все бежишь, летишь, нет времени остановиться и осмотреться, перевести дух и внимательно взглянуть под ноги, направо, налево, вверх, в конце концов — перед собой. Посмотреть и понять, каких усилий стоит твоя гонка. Гонка за более вкусным куском и привлекательностью новой одежды. Потому что когда ты, наконец, остановишься и осмотришься, то поймешь, что твой желудок полон, а от одежды и других доброт уже нет силы почувствовать себя свободным…

Ну что, перевел дух? Беги дальше, иначе замерзнешь. В подсознании каждого антоновым огнем пульсирует мысль: движение — это жизнь. Только так и не иначе. Вот и беги, за горизонтом призрачной мечтой переливается всеми цветами радуги недосягаемая башня абсолютного счастья. Твоего счастья, удовлетворения и отчаяния.

Вирун всем существом чувствовал ирреальность ситуации. В его душе будто бы образовалась трещинка-разлом, через которую и хлещут теперь раздрайные мысли и чувства. Ну, первое: чего потянуло его в этот заброшенный, разваливающийся барак? Умный человек поостерегся бы и шаг ступить в такую халупу, а он, как обалделый, влез в самую середину, к тому же заснул тут, как счастливый еврей после базара. Во-вторых, увидел текст на стене, написанный будто про него и о нем. В-третьих, после сна рядом с первым текстом кто-то написал второй, а он, Вирун, не смог подкараулить писаку. Если всерьез задуматься над последовательностью таких происшествий, то приходит мысль: случайно все это или нарочно, специально кем-то? Тогда возникает следующий вопрос, даже два: кем и ради чего?

Вирун вздохнул полной грудью и, проведя указательным пальцем правой руки по черной стене рядом с текстами, сделал, не оглядываясь, пару шагов назад. На том месте, где палец коснулся закоптелости, остался беловатый след. Извилистый, нервный, как и жизнь самого Вируна. Еще раз взглянув на текст, мужчина загадочно улыбнулся сам себе и, вплотную подойдя к стене, дохнул на ладонь, как на печать, приложил ее к стене.

— А это моя роспись, — громко сказал он. — Я согласен со всем, что здесь написано. Заверяю и соглашаюсь с изложенным здесь. Но скоро начнет темнеть. Надо шагать домой. Никогда не поверит Моника-Моня, когда расскажу ей о своих сегодняшних приключениях. Нет, не поверит. Она из тех женщин, которым надо не только услышать, но и попробовать на вкус, потрогать, понюхать и отщипнуть крошку или щепоть. А пойти взглянуть самой и убедиться она не захочет. Слишком горда, чтобы болтаться по струхневшим,

пропахшим гнилью и доживающим последни часы баракам. Выпестована она городом. Ей тишина не нужна. Подавайте Монике-Моне шум городских улиц, клацанье трамвайных колес о рельсы, шум бесконечных авто и толкотню людского потока.

Пока говорил, мужчина успел уже выйти на вольный воздух. Он приостановился на минуту у входного проема, через который ворвался в строение утомленный за день ветер. Озорник, забравшись в барак, раз-другой ударился о стены и утих. Видно, наконец, нашел то место, которое искал. Тут ему никто мешать не станет до самого утра. Потому что и Вирун освободил барак, собрался в свою небольшую, но уютную квартиру. К молчаливой, хотя и с характером, ревниво-недоверчивой Монике-Моне. Конечно, она не бесприютный ветер, которому нужно раздолье, широта, небесный простор, шум деревьев и невесомость облаков.

Монике-Моне достаточно голоса, его ненавязчивой заботы и приглушенных ковром в зале шагов, чтобы почувствовать свою защищенность и необходимость хозяину квартиры. Моника-Моня не любит долгих отлучек Вируна. Он усвоил это давно. Она нервничает и волнуется за него. Чутко вслушивается в жужжание лифта в подъезде, щелканье ключа в замочной скважине. Чаще это люди поднимаются в свои жилища, отмыкаются соседние квартиры. А Вирун все где-то задерживается, что-то ищет на краю города, в пустырях и ложбинах. Гоняется за призрачным успокоением души, а может, и тела. Но тело измучивается в таких путешествиях-поисках: начинает ныть спина, болят ноги. Мужчина после таких путешествий всегда жалуется Монике-Моне, а она равнодушно молчит. Мстит ему за вынужденное одиночество.

Вирун уже довольно далеко отошел от заброшенного барака. Узкая тропинка вилась меж невысоких взгорков, пряталась в переросшем высохшем разнотравье и терялась за тощими островками березнячков, до которых еще не успели добраться и уничтожить горожане. Через пару километров тропинка выскочит к мостику, что переброшен над шумной кольцевой дорогой. Перейдя его, каждый вливается в неутомимый вихрь городской жизни. Той жизни, в которой от многолюдия тесно даже мыслям в головах, не то что телам. Вируну часто казалась дикой и ненатуральной жизнь городского люда. Он сомневался, что в такой городской толкотне, бестолковщине, ангелы-хранители миллионов горожан устерегут своих избранников. Что они не заблудятся и не перепутаются, а смогут спокойно уберечь своего человека от неприглядного или рокового поступка. Несчастным ангелам-хранителям надо постоянно следить за ними, чтобы нечаянно, отвлекшись на минуту, не потеряться в гуще чужих тел. Может, поэтому столько несчастий случается в последнее время? Потому что ангелы-хранители, словно малые дети, теряются, а люди без охранения своими крылатыми защитниками неосмотрительно попадают не в те места, где должны находиться.

«Интересно, а что случается с ангелами-хранителями, когда человек умирает? — Вирун от неожиданной мысли даже замедлил шаги. — Они же не могут умереть вместе с человеком. Наверно, эфирные создания становятся вольными, свободными, как небесные птицы. Тогда какой смысл ангелу-хранителю оберегать и защищать своего избранника? Получается, что человек для ангела-хранителя угнетатель, сатрап… Ух ты… — Вирун достал из кармана куртки сигареты. Щелкнул зажигалкой, закурил. — И надо же додуматься до такой глупости. Но почему — глупости? Вполне логичный вопрос, хотя и кажется некрасивым и даже гнусным. Можно пойти еще дальше: как Всевышнему присмотреть за нынешней массой людей в мире? За семью

миллиардами! Прости мне, Господи, такие мысли, но незавидное у тебя существование».

Сигаретный дым щекотал ноздри, выдыхался в вечерние сумерки. Под подошвами легко шуршал влажный песок. Кое-где приходилось обходить небольшие лужицы, что оставил недавний дождь. Брючины у Вируна намокли до самых колен. Это от травы, которая при его ходьбе стряхивала влагу на одежду.

«В самом деле, существуют вопросы, на которые невозможно ответить. Убедительно и доходчиво. Аргументированно и доказательно. Часто приходится чьи-то доводы и постулаты просто принимать на веру. Видимо, так получается и с нашими ангелами-хранителями. Они всегда и везде с нами. Так есть и, значит, так должно быть. Все очень просто и понятно». — Вирун улыбнулся. На душе стало легко и уютно, понятно и ясно. Будто после тяжелого дня, когда закончена монотонная работа.

Вируну нравилось оставаться наедине с собой. Он часами мог блуждать по пустырям и луговинам пригорода. Заглядывать в ближайшие лесные массивы. Искать летней порой первые капельки земляники, находить темно-фиолетовые россыпи черники, взбиваться на семейки лисичек или встречаться с важно сосредоточенными, замаскированными, гордыми боровиками или подосиновиками. Он совершал такие походы не пищи ради, а ради внутреннего согласия. Такие походы он делал летом. Поздней же осенью бродил не так далеко от города, как хотелось бы. Причина одна: рано темнело. Пока доберется до своего нового спального района, перебросится парой слов с Моникой-Моней, перекусит, на прогулку останется не больше часа-полтора.

В конторе, где работал Вирун, не слишком ему надоедали коллеги с расспросами. Они знали, что мужчина неразговорчив, а потому после приветствия и пары банальных фраз умолкали, занимались своими делами и хлопотами. Случались дни, когда Вирун мог отработать всю смену и в конце дня, не прощаясь, уйти домой. К такому поведению Вируна коллеги привыкли и не считали его чудаком. Мол, молчит человек, и пусть себе молчит. Кто знает, что у него на душе? Болтать языком сегодня все мастера. В каждом углу обсуждают телешоу, которое накануне просмотрели, лежа на диване. Молчаливость в наши дни можно воспринимать как знак качества человека. Даже его избранности.

Вирун давно заметил, что окружающий мир постепенно тупеет, зарастает дешевым жиром, опускается ниже ватерлинии. Что некоторые обязательные человеческие качества, которые высоко ценились прежде, безвозвратно деградируют, принижаются и вырождаются. Становятся ненужными в отношениях. Их заменяют новые, неизвестно откуда возникшие, уродливые ценности. Хотя, какие они ценности? Как говорится, свято место пусто не бывает. И вот на место доброты и сочувствия откуда-то выплывает и прочно обосновывается злая зависть. А для того, чтобы почувствовать себя человеком, именно Человеком, нужно унизить ближнего своего или даже вовсе незнакомого, случайного прохожего на улице, пассажира в транспорте… Потому что каждый хочет иметь больше свободного места. Расширить свою среду обитания, отобрав несколько вдохов вольного воздуха у соседа…

Может, поэтому Вирун с годами и превратился в молчуна, который больше слушает и наблюдает, нежели говорит. Шестой год ему хорошо, даже прекрасно, с Моникой-Моней... Не надоедая друг другу, они счастливо сосуществуют, порой даже делят одну постель. Это в те ночи, когда Вирун замечает, что его женщина загрустила, или в зимнее время, когда в комнате

не слишком тепло. Морозы же в феврале порой достигают и минус тридцати. Вот тогда мужчина и забирает Монику-Моню из ее любимого кресла к себе в кровать. Греет озябшие руки, ноги, лицо. Успокаивает ее и обещает не оставлять вечерами в одиночестве, приходить домой пораньше, вместе готовить ужин и блуждать в интернете. Моника-Моня спокойно засыпает рядом с мужчиной. Они оба счастливы.

В миллионный раз Вирун готов повторить: как же мало надо человеку для счастья! Всего-то чувствовать себя здоровым, быть хоть кому-то нужным, иметь внутреннее согласие, какую-то крышу над головой, работу ради куска хлеба — и все!

«А так ли уж это мало? — задумался он, выходя на тротуар и вливаясь в городское течение. — По большому счету, это не много и не мало. Как раз чтобы понести, не ломая спину».

Как ни удивительно, но в последнее время Вирун редко, но вспоминает своих жен, былых возлюбленных. Возвращается в прошлое и понимает, что на сегодняшний день, с теперешним жизненным опытом, он многое изменил бы, сделал по-другому. Не был бы таким прямолинейным и безапелляционным. На некоторые вещи и поступки жен он закрывал бы глаза, не замечал, или правильнее сказать, не придавал бы значения. Ну никакая это не катастрофа, что Виолетта, где бы ни появилась, тотчас разводила грязь и неаккуратность. Да и измена Татьяны в туристической поездке — не такая уж трагедиия для семейной жизни. Конечно, научиться прощать другим их вину — сложная задача. Очень сложная. Она требует большого жизненного опыта, способности размышлять о причинах и результатах. Горячность молодости понятна, особенно когда любишь, когда веришь в вечную любовь, в неизменность семейных ценностей, веришь в святость отношений. Эх, молодость, молодость… Однако Вирун никогда не жалел о содеянном. Он давно уже простил всем своим женщинам и не один раз сам в мыслях просил у них прощения…

В некоторых окнах многоэтажек уже загорался свет. Снова пошел дождь, но не такой сильный, как прежде, тихий, спорый, скучно-долгий. По небу, густо обложенному облаками, можно предположить, что он будет длиться всю ночь и еще прихватит утро следующего дня. Чему удивляться? Осень, глубокая осень. Она как неторопливая старость человека. Вдумчивая, размышляющая, но в то же время непредсказуемая: то неожиданно выглянет солнце, то, казалось бы, без причины и неведомо откуда нагонит занудливую и непроглядную морось. Тягучую, похожую на патологическую тоску, какая охватывает человека во время размышлений о тысячу раз обдуманных и перебранных в памяти днях, годах, десятилетиях. Осень, матушка-осень дается человеку для того, чтобы остановиться, продумать, взвесить и принять в свой опыт пройденные зиму, весну, лето.

Вирун любил осень. И раннюю, и позднюю, даже с первыми зазимками, когда тонкий гладкий ледок прихватывает воду в лужицах, а серовато-черную землю присыпают снежные крупинки. Обманутые природой голуби пытаются клевать этот просяной дар небес. Жаль, что так невозможно наполнить зобы птиц, можно только остудить голодные клювы да разочарованно искать поживы на остановках общественного транспорта или в мусорницах у подъездов домов. Каждая осень была для него неповторимой. Именно осенью он подсчитывал прожитые годы, хотя и родился в начале лета. Но лето — легкомысленное, торопливое, бурлящее, нет в нем серьезности и глубины. Поэтому свой день рождения отмечал на второй день Воздвижения.

Когда, по народному поверью, все лесные гады залегают на зимнюю спячку. Накануне Вирун покупал бутылку хорошего вина, обязательно красного, и, сидя в последние годы с Моникой-Моней на кухне, неспешно выпивал. Пил, конечно, виновник торжества, а подруга молчаливо посматривала на повзрослевшего именинника и особенно загадочно, отстраненно улыбалась. Улыбка Мони всегда зачаровывала Вируна. Ему казалось, что в ней таится вся мудрость человечества. Он был убежден, что именно такие улыбки он видел в далеком детстве на лицах старвеньких деревенских бабушек, в глазах которых застыла вечность, а сами они, их лица, будто бы светились едва уловимым, но таким явным и фантастическим светом, который можно было зачерпнуть пригоршнями и вылить на себя. Он и сегодня помнит те светлые и мудрые улыбки, от которых разбегались во все стороны его детские неприятности и обиды. У тех бабушек были легкие, как перышки, ладони, будто пушинки — пальцы. От прикосновений их невесомых рук мгновенно заживали сбитые колени и локти, затягивались царапины. Опадали опухоли от жгучей крапивы. И голоса бабушек из детства всегда были ласковые, сердечные, искренние и доверчивые. К ним не страшно было приходить с любой обидой и детской бедой. Бабушки умели, словно ветром, разогнать-развести по сторонам угрожающие тучи. Старые женщины учили детей улыбаться и радоваться каждому дню, помогали постигать простую мудрость существования. Они учили доброте и сочувствию слабые детские души. Помогали видеть окружающую красоту и неповторимость. Каждая ветка, каждое насекомое имели для них исключительное значение…

И только когда вырос, повзрослел и полной мерой испытал прелести жизни, Вирун задумался о том, как могли необразованные деревенские бабушки быть настолько мудрыми, дальновидными и святыми? Святыми той святостью, какой сегодня не найдешь ни в университетах, ни в академическом институте, ни даже в церкви, среди служек Всевышнему.

Вирун миновал троллейбусную остановку, перешел перекресток и остановился неподалеку от универсама. Он вспомнил, что в холодильнике нет ни грамма молока к утреннему кофе, да и сахар заканчивается. Хорошо было бы прикупить и что-то мясное для бутербродов. На крыльце магазина он заметил привязанную собаку, преданно ожидавшую хозяина. Вирун невольно вспомнил, как еще до встречи с Моникой-Моней он собирался приобрести щенка и вырастить четырехлапого друга, который никогда, ни при какой ситуации не предаст. В его подсознании и сознании гвоздем-десяткой застряли слова, которые однажды произнесла мать. В тот вечер она, когда Вирун пожаловался на школьного друга Тодика, сказала, что если не хочешь иметь врагов, то никогда не заводи близких друзей. Потому что кто еще, кроме друга, знает твои самые больные места. Улыбнувшись и подмигнув заскучавшему лабрадору, он вошел в магазин. Куртка промокла, и Вирун телом чувствовал ее влажность. Больших очередей не было, он быстро сделал покупки, сложил в пакет, который носил в кармане, и вышел на крыльцо. Собаки уже не было на прежнем месте. Дождался лопоухий своего хозяина, побежал в уютную квартиру. Будем так думать, что в уютную и гостеприимную. Должно ведь повезти в жизни и тем редким собакам, которых заводят не ради непонятных амбиций, а по зову души.

Почему-то сегодня Вируну виделось больше серых красок, нежели ярких. Его мозг, получив свободу, перескакивал на разные сентенции, рефлексии. Еще и комплексы. Без них, родных, тоже нет человека. А мечта каждого должна сбываться. Добрая и светлая мечта. У ребенка и взрослого.

«Жили бы мы, как мураши-путешественники, где нет иерархии, нет ни командиров, ни подчиненных, ни надзирателей… Все делается сообща, вместе. Каждый муравей задействован в жизни колонии-организма. У них существует только мать-королева. Такой муравейный организм — бессмертен. — Вирун перебросил пакет из одной руки в другую. Свободной рукой хлопнул по карману и понял, что не купил сигарет. А без них он как без воздуха. — Ну и сравнение, — сделал досадливую гримасу. Хотя и далековато отошел от универсама, повернул обратно. — Так вот, о муравьях, — опять продолжил прерванную мысль. — Все муравьи равны. Нет лидеров, каждый и лидер, и исполнитель. Вот если бы случилось чудо, и муравьиные принципы прижились в нашей среде. Это было бы начало новой эры человечества. Если бы найти страну мира и справедливости. Мы постоянно ведем борьбу с собой, с соседом, знакомыми и совсем чужими людьми. Наши сердца и ранимы, и крепки. Но мы убеждены, что лучше быть мертвым, чем рабом. Так ради чего стремимся всю жизнь кого-то подчинить? Жена — мужа, отец — сыновей и дочек, начальник — подчиненного. Видно, каждый из нас слаб, а нам хочется силы за счет обессиливания других. Неудивительно, что в моем возрасте начинаешь оглядываться назад. Искать смысл прожитого. А где он, тот смысл? Как выглядит? Есть ли у него вкус, цвет, высота и ширина? Сколько длится в пространстве?»

Вирун вдруг вспомнил неожиданный разговор с сестрой на кухне. Он тогда приехал в районный центр, где обосновалась Нина, после довольно долгой разлуки. Выпив кофе да поев испеченного сестрой пирога, они говорили о родных и знакомых, делились новостями: что приобрели, что видели за минувшее время, куда ездили, какие чудеса случились. И вдруг неожиданно сестра спросила:

— Скажи, а ради чего мы вообще живем? Какой у жизни смысл?..

Его такие вопросы оглушили. Полностью. Потому что о смысле существования его спрашивала Нина. Его младшая сестра, имевшая надежную семью, хорошего мужа и двух замечательных сыновей. Казалось, все у нее есть для счастья и радости. Но вот какой вопрос задала брату. Человеку, который в то время не имел ни жены, ни детей… Что он мог ответить Ниночке? Обычную банальщину, многослойную и пустую. Но он хорошо запомнил последнюю свою фразу: «Нинель, смысл жизни — в ее бессмысленности». На том и согласились. Потому что каждый из нас в одиночку ищет свой смысл жизни. Иной вопрос: находит ли, — остается открытым до последнего вздоха.

Вирун не заметил, как дошел до своего подъезда. На улице уже стемнело. Зажглись придорожные и дворовые фонари. Но их подслеповатый свет терялся в полумраке. Предметы потеряли четкие очертания и яркость. Возможно, так казалось из-за мелкого дождика, который уныло сеялся с низкого небесного пространства.

«Надо рассказать Монике-Моне про мои сегодняшние приключения. Не забыть про сон и письмена на почерневшей стене. Может, она что-то разгадает или подскажет. Говорят же, что женский ум более гибкий в разгадывании головоломок. — Вирун нажал на кнопку лифта, который, тяжело заскрипев, потащился с верхних этажей на первый. — И через пару дней надо выкроить минуту и опять навестить этот барак. Может, появится что-то новое на стене? Интересно было бы подкараулить неизвестного писателя, спросить, ради чего он практикуется в иезуитской прозе? Зачем, с какой целью выливает на закопченную стену страдания своей души? В наше время для этого существует не только бумага, но и компьютеры, интернет. Выкладывай во всемирную пау-

тину все, что наболело, что беспокоит и волнует сердце… Однако насколько созвучны размышления неизвестного создателя текстов моему теперешнему состоянию».

Лифт паралитически дернулся, щелкнул несколько раз и раскрыл входные двери. Вирун вошел в глухой пенал подъемника и нажал на нужный этаж. Его глаза споткнулись, перескочили с одной надписи на другую, третью. Что только не написано на гладких стенках! Начиналось самодельной рекламой с номерами телефонов, а заканчивалось известными органами мужчин да и женщин. Молодое поколение хвасталось своими знаниями и моральной свободой. Прежде Вирун как-то не обращал внимания на фломастерные надписи в лифте. Глаза глядели и не видели написанное, мозг переваривал дневные впечатления, был занят более важной работой, чем чтение текстов, которые писала голопузая молодежь. А вот нынешним вечером взгляд зацепился за разномастные надписи и неуклюжие рисунки, номера телефонов доступных похотливых девочек и мальчиков.

Вот и его этаж. Вирун не успел как следует поморализаторствовать на тему «времена и нравы». Двери распахнулись, и он оказался возле своей квартиры. Легкий поворот ключа, щелчок замка, и мужчина, наконец, в стенах своего жилища. Отгорожен от всех и всего. Дома чисто, сухо и уютно. Моника-Моня привычно сидела в мягком кресле и поглядывала в наполовину занавешенное окно. Не включая свет, Вирун видел лишь силуэт. Но вот вспыхнули бра в гостиной, и Вирун обнял теплым и ласковым взглядом утонченные черты лица своей женщины.

— Привет, Моника! Вот я и дома! Не очень скучала в одиночестве? Немного задержался, ты уж прости, милая. Прошелся по окрестностям. Знаешь, вокруг такая печальная красота, что сердце млеет от умиления. Не устану повторять, как я люблю осень с ее дождями, запахами прелой листвы и отцветших цветов. Осень заставляет думать о вечности и быстротекущей жизни, о неоправдавшихся надеждах, об одиночестве, которое каждый прячет в глубине своей души. Одиночество и человек — неразделимые понятия. Кто-то убегает от него в веселые болтливые компании с выпивкой и музыкой. Так обычно поступает неопытная молодежь. Они не понимают еще, что одиночество — необходимейшая часть жизни. От него нельзя избавиться, его надо принять в самом себе, даже полюбить. Иначе, если убегаешь, оно мстит больнее, загоняет в депрессию… Да что я болтаю тебе об одиночестве? Ты же сама, Моника, моя дорогая Моня, испытала это на себе. Знаешь, иной раз одиночество — лучший друг в безумном мире. Верный друг, советчик и помощник. Доброе и значительное всегда рождается в одиночестве и печали! Когда хлынет в душу просветление одиночества — ничто не пугает, никто не досаждает. Но разговорами сыт не будешь. Скоро сядем ужинать. Подожди десять минут, пока разогрею ужин. — Вирун за это время успел переодеться в домашнее. Чувствовал, как мышцы ног и поясницы гудят от приятной усталости, к лицу в домашнем тепле прилила кровь, и щеки, лоб, подбородок порозовели, в них чувствовалось покалывание. Помыв руки, Вирун направился в кухню, открыл холодильник, достал приготовленную пищу. Обычно он занимался приготовлением по субботам. На всю неделю жарил курицу или готовил котлеты, варил суп в большой эмалированной кастрюле, придумывал гарниры для других блюд. Его нисколько не напрягало это занятие. Ему даже нравилось экспериментировать с мясом. Иной раз он соединял при жарении свинину с очень, на первый взгляд, несочетающимися продуктами. И как ни удивительно, всегда получалось очень вкусно. Редкие гости не переставали

удивляться кулинарному мастерству хозяина квартиры. Вот и теперь, бросив на сковороду пару котлет и тушеной спаржевой фасоли, Вирун щелкнул включателем ФМ-радио. Его любимый радиоканал — «Мелодии века». Ему нравился неспешный и ненавязчивый музыкальный фон, естественный, как воздух.

— Вот и все готово, — произнес Вирун из кухни. — Я тебе принесу, и будем ужинать. Только твой табурет поставлю удобнее, у стены. Нужно что-то получше придумать. Неудобно тебе, Моника, на таком сиденье. Не забыть бы присмотреть в мебельном магазине более уютный и удобный стульчик. Ты как думаешь? — Вирун, переворачивая котлеты, говорил в полный голос. — Я знаю, ты против не будешь. На следующей неделе, во время обеденного перерыва, загляну на Комаровку. Слышал, что там неплохой мебельный магазин. Вдруг повезет. — Вирун выключил конфорку на газовой плите. Порезал на блюдце два огурчика из банки, положил несколько кусочков хлеба, не забыл налить и стакан кефира. — Все. Все, дорогая, иду за тобой, — сказал он и, вытерев полотенцем, висевшим у раковины, руки, живо пошагал в зал-спаленку своей однокомнатной квартирки.

— Видишь, как быстро я все сделал? — похвалил сам себя Вирун. — А теперь подкрепимся. Очень я проголодался. Прогулка нагоняет аппетит. Жаль, что ты не хочешь присоединиться ко мне. Да, согласен, верно говоришь, необычно будет смотреться наша пара. Хотя какое нам дело, что подумают и скажут о нас встречные. Ни мы их не знаем, ни они нас. А если бы и знали, какая нам разница? — Он осторожно взял на руки Монику-Моню и, будто ребенка, понес на кухню. — Вот здесь осторожно около двери, — приговаривал он. — Теперь повернемся бочком. Еще пара шагов, и мы на месте. Зря так близко к стене поставил табуреточку. Я ногой подвину. А то еще свалишься и грохнешься об пол. Нелепая будет картина. Конечно, ты не покалечишься, но царапины на теле могут остаться. Зачем нам лишние хлопоты и проблемы? Вот теперь садись. Давай прислонимся спиной к холодильнику. Так надежней будет. — Вирун посадил Монику за маленький столик. Поставил перед ней квадратную тарелку с геометрическими фигурами, рядом положил вилку. Себе взял тарелку с ложкой. Вирун, сколько помнил себя, никогда не пользовался вилками. Он ел ложкой. Неважно, где обедал или ужинал, но всегда оставлял ложку и для второго блюда. Так ему было удобнее и привычней. В ресторанах и на приемах тоже не отказывался от своей привычки. Никогда не обращал внимания на заинтересованно-удивленные взгляды. Ну и что, если кто-то хмыкнет. Дескать, вот и получили деревню с колхозом вместе.

— Говоришь, что не хочешь ужинать? — обратился Вирун к Монике-Моне. — Как хочешь, принуждать не стану. А я поем. Вкусные, скажу тебе, получились котлеты. Как будто по спецзаказу для почетных гостей. Но что нахваливать самого себя? Без ложной скромности скажу, что готовить я умею. От матери у меня это умение и от практических занятий с бывшими женами. Нет, не волнуйся. Не стану я перетряхивать свое прошлое. Пускай оно прессуется под тяжестью исчезнувших лет. Я о другом хотел рассказать тебе, — он проглотил очередной кусок котлеты и запил жидковатым кефиром. — Гуляя в окрестностях города, забрался я в заброшенный и наполовину сгнивший барак. И так там почувствовал себя хорошо и по-домашнему уютно, что даже задремал. Но перед тем прочитал на стене странный текст. На первый взгляд, очень простенький, но почему-то важный для меня. Почувствовал это сердцем, нутром своим. Представляешь? Прочитал и уснул. Пригрезился мне ирреальный сон, в котором встретился то ли со смертью в образе красивой

девушки, то ли со своим ангелом-хранителем среди неисчислимого богатства пещеры. Такого богатства, что не расскажешь. Не хватит слов. Это надо видеть, Моника. Разговаривал с этой красавицей, которая стояла в лодке, и все думал: а выберусь ли я из этой золотой пещеры, отпустит ли меня незнакомка. Слава Богу, отпустила. Правда, подленькое желание у меня возникло: прихватить с собой хотя бы один самородок. Но что-то остановило. Да и как принесешь из сна в реальность нечто материальное? Абсурд. Глупость. Наверно, я это понимал и во время сна. Так вот, когда проснулся, увидел на той же стене рядом с предыдущим текстом новый, свеженький! Я не услышал, кто и когда его написал. Загадка, скажу тебе, Моника. Парадокс какой-то. Ты что, не веришь мне? Правду говорю, без преувеличения. — Вирун хрустел огурчиком и внимательно всматривался в лицо своей собеседницы, которая выглядела не заинтригованной услышанным, а даже более равнодушной, нежели предлагала ситуация. — Я думаю, тексты на стене в бараке написаны не человеком, а кем-то бестелесным, каким-то фантомом, или, наконец, сами возникли, проступили сквозь копоть. Может такое быть, Моника? И ты не знаешь. Между прочим, текст этот что-то значит для меня, может быть, означает какой-то поворот в жизни, судьбе. Я так думаю. Только не пойму, к добру или не очень все эти неожиданные происшествия. Чего ждать от сна в бараке и текстов на закопченной стене? Завтра, после работы, хочу снова заглянуть туда. Конечно, если ты не против. Надо посмотреть, не приснилось ли мне увиденное сегодня. Порой ведь нам видится то, чего в реальности не существует. Ты сама знаешь, что бывают минуты, когда человек должен бояться самого себя, не доверять своим глазам и ушам. Правду, правду говорю тебе, Моника.

Из приемника спокойно, но раскатисто звучала песня начала девяностых прошлого века. Настенное бра над кухонным столом рассеивало по тесноватой комнате скупой желтый свет, напоминавший заход солнца за далекий горизонт, когда светило еще не поглотила покатость земного лба и щедрые последние лучи на прощание торопливо бросают печальные взгляды на меркнущие окрестности. Именно такое освещение царило в Вируновой кухне. Где самсунговский холодильник занимал весь угол до потолка, у обогревательной батареи. Свет бра осторожно касался лица Моники с левой стороны, ласкал парик из синтетических волос, выхватывал кончик прямого носика и уголок подбородка. Вирун, оторвав взгляд от опустевшей тарелки, краем глаза взглянул на молчаливую Монику и в который раз залюбовался стройностью и изяществом своей возлюбленной.

— Знаешь, Моника, что я заметил в отношениях между людьми? Это может показаться странным, но в любом проявлении дружеских чувств, неважно, между мужчинами или женщинами, общество видит только сексуальный подтекст, даже если это невинные объятия или касания. Все равно окружающие видят проявление сексуальности и ничего больше. Из-за этого боимся быть искренними и показывать свою дружбу. Нет, Моника-Моня, речь не о нас с тобой. Нам нечего опасаться, да и мы выше всех оскорбительных и осуждающих слов. Хотя зависти вокруг полным-полно, ненависть через уши льется, заполняет улицы и проспекты. Впрочем, нас это пока что не касается. Конечно, нелегко всегда оставаться выше общепринятого, так бы сказать, «нормального» уровня поведения и мышления, но все же, возможно, и надо. Иначе сольешься в безликое, неустойчивое, грязное болото, трясину, в бездонную прорву. Где ходят строем, носят одинаковое, думают стандартом, спать ложатся и поднимаются по команде. Даже зевают по взмаху руки. Так

жизнь ли это, Моника? Ох, вижу, утомил я тебя своими разговорами. Нет? Ты не против еще послушать? Спасибо, терпеливая моя подруженька.

Так вот, гуляя за городом, я ненароком раздавил на тропинке улитку. Обычную темно-серую улитку. Не заметил. Сделал шаг и услышал хруст под подошвой. Поднял ногу и увидел сгусток, мешанину плоти и земли. То, что еще пару минут назад было живым, по моей вине превратилось в бесформенную массу. Бездумно, легко и просто Божье создание я уничтожил. Нет, я прекрасно понимаю, что мир от этого не перевернулся, даже не шелохнулся, — Вирун прикурил сигарету. — Но знаешь, дорогая Моника-Моня, меня в ту минуту охватило такое глубокое отчаяние, что едва не упал на колени и не завыл по улитке, как по самому родному и близкому существу. Нормально ли это, Моника? Молчишь. И ты не знаешь. Конечно, проще всего сказать: стареешь ты, Вирун. Смягчается душа, а наверх выбивается сентиментальность, хороня под собой мужской азарт охотника и добытчика. Если бы все было так просто в нашей, человеческой жизни…

А может, наоборот, ничего не стоит усложнять? Жить проще, не забивать мозги вопросами, на которые изначально нет ответов. Ну что такое для человечества, планеты какая-то улитка или ласточка, заяц, косуля или человек? Это невидимая глазу дробинка, пылинка… Сколько об этом я читал в умных книжках! А вот сегодня в самом деле почувствовал, что осиротил мир на одно существо. Невольно стал убийцей…

Заговорил я тебя, Моника. Прости. Просто какое-то непонятное настроение охватило вечером. Хочется выговориться, очиститься от грязи и мусора, что незаметно собирается десятилетиями в тайных закоулках сознания и подсознания тоже. Что ж, будем ложиться спать. Наши предки говорили: утро вечера мудренее. Или по-нашему, по-белорусски: *пераначуем — больш пачуем*. Да и увидим, надеюсь.

* * *

Вирун заметил огромную толпу людей посреди селения. Хаты большой деревни раскинулись вольно и роскошно на нескольких лобастых взгорках. А десятка два крепких строений сбегали двумя рядами к ровной низинной проплешине. Здесь, на этом утоптанном и выезженном пятачке, и ютились поселяне. Мужчины, женщины и дети теснились в теньке могучих лип, под кроной которых можно было спрятаться от жарких лучей полуденного солнца. Стояла середина лета. Один из тех дней, когда небесное светило, взобравшись в зенит, щедро отогревало поселян лесных земель от студеной зимы и затяжной, не очень щедрой на тепло весны. Воздух вокруг, казалось, дрожал от солнечной щедрости. В деревне даже петухи не кукарекали, ленились драть глотку в такую жарищу. Они, неугомонные, сегодня лучше себя чувствуют в лозовых кустах у хат или в зарослях пижмы и полыни на межах хозяйских участков. Никто их не беспокоил, никто не кышкал на прожорливое куриное племя. Людям, как видим, было не до домашних птиц. Поселяне собрались на проплешине-пятачке у хаты Кузьмы. А что именно в этом аккуратном домике живет Кузьма, Вирун знает, хотя и не понимает, откуда это знание.

Люди разговаривали — одни парами, другие сливались в группки по несколько человек. Разговоры были неторопливые, с нотками сочувствия и жалости в голосах. Дети, как неугомонные воробьи, шастали между ног взрослых. Парни пробивались в передние ряды, девчата в опущенных на глаза

косынках, наоборот, прятались за спины мужчин и женщин. Они стыдливо бросали взгляды одна на другую, переглядывались и, краснея, опускали глаза. Казалось, они чувствовали себя среди поселян, как нашкодившие кошки.

Вирун пробрался с краю, там, где солнце, не жалея лучей, выжигало помятую, стоптанную и едва живую траву, в середину толпы, в прохладную тень лип. На него, как ни удивительно, никто не обращал особенного внимания. Порой мужчины в годах и хлопцы с редкой еще щетиной на небритых щеках протягивали руки, здоровались. Он отвечал таким же пожатием руки. Пробравшись едва не в первые ряды, Вирун почувствовал чью-то ладонь на своем плече. Повернул голову и встретился взглядом с красивым черноголовым юношей. Конечно, юношей его можно было назвать лишь условно. Парню не сегодня и не вчера исполнилось лет двадцать, но и до тридцати на вид ему было далековато.

— Здоров, Вирун. Что оглядываешься, как вор? — Черноголовый широко улыбнулся, показав из-под не по-мужски ярких губ ровный ряд зубов.

«Вот кому повезло, — мелькнула мысль у Вируна, — до глубокой старости стоматолога знать не будет».

— Ты что, не узнаешь меня? — растерялся парень. — Наблюдаю за тобой уже четверть часа и не могу понять: или ты с утра где-то бражки хлебнул, или вчера тебя где-то леший закрутил. Выглядишь прибитым и одурманенным. Так что, хлебнул хмельного?

— Что здесь происходит? Чего собрались люди? — вместо ответа поспешно спросил Вирун.

— Чудак, — на лице парня возникла растерянная гримаса. — Еще два дня назад староста объявил по всем окрестным деревням, что сегодня состоится казнь быком Матрунки Ничипоровой. Ты что, проспал неделю, что не слышал новость про эту гулящую? Ее Мартин застал в амбаре с Кожемякой из Присожья. А у нас спокон века тех баб, которые изменили мужу, карают быком. Ты в самом деле какой-то чудной. Может, заболел или память леший отнял? Незачем так часто на охоту ходить. Тетка Гриппина мне не раз говорила, что отбился ты от земли. Все по лесам да перелескам бродишь. Чего-то ищешь. Может, вчерашний день тебя не отпускает?

— Подожди, — попросил Вирун.— Кто такая тетка Гриппина? И кто ты сам?

— Вот завернул так завернул, — раскрыл рот красавчик. — Она твоя мать, а я — двоюродный брат. Совсем плохой ты стал. К шептухе надо идти, да поскорей, а то поздно будет.

— Да помню я все, — соврал Вирун. — Шутки у меня теперь такие. Память тренирую. Игра такая. Прикидываешься, что все забыл, и спрашиваешь у друга, вот как я тебя, и ловишь его на неточностях, промахах, а сам запоминаешь каждую мелочь до конца дней. Вот так. — Вирун с облегчением вздохнул.

— Вот оно что, — удивленно поднял брови на гладком лбу парень. — Мудрый ты, Вирун. Недаром твой дед Кузьма уже целую вечность казнит неверное бабское племя быком. Я слышал, мужики говорили, что скоро Кузьма тебе передаст это дело в наследство. Будешь у нас следить за нравами да верностью. Честно говорю, Вирун, не завидую я тебе. Не захотят девки замуж за тебя идти. Будешь, как Кузьма, ждать самую выносливую бабу, что не помрет после казни.

— Что ты несешь какую-то ерунду? — разозлился Вирун и едва не толкнул его в грудь. Но тот уклонился поворотом туловища от дружеского

тумака. — Бога нет на вас, поганцев. Придумали казнь быком! А сами, все мы, мужчины, святые? Зачем издеваться над беззащитными и бессильными женами своими и дочками?

— Ого заговорил так заговорил! — глаза у него, казалось, вот-вот выкатятся из глазниц и повиснут у подбородка. — Не нами такой закон заведен и не нам его отменять, — проговорил он, осмыслив услышанное. — Женская доля такая: быть верной под небом высоким только одному мужчине. Она сама выбирает, с кем жить, и клянется на огне, что не оступится, никогда не позволит чужому, кроме своего мужчины, войти в живородную пещеру. Или не так я говорю, Вирун?

— Сплошное безумство. Я и в самом деле шизанулся, съехала крыша по полному, — быстро проговорил наследник Кузьмы.

— И что за слова странные, я их прежде от тебя не слышал? Чего расходился, как молодое пиво? Ну, покарают Матрунку быком, что тут такого? Не она первая, не она последняя. На нашей с тобой памяти Матрунка уже шестая, которую поставят под быка. Если выживет, уйдет в другие края, а помрет — бросят в огонь.

— Зачем детей сюда привели? — схватил Вирун у своих ног мальца. — Зачем им такое зрелище? — Малыш ловко вывернулся из пятерни Вируна. — Кто приказал пацанов пускать на казнь?

— Как кто? Всегда староста приказывает. Да и это не просто зрелище, как ты говоришь, а наука для наших наследников. Нас с тобой в их возрасте тоже приводили. Или тебе мозги громом отбило? А, понял, — заулыбался черноголовый красавец. — Это ты все играешь, память тренируешь. Ну, давай, давай, совершенствуйся. Все равно не этим летом, так следующим заменишь Кузьму. Будешь выводить быка на распутниц. Доля у тебя такая, Вирун. От нее никуда не денешься. Сочувствую, конечно. Если не повезет тебе, то и помрешь бобылем. Ни разу не заглянешь в жаркую пещеру. Палач никогда дурничку замужнюю не найдет, чтоб потешиться, а нетронутые девчата навряд ли выберут тебя для жизни. Вот оно как, Вирун, куда ни кинь, всюду клин. — Глядя на красавчика, нельзя было понять: сочувствует он другу или издевается.

Вдруг толпа оживилась, двинулась вперед. Мужчины отыскивали взглядом своих жен, молча подходили к ним, брали за руку и, поставив перед собой, легонько подталкивали, мол, гляди, милая, во все глаза, что и с тобой может случиться, если вдруг захочется попробовать плод с чужого дерева. Может, он и в самом деле более сочный да ядреный, но — чужой. Не забывайся, чтобы не оказаться на площади позора под напором сытого быка, который располовинит твою чесотку до самого пупка…

Вирун увидел, как со двора Кузьмы вывели молодую красивую женщину в длинной мешковатой одежде, как двое жилистых мужиков вынесли откуда-то деревянный станок, поставили на возвышении площади, как содрали с простоволосой грешницы одежду и, поставив на станке на колени, крепко привязали кожаными путами за ноги и руки. Услышал Вирун и рык: глухой, похотливый, холодящий кровь рык могучего животного, которое предчувствует не свою кончину, а кончину человеческой души.

На минуту толпа притихла. Стало слышно, как гудят в воздухе оводы и слепни, которых солнце не загнало в прохладу листвы деревьев или в густое разнотравье.

«Нет, не могу я допустить издевательства над женщиной! Боже наш милосердный, какое же это варварство и дикость, какая бесчеловечность и

зверство! Этого не может быть в природе. Не способны люди на такое извращение!»

Вирун изо всех сил пытался пробиться сквозь толпу к краю площади, на которой вот-вот должна была состояться экзекуция. Он протискивался между потными телами поселян, которые, казалось, нарочно не пропускали его, крепкой и нерушимой стеной отгораживали от места казни, места преступления.

— Ну, куда, куда ты лезешь? — услышал он над самым ухом. — Охолоди свой пыл. Ничего сделать не сможешь. Бессилен ты перед приговором судьбы. Ее не перепишешь заново. Твоя ниточка жизни уже вытащена из кудели и спрядена невидимыми силами и уже скручена на веретено. Ты, Вирун, посторонний наблюдатель. Не дано тебе вмешаться в ход событий. — Вирун одышливо повернулся на голос. Рядом стоял черноголовый красавец и улыбался. Улыбка на его лице напоминала застывшую, окаменевшую маску.

— Успокойся. Ты и твои, если повезет, наследники все равно будут карать распутниц быком, — черноголовый, кажется, молчал, но Вирун слышал каждое не произнесенное им слово

— Кто ты? — он не мог сдержать себя. — Ради чего и зачем испытываешь меня? Чего добиваешься от моей изболевшейся души?

— Я твой двоюродный брат¸ только и всего, — не переставал улыбаться черноголовый. — Поверь, ничего мне не надо от тебя. Я, как и ты, пришел посмотреть на казнь блудницы. По распоряженнию старосты. Как все они, — он неторопливо повел головой справа налево и в обратном порядке. — Все когда-то с чего-то начиналось. Верность, преданность, самопожертвование, чувство родовой принадлежности, все имеет свои корни. Объясняю простые истины. Однако на ком-то все должно и остановиться, получить свое логическое завершение. Вот видишь, и я умею играть в твою игру забывчивости. Не надо похвал, просто — я хороший ученик, а ты — неплохой учитель…

— В чем смысл сегодняшнего действа? — не стал дослушивать собеседника Вирун. — Я не из вашей среды, даже не знаю здесь никого. Все эти люди чужие для меня, как и я для них…

— Неужели? Ошибаешься, дорогой, — перебил Вируна черноголовый. — Если у тебя хватит мозгов и немного терпения, то до всего дойдешь своим умом. Разберешься в примитивной головоломке. Нет, не в головоломке, а в задачке с одним неизвестным. Хотя все составляющие в задачке известны…

Вдруг окрестности сотряс нечеловеческий крик. Он достиг небес, отскочил от прозрачной синевы, упал на разогретую землю и раскололся на мелкие осколки, которые поглотились миллионами песчинок на крутолобых взгорках.

* * *

Утром у Вируна трещала от боли голова. Все мышцы и сухожилия тела были напряжены и обессилены, словно вконец изношены. Как у марафонца на дистанции длиною в жизнь. Горечь во рту не исчезла и после кофе с молоком и медом. Ему казалось, что его тело прошло ночью через некую молотилку, которая обессиливает не только физически, но отнимает и внутреннюю силу, ровновесие, уничтожает жажду жизни.

«Что-то со мной происходит не то. Кажется, все как обычно, и в то же время обычного и прежнего во мне не осталось. Что изнашиваюсь физически — это понятно. От прожитых лет никуда не убежишь, не спрячешься.

Они каждый день напоминают о себе потрескиванием в коленях, ломотой в плечах, одышкой да все большим и большим количеством выкуренных сигарет. Тут все ясно как божий день. Но где прежняя радость от предчувствия неизвестности и ожидания ее в каждом следующим дне? — Вирун приготовил еще чашку кофе и прикурил не пятую ли сигарету. — Казалось, что вот-вот, завтра, ты обязательно узнаешь нечто такое, чего не удавалось прежде. Именно завтра будет твой самый счастливый день, который продолжится на многие бесконечные годы, десятилетия, а может, и столетие. Завтра придет твой день. Только твой и ничей больше! А что теперь? Не хочется утром подниматься, чтобы в очередной раз понять, что ничего сверхъестественного не произойдет. Что, как вчера и позавчера, ты побежишь по замкнутому кругу.

Однако, хочешь не хочешь, а на работу идти надо. Работа. От нее за годы так устаешь, что и самое любимое занятие превращается в мучительное испытание».

Вирун заметил в последние годы удивительную и не очень понятную закономерность в обществе. Сперва он списывал это на возрастную придирчивость да чрезмерную въедливость. Но чем дальше, тем больше бросалось в глаза, что на большинство руководящих должностей приходят (назначаются) профаны, люди, далекие от специфики занятия. Не профессионалы, а любители. Недалекость и примитивизм так называемых начальников невозможно было не заметить даже и тогда, когда прикрываешь глаза, они, как красная тряпка, трепетали на виду. Докатилась эта волна и до офиса Виpуна. Он искренне, по-человечески жалел новую формацию своих руководителей. Они, бедолаги, поначалу пытались скрыть свою малограмотность, неподготовленность, отсутствие божьего дара создавать за многословием, суетой, невыполнимостью и фантастичностью проектов, а в конце концов останавливались на опробованном и известном: наведении порядка. Что ж им еще оставалось? Дисциплина — тот кнут, который служит едва ли не с времен сотворения мира. Запугать подчиненного, вбить ему в голову, что он, твой начальник, распоряжается твоей судьбой. И только от него зависит, удастся ли тебе завтра пообедать и оплатить коммунальные услуги. Что он не Бог, а выше Бога. Конечно, не всех можно было прижать и сломать. Сильные личности говорили в лицо своим начальникам об их уровне и образованности, давали понять все их мизерное величие и уходили… в дворники, сторожа или грузчики. Так было и в среде Вируна.

Только же начальники не очень убивались да вздыхали, утирая мокрые глаза. Они в тот же день брали человека с улицы на освободившееся место и с еще большим остервенением руководили.

Да, меняется мир и меняются люди. От такой простой истины никуда не денешься. Вирун это прекрасно понимал, поэтому старался закрыться, забиться в свою, выстроенную по собственной схеме, среду. Пока что ему везло, никто особенно не мешал, не лез в душу. Как говорится, и на том спасибо. Дизайнерская фирма, в которой он работал, в последнее время превратилась в клуб запуганных женщин. Мужчины-руководители второго звена, толковые профессионалы, как-то незаметно и в то же время злобно были вытеснены или уволены с работы начальниками первого звена. (Ну, просто не фирма, а колхоз со своими председателями и звеньевыми.) На их место назначались женщины с ласковыми голосками, послушные и согласные исполнять самые идиотские приказы. Точно как в армии, где никогда не утратит актуальность лозунг: я начальник — ты дурак, а если ты начальник — я хожу в дураках. Одним словом — весело.

Вирун поглядывал на такие пертурбации сперва с печалью и болью в сердце, а позже — с интересом. Дескать, чем же все это закончится? Едва не каждую неделю менялись лица новых сотрудниц. Фирма трещала по швам, но пока держалась. Уже невозможно было определить: живой это организм или агонизирующий.

Вирун допил последний глоток кофе, сделал торопливую затяжку сигаретой и потушил ее в привезенной из Барселоны пепельнице. Невеселые воспоминания о работе не добавили оптимизма и бодрости. Головная боль не проходила, а телесная ломота не успокаивалась. Он вытащил ящичек в кухонном столе, где хранил лекарства, достал таблетку анальгина. Бросил в рот, разжевал в однородную массу. (Такая привычка у него сохранилась с детства.) Брезгливо запил месиво минеральной водой и прислушался к себе. Будто через пару минут лекарство обязано подействовать.

«Наивный, — сказал сам себе. — Хорошо, что такие чудеса не видит Моника-Моня. А то подумала бы, что я совсем сбрендил…»

И тут Вирун вспомнил сон. Все до мелочей, до каждого штриха, детали, слова. Он будто одеревенел. В памяти сплошным панорамным планом промелькнуло виденное.

— Казнь быком, — невольно слетело с губ.

Вируну показалось, что эти слова ожили и превратились в слюдянистых стрекоз, прозрачные крылышки которых трепетали под потолком.

Он подошел к окну, глянул на улицу. Опять сеялся дождь. Сыро и влажно гляделись деревья, машины, тротуары и торопливые горожане. Какой-то сгорбленый старик без зонта выгуливал лохматую безродную собаку. Рыжая шерсть на животном набрякшими космами едва не касалась земли. Слабый старик и равнодушная ко всему собака создавали некий ирреальный тандем. Как Вируну показалось: эта особенная пара на сером газоне подчеркивала пустоту и безразличие жизни. Каждого в отдельности и всех вместе.

Не хотелось никуда выходить, а зарыться в постель с Моникой и забыться в бездумном сне, где нет ни звуков, ни красок, ни мыслей. Существует лишь бездонная и глухая пустота.

— Но хватит с меня снов! — сам себя остановил, отогнал желаемое Вирун. — Где найти силы, чтобы забыть эти загадочные сновидения? Все, которые выдал мозг. Боюсь, что реальность и сны сплетутся, сольются в единое целое. И что тогда делать? Психушка обеспечена. А что будет с Моникой-Моней? — Он бездумно глядел в окно на густое низкое небо над крышами многоэтажек.

От размышлений его пробудил мобильный телефон. Настойчивая и заезженная мелодия требовала взять трубку.

— Алло.

— Вирун? — спросил усталый и плаксивый женский голос.

— Да, я.

— Это Зоська звонит. Сестра Лилианны, — голос задрожал, стал тоньше и перешел на всхлип. — Нет больше нашей Лилианки. Разбилась сестричка моя. Ой, Боже мой, Боже, что ты наделал? Зачем она тебе так рано понадобилась?..

Вирун слушал и пытался осмыслить информацию. При чем тут он к первой жене, которую не видел лет пятнадцать. Где родственники Лилианны нашли номер его телефона? И вообще, он чужой человек в их роду Покичей. С Лилианной прожили вместе не больше трех лет. Всего трех! И когда то было? Зачем он, Вирун, им нужен?

— Так ты приедешь на похороны, Вируночек? Навсегда простишься со своей любимой женщиной. Она же тебя каждый день с языка не спускала. Все говорила, какой ты замечательный, заботливый человек и муж. Какой добрый и достойный. Лилианна все эти годочки тобой жила. Никого не могла долго терпеть, потому что ты всегда оставался на первом месте. Выпивать и гулять она начала из-за тебя. Потому что ты заслонил ей Божий свет. Ты Лилианку в могилу свел. Чтоб ты провалился на ровном месте! — голос женщины сорвался на истерику. — Чтоб тебе около воды ходить и пить просить, чтоб ты белого дня не видел!

Вирун медленно отвел от уха телефон, нажал кнопку отключения.

— Вот и получай, — только и проговорил. Он снова присел на табуретку у кухонного стола. Закурил. Нужно было собираться на работу, но заставить себя что-то делать не мог. Не хватало ни физических, ни душевных сил. Звонок сестры Лилианны уничтожил то немногое, что еще оставалось после загадочного сна, после душевного опустошения, которое почувствовал вчера, когда прочитал на стене заброшенного барака таинственные письмена. Да и Моника-Моня не подавала голос. Как вечером посадил ее в мягкое кресло, так она до сих пор и вглядывается равнодушно на полки серванта с коллекцией разномастных и разнокалиберных козлят. Вирун начал собирать их лет шесть назад. Как-то заглянул с друзьями на праздник города. И забрели они в торговые ряды, где народные умельцы продавали собственноручные изделия. Там он и высмотрел глиняный свисток в виде изящного привлекательного козлика. Вируну он так понравился, что не задумываясь купил. А кто-то из друзей подбросил идею: мол, а почему бы тебе не собирать из них коллекцию? Сегодня коллекционирование очень в моде. Глядишь, и будет занятие для немолодого и очень уж серьезного мужчины. Тогда они все посмеялись над предложением, но через некоторое время Вирун заметил за собой странную вещь: бывая в универмагах, в магазинах детских игрушек, он везде искал бородатых козликов. Не обязательно глиняных, а и фарфоровых, стеклянных, пластмассовых, даже шитых из тканей и искусственного меха. И вот теперь на широкой полке красовалось большое стадо козликов, которые ласкали глаза не только хозяину квартиры, а и гостям.

— Моника, я собираюсь на работу! — громко объявил из кухни Вирун. — Хотя она мне колом в горле стоит. — Это произнес вполголоса, скорее для самого себя. — В такую погоду только и кататься в троллейбусах и метро. Вот уж обделил Бог страной: то дожди кратковременные без перерыва, то метели неделями. Где же солнце и долгожданный зной? — Вирун не торопясь мыл в раковине оставленную с вечера посуду и чашку из-под кофе. Он недовольно ворчал себе под нос о погоде, что никак не установится с начала года, о работе, от которой челюсти сводит, о женщинах, от которых уже устал.

— Что за несчастное наше племя мужское? На каждую понравившуюся дочь Евы мы смотрим в первую очередь как на потенциальную самку, объект сексуального удовольствия и удовлетворения. И только потом замечаем все их другие достоинства и качества. И ничего с этим не поделаешь. Хотя знаем, что новая встреча, знакомство, увлечение кроме радости и умиления принесет тьму проблем и мучений, разочарований и отчаяния. — Вирун переодевался в костюм, а мысли мелькали в голове вольно и свободно, как бы сами по себе, широко и независимо.

«Сколько уже за прожитые годы было таких встреч-расставаний? Да не сосчитать, как и у большинства мужчин и женщин моего возраста. А ты думаешь, что только мы, мужчины, глядим на женщин с сексуальным при-

целом? — спросил себя Вирун. — Ну и дурак тогда. Женщины тоже глядят на нас в первую очередь как на жеребчиков, самцов. С прикидкой на выносливость и тяговитость. И пусть они хоть в тысячный раз обвинят меня в пустых наговорах, я останусь при своем мнении. Не касается это, может быть, только моей Моники-Мони. Да, она святая. Но и я не случайно выбрал именно ее в мой жизненный полдень. Не Аньку-Вальку, не Катерину-Регину, а именно Монику…»

— Не скучай без меня. Постараюсь сегодня пораньше освободиться и прийти домой, — с порога проговорил Вирун и щелкнул автоматическим замком.

«Вот тебе и Лилианна. Звонок из прошлого. Далекого и пустого. — Сделав невидимый зигзаг, мысль перескочила на другое. — Мы с первых дней не были счастливы. Юная гиперсексуальность и жизненная наивность свели, соединили нас. А какое может быть счастье, если, кроме секса, нас ничего не связывало? Голый секс, физическое удовлетворение и больше ничего. Три, четыре, шесть месяцев — и приходит насыщение телом. Хочется большего, значительного, высокого… А его нет. Страшно прожить жизнь в ожидании. Ожидании чего-то необычного, сказочного, неизвестного и счастливого. Ждать… Каждый час, день, месяц, год. Ждать и, возможно, не дождаться. Однако надежда трепещет в груди. И чтобы приблизить это неизвестное, но долгожданное, ты стараешься вечерами пораньше лечь спать. А если сон заплутал где-то в объятиях с другими счастливцами, хватаешь припрятанное снотворное. Только бы уснуть и приблизить час, день своего счастья, почувствовать себя ребенком, которому, наконец, дали вкусное угощение. Ждать изо дня в день, надеяться, что завтра будет обязательно твоим. Только твоим. И вот однажды, раскрыв глаза, осознаешь, понимаешь, что этот день, наконец, пришел. Так тебе кажется. Но и сегодня ты ошибся. Твой день обошел тебя, перепутал перекресток, улицу, дом, квартиру. Ничего, пусть будет счастлив кто-то другой. У тебя же остаются вера и надежда. Они ближайшие подруги, которые пока не изменяют. Хотя, если по правде, с годами становятся тощими, неуклюже-хилыми, измученными. Но они есть, они пока еще с тобой.

Так я жил до сорока, сорока пяти, а затем надежда с верой исчезли. Облачком сигаретного дыма растворились в окрестностях, не оставив по себе и следа».

Вирун уже ехал в метро и, примостившись в правом углу вагона, не обращал внимания ни на пассажиров вокруг, ни на гул электрички в тоннеле. Он заранее знал, как пройдет сегодняшний день. Пустые и безрезультатные хлопоты на работе, банальная говорильня надоевших сотрудников, дежурные улыбки и рукопожатия. Каждый из коллег (про себя Вирун называл из — *калек*) будет прятать свою тоску, равнодушие ко всему за мониторами компьютеров, постоянно прихлебывая чай или кофе. Не жизнь, а сплошной, без выходных и праздников, день сурка. Оживить который может разве что воспоминание, выплывшее, вырвавшееся из подсознания уголком, осколком детства. Сладкого и горьковатого, счастливого и обидчивого, бодрого и неутомимого, но с привкусом горчинки стручкового перца. Но все же завидно неповторимого и, как казалось, бесконечного… А «виновником» воспоминания могут оказаться несколько нот мелодии, или уловленный запах, или взгляд, зацепившийся за покрасневшие гроздья рябины. И воспоминание разбудит душу, заставит сердце быстрее гнать кровь по венам. И хотя воспоминание промелькнет двадцать пятым кадром в обыденности, но оно даст импульс осознанию, что не все так уж безнадежно утрачено. Морось с набрякшего неба — временная,

грязная вода в Свислочи весной очистится, слом в душе пройдет и сменится на легкую радость. Вернутся и надежда с верой. Потому что депрессия — не возрастной показатель, а всего только измученность души в миллионной толпе себе подобных. Ты понимаешь, что жить приземленно не можешь. Заботы о хозяйстве, еде, одежде — не главное, хотя так жили и живут твои родные. Не смотреть на лес с восхищением и радостью, а высматривать хорошее дерево на дрова, — не твое предназначение. Не замечать красоты цветов и трав, а видеть только сено для животных, — так печально…

— Выходите на следующей остановке? — услышал Вирун вопрос за спиной. Он молча кивнул в знак согласия и подвинулся на шаг вперед. Толкотня в двери вагона, хрипловатый динамик с равнодушно-бесцветным голосом — настолько привычные явления, что уже и не представляешь жизни без них.

«Сколько же вас, мои милые и дорогие люди? И все мы бежим вместе и в то же время по отдельности. Спешим, гонимся за чем-то, а в конце концов понимаем, что не туда и не так бежали. Глядим под ноги, боимся поднять друг на друга глаза, просто улыбнуться, уступить дорогу более торопливому или нетерпеливому. Мы боимся потерять «свое место» в вагоне, на эскалаторе, в очереди в кафетерий, к билетным кассам… Но что изменится от вздохов и упреков безликой массе? Ни-че-го! А потому не занимайся пустым самоедством. Не укоряй монстра, который тебя не слышит и не услышит никогда». — Вирун открыл входную дверь, вошел в офис. (Не любил это слово, но без него, офиса, сегодня — никуда. Каждый кабинет, комнатку величают этим словом.) На рабочем месте находились только три человека, остальные зависли или в пробках на дорогах, или в кроватях своих любовниц и любовников. Все и здесь как всегда.

— Привет, орлы и орлицы! — привычно поздоровался Вирун и прошел к своему столу. Так сказать, рабочему месту.

— Ты почему сегодня не в юморе? — выстрелила в него взглядом молоденькая колежанка. — Что, ночь не удалась? — Она пресно улыбнулась и уставилась в монитор.

Вирун проигнорировал вопрос. Ему хотелось одного: наступления вечера, когда он с облегчением поднимется со стула и торопливо нырнет в подземку. А оттуда домой, где его ждут верная Моника-Моня, старые кроссовки и поношенная куртка.

Ему вдруг так захотелось оказаться в том заброшенном бараке, что зачесались пятки. Он только теперь понял, что именно там скрывается разгадка его внутреннего разлада. «Посижу до обеда, а там будет видно. Пожалуюсь на самочувствие и сбегу. Сил не хватает отсидеть целый день с видом занятого по маковку человека. Староват я для игр в прятки. Меня ожидают Моника, барак и письмена на стене. Все остальное не стоит внимания». На душе у Віруна стало легче, поскольку принял решение. Пусть и в ущерб рабочей дисциплине.

* * *

Во второй половине дня Вирун уже шагал по тропинке к заброшенному бараку. Дождь прекратился еще утром. На небе среди туч проблескивало солнце. Оно казалось запуганной и юркой девочкой, которая, преодолевая непосильные преграды, старается помочь слабому человеку выкарабкаться из осенней лужи на краешек сухой скамейки под навесом. И все же густота туч редела, а солнечные лучи с каждой минутой смелее и напористее грели

промокшую землю, деревья, травы, кустарники. Обнадеживали людей теплотой и лаской.

Вирун соврал Монике-Моне, когда, придя домой, сказал, что отлучится в магазин. Сам же, даже не переодеваясь, только переобулся, пошагал в сторону кольцевой дороги, затем, свернув на тропинку, направился к наполовину разрушенному бараку. Его тянула туда неведомая сила. Подходя к строению, еще за добрую пару сотен метров он заметил около барака силуэт человека. Как раз напротив пролома в двери. Вирун немного замедлил шаг. Мелькнула мысль: а может, вернуться домой? Ему не хотелось видеть кого-то в этом безлюдном месте. В месте, которое он по праву считал своим. Даже каким-то интимно-сакральным. И вот, пожалуйста, имеешь чужака в своих владениях.

Чтобы как-то собраться и решить, что делать, Вирун не спеша похлопал правой рукой по карманам в поисках сигарет. Наконец достал пачку, вытащил сигарету, щелкнул зажигалкой. Искоса глянул в сторону барака. Ему показалось, что неизвестный внимательно вглядывается в Вируна и кивками головы, будто конь в жаркую погоду, зовет к себе. Вирун даже растерялся. Ему вдруг захотелось бежать отсюда со всех ног. Как можно быстрее и подальше от барака и неизвестного человека, который так по-приятельски, дружелюбно приглашает его приблизиться. Однако в мозгу, как нарыв, пульсировала другая мысль: «Не бойся, иди смело. Ты же так хотел разобраться во всем. Понять себя и то, что с тобой происходит. Иди. Спеши!»

И Вирун ускорил шаг. Не глядел даже под ноги на извилистой стежке. Его тянуло, будто железную пластину к сильному магниту. Он лицом чувствовал вибрацию воздуха между ним и бараком, человеком, что стоял в проломе двери.

Когда их разделяли несколько десятков метров, Вирун узнал в незнакомце черноголового парня из вчерашнего сна. Та же улыбка на красивом лице, и даже одежда та же.

— Добрый день, братец! — первым поздоровался знакомый незнакомец. — Долго же пришлось ждать тебя. Думал, не придешь сегодня. Но надеялся. Как вижу — не зря.

— Здоров, — просто отвечал Вирун, не протягивая руки. — И зачем я тебе так срочно понадобился? — Лицо его исказила растерянная усмешка. — Кажется, столько лет прожили, не зная один другого, и вдруг возникла необходимость.

— Но счастливо ли ты прожил эти годы? — не согласился красавец.

— Никому не жаловался, — парировал Вирун.

— Ну конечно. За спиной только разводы, случайные встречи и постоянный раздрай в душе. Поиски, поиски… Надежды, разочарования и снова поиски. А чего и кого? — черноголовый внимательно глядел на Вируна.

Вирун промолчал.

— Ты и сам этого не понял. Хорошо, что остановился на манекене. На Монике-Моне. Логическое завершение для наследника карающих быком. Только манекен и может быть с тобой.

— Да перестань нести глупости, — попросил Вирун. — То был просто кошмарный сон в уставшей голове. И ты, насколько понимаю, галлюцинация. Слышал, что такое случается с людьми от усталости и зашоренности жизнью. Достаточно протереть глаза и встряхнуть головой, и тебя нет.

— Попробуй, — поддержал незнакомец. — А вдруг и правда.

Вирун кулаком потер один глаз, другой и взглянул перед собой. Черноголовый красавец стоял на прежнем месте.

— Теперь убедился, что я реален? Как и во сне. А вообще, ты уверен, что это было сном? Всего только сном? Пошли в барак. Там я написал для тебя очередной текст. Рядом с отпечатком твоей ладони. Тебе ведь понравились мои предыдущие послания. Ты даже говорил о текстах своей игрушке-манекену Монике-Моне. Не ошибаюсь?

— Ну говорил. Что с того? — проворчал Вирун и пошагал следом за черноголовым.

— Читай, — не то приказал, не то попросил красавец. — Может, здесь и найдешь для себя кое-какие ответы. А мне время не позволяет больше оставаться рядом. Читай, — еще раз повторил он.

Вирун сделал несколько шагов к стене и впился глазами в ровный и красивый текст.

***«Как найти точные слова, чтобы описать боль, страдания, одиночество человеческой души? Сколько ни перебирай в памяти, как ни напрягай и ни морщи лоб, а все словесное богатство кажется каким-то легкомысленным, незначительными и паутинистым. Бледным, хлипким и неточным становится слово, поставленное рядом с болью. Затасканным, выношенным, избитым… никаким становится слово и рядом со страданием. Что уж говорить об одиночестве. Одиночество и есть одиночество. Какими словами ни украшай и ни наряжай одиночество, оно остается один на один на всех распахнутых перекрестках дорог.***

***Одиночество — нищенка, одиночество — гордыня, одиночество — чванливость, одиночество — вседозволенность, одиночество — красота, одиночество — царица. Никакое слово не смягчит, не улестит одиночество. Если уж оно вбилось в душу, то не спасут ни душистые летние луга, ни плеск нежных морских волн, ни даже экзотика Катманду, неуловимая ловушка любви не разрушит за мгновение годами возведенный замок одиночества. С болью разобраться проще… Но проще ли? Тяжело, невозможно человеку быть искренним и правдивым даже с самим собой, что уж говорить об искренности себе подобных в повседневности. Поэтому одиночество, боль, страдания любви прячутся под маской равнодушия на лицах и криводушной фразой: «Если мне больно и я страдаю в одиночестве — значит, я живу». А как живу и зачем? — это уже вопрос риторический. Недаром же в свое время кто-то заметил, что если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это означает, что он болен.***

***А больны мы все, только каждый по-своему: одним скучно жить, другим — тесно, а третьим — все равно, как жить, с кем и ради чего. Главное — жить, просто жить!..***

*Перевод с белорусского Олега* ***ПУШКИНА.***



Евгений ХВАЛЕЙ

# *Осенний этюд*

## Неман

Приду на берега твои крутые,
Где средь дубрав такая тишь,
Где волны нежно-золотые
Колышут памяти камыш.

Река моя, сквозь лет водовороты
Спешишь — твой быстрый бег могу понять…
Но где-то там, вдали, за поворотом,
Остановись и подожди меня.

Нам есть о чем подумать…
Ведь столетья
Тобою плыли, как варяги в греки.
Легенды, все, что есть на белом свете,
Жить любят там,
Где бьют ключами реки…

Ты вновь спешишь — мне путь твой неизвестен.
Тебе от времени так просто убежать…
И долго буду я, с моими днями вместе,
Лишь грустным взглядом реку провожать…

## Дикие яблони

На холодный асфальт опадают —
Скоро всё там усыпано будет…
Но проходят и
не поднимают
Дички-яблоки люди.

Их судьба —
На земле оставаться,

Чтобы сгинуть,
без боли,
без крика…

…Страшно с дерева жизни сорваться
Вниз, под ноги, яблоком диким.

## Осенний этюд

В лесу такое небо синее,
такая тишь…
Да что ж трепещешь ты,
осина,
что так дрожишь?

А листья с веток оплывают,
как воск свечи,
и дол собою укрывают
в глухой ночи.

## Музыка в ночи

Сад укутала тишь,
Ночь, как яблоня, белая…
Ты идешь и молчишь,
Ты такая несмелая.

Я прошу белый май
В тайный миг откровения:
Ты в ладони поймай
Это чудо-мгновение.

Словно рай, белый сад,
Ты, как птица, пугливая.
А вокруг звездопад
Шепчет: «Ах же, счастливая…»

## Рубины

Средь золота лесных берез
Горят неистово рубины,
Что и в ненастье, и в мороз
Не затухают у рябины.
Где наш шалаш меж двух дорог?
Там я любил, и ты любила…
На сердце ты моем отбила
Тавро —

Из злобы, ссор, пустых амбиций…
Однажды, словно мошек рой,
Ледышек колкие дробины
Снегов нарушат серебро,
Где заблестят мои рубины —
Тавро.

* * *

Соловей живет незаметно,
в темноте, невидимкой, поет.
Только песня его —
на полсвета,
только в сердце она моем…

Он поет, обо всем забывая
от любви…
Эту песнь подхватив,
даже ветер потом
напевает —
соловья любовный мотив.

## Цветет картошка

Цветет картошка белым цветом
в июне,
в час, когда сады
качают завязи ранеток
на пальцах —
ветках молодых.

Спешит картошка гряды выбелить,
но лето не остановить…
Девчушкой с белым бантом выбежала —
кого хотела удивить?

## Белый стих

Под белым лебединым пухом,
по снежной мягкой пелене
бежишь из юности далекой
девчушка — символ чистоты.

Смотрю сквозь лед озябших веток,
как сквозь сплетенье лет своих…
Нет, не догнать мне, не окликнуть
девчушку — символ чистоты…

## Укроп

***Триолет***

Укропа запах в огороде
Сильней, чем розы аромат.
Напомнил мне весенний сад
Укропа запах в огороде.
Но время не вернуть назад —
Все предусмотрено в природе:
Укропа запах в огороде
Сильней, чем розы аромат.

* * *

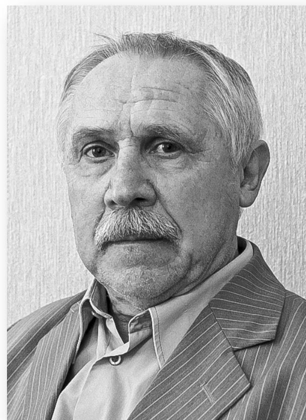
А лед под солнышком растает,
и вдаль помчится ручеек.
Пусть в сердце радость прорастает,
как бы из желудя дубок.

Огня пролесок не затушит
Ночь.
        Ярче утро с каждым днем.
Светлей,
            теплей сияйте,
                                души,
с весенним праздничным огнем.

* * *

черное воронье на деревьях
с презрением смотрит
на гусеницу-электричку
что ползет по шпалам
на «божьи коровки»
легковушек
стремительно несущихся
по шоссе
что ему кажется?
обед…
ах, как хочется склевать
«гусеницу»
и «божьих коровок»!
но страшновато —
а вдруг…
слишком уж подозрительные…

***Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.***



Георгий МАРЧУК

# *Люди реки Горынь*

*Рассказы*

## Трагики и комики

***Юрию Владимировичу НИКУЛИНУ***

Кто среди театрального общества не знает повсеместно распространенной в театре болезни: «кто кого съест» — или главный режиссер труппу, или труппа главного режиссера. Причем режиссер, с точки зрения актера, всегда самоуверенный, чванливый и бездарный, а труппа (по мнению режиссера) непрофессиональная, проалкоголенная и продажная.

Не обошел этот вирус и относительно молодой, недавно созданный театрик крупного индустриального города Беларуси. Театр этот мало чем отличался от других театров, но все же был известен тем, что тут (а не в каком-нибудь областном) творил один из последних народных артистов Советского Союза 73-летний украинец Иван Сильвестрович Грива.

Талантливый самородок за тридцать лет переиграл на сцене все роли: от кочегара до Ленина. Привезла его в город юная актриса, с которой он «прелюбодействовал», как после похвалялся, на борту самолета. Местные власти пестовали свою знаменитость, зрители любили, а жены — не уживались. Любил Иван Сильвестрович покрасоваться в разных президиумах, на слетах пионеров, комсомольцев, пожарников, милиционеров, учителей. Обычно своим густым приятным баритоном читал в оригинале какой-нибудь патриотический стих. Голос его и правда зачаровывал. Какую бы ерунду он ни нес, его все равно все с умилением слушали. Особенно женщины. Удивлялись даже, откуда у этого худощавого, среднего роста, конопатого (а с возрастом рыжая копна волос на голове не поседела и не поредела) такой «обворожительный баритон».

Сам же Иван Сильвестрович после таких сходов, митингов, банкетов говорил следующее: «Или я старею, или народ мельчает. Поверите ли, за год у меня примерно сотня встреч разных. Сижу на сцене, всматриваюсь в зал и не нахожу приличной женщины, чтоб сотворить с ней прелюбодействие». Под этим словом он обычно понимал и любовные романы, и легкий флирт, и отношения любовников. У самого Ивана Сильвестровича за его актерскую карьеру было четыре официальных жены. Про неофициальных он говорил: «Давайте умолчим, дабы не разжигать зависть у молодежи». В самый разгар оптимистического возрождения капитализма и пессимистических похорон социализма Министерство культуры властной рукой, еще по старинке, назначило в театр

Гривы нового главного режиссера Марата Ворошилова, которого откопали где-то аж в Петропавловске-Камчатском.

Свои «местные корифеи» в закулисных интригах поссорились и проспали эту должность. Перво-наперво труппа предвзято посмотрела на жену главного — будущую «приму-балерину», исполнительницу главных ролей — и ахнула... «Не будут на нее ходить зрители, как ходят на Гриву. Не будут!»

«Внешность для актера еще не все, главное талант, — пробовал кто-то взять под защиту пухленькую, небольшого росточка, с курносым носиком и маленькими глазками жену главного. — Главное же — талант».

— За таким бюстом я не вижу души. В наше время для героинь требуется сексуальность, рост, страсть, энергия. А этой только разве Пульхерию гоголевскую играть, — сделал вывод Грива. — Это первый шаг к смерти театра.

После первого же спектакля, который поставил новый главный — по малоизвестной, но американской пьесе — была тотальная мода на все американское, — все согласились с пророчеством Ивана Сильвестровича — не тянет жена главного на героиню, и все тут; но голос протеста никто из труппы не подал. Каждый боялся попасть под сокращение штатов, держался за свой небольшой заработок — на хлеб, молоко, кильку, бутылку пива на неделю хватает, и гори оно, искусство, синим пламенем. А хочешь мяса, фруктов, вина, обновку какую — крутись; смельчаки некоторые гримировались и возили домашний товар на базары Могилева, Гомеля. Лишь только Грива, новый главный, да его пухленькая жена, которая еще больше раздобрела на белорусском сале, жили одним театром. Так вот.

Иван Сильвестрович в обычной для него ироничной манере в пух и прах разнес постановку нового режиссера и исполнительницу главной роли. Жена режиссера всю ночь проплакала. Там, в Петропавловске- Камчатском, за эту же роль ей когда-то дали звание лауреата премии обкома комсомола.

Муж поклялся люто отомстить нахальному старцу. Хитрый и опытный матадор закулисных интриг решил на протяжении сезона заменить почти весь репертуар, те спектакли, в которых блистал Иван Сильвестрович, любимец города. Сам главный, одновременно репетируя две пьесы, позволил молодому артисту самостоятельно поставить спектакль для детей и пригласил на постановку еще одного режиссера из столицы. Экспериментатор и новатор Марат Ворошилов, который от волнения начинал заикаться, теперь носился по театру, как демон, и заикался постоянно.

Но и Грива, раскусив подлость пришлого, не думал сдаваться. Последняя его прелюбодейка, с которой он вот уже пять лет не поддерживал связь, костюмерша Ирина Анатольевна, вернулась к нему, чтобы поддержать морально и хлебно своего бывшего ухажера и кумира. Сердце у нее все же было доброе. Приятные воспоминания, солидарность в борьбе с культом личности нового режиссера, предчувствие старости, которое подтачивало оптимизм, когда стали жить по отдельности, заново сблизили высокомерного народного артиста и хрупкую, ревнивую когда-то, заядлую курильщицу костюмершу.

— В районном музее, на стенде, посвященном мне, попрошу оставить только твое фото, Ирен, — говорил невеселым вечером своему компаньону Иван Сильвестрович.

— А можно помириться с ним, Ваня, — предложила Ирина Анатольевна, — он же глуповатый и слегка маньяк. В каждой пьесе заставляет актрису или голую задницу, или грудь выставлять всем напоказ. Говорит, мы отстаем от европейской цивилизации. Без эротики никто даже не пойдет на спектакль. Но, однако же, свою кикимору не оголяет.

— Подонок, — затянул Грива, — что он знает о возвышенном искусстве? Поколение калек, кого они воспитывают? Таких же дегенератов, как и сами. Шекспир в гробу перевернулся бы, если б узнал.

Тут костюмершу и осенило.

— Ваня, а подай заявку на «Короля Лира»! Ты же двадцать лет мечтаешь об этой роли. Он не посмеет отказать!

— Идея гениальная, но... скажи, где взять миллионы, — это ж дорогая постановка, — оживился Грива.

— Пойдем на шинный завод. Мой брат там в отделе маркетинга, хорошо зарабатывает... Доллары даже имеет.

— Зачем же тогда Лира играть, давай возьмем долларов и будем спокойно доживать, — как бы пошутил Иван Сильвестрович.

— Нет, ну я серьезно. Все поддержат. Мэр города. Это же будет сенсация!

— Силы уже не те. Я с этим подонком так нервничаю, что все тело бьется в конвульсиях. Моча, понимаешь, не выходит. Стою в туалете по полчаса.

— Театр для города — это прежде всего Грива. Ты перед историей не имеешь права распоряжаться так своим талантом, он принадлежит народу.

— Я пока не думал про свою лебединую песню.

— Не ходить же на площадь и не отгонять голубей от памятника вождя. Подавай заявку, — решительно настаивала Ирина Анатольевна, — чтобы еще эта толстозадая вертихвостка пожинала твои лавры! Для чего ты тогда самоотверженно служил сцене — чтобы с позором ее покинуть?

— Ладно. Не дави на психику. — Грива надел на голову свою ковбойскую шляпу с очень широкими полями. — Дуй, ветер, дуй! Завтра же директор подпишет приказ о репетициях «Лира». Хватит прелюбодействовать, пора и о вечном подумать!

Счастливая Ирина Анатольевна, даже не обувши от волнения туфли, пошла с Иваном Сильвестровичем из театра в домашних тапках на босу ногу. Удивлению женщины не было конца. Директор дал согласие, более того, главный режиссер сам взялся за постановку трагедии, отложив работу над пьесой «Приключения Швейка в гареме». Это пахло сенсацией еще до поднятия занавеса. Они ненавидели друг друга, не здоровались даже.

Навалились на спектакль всем миром, чтобы обязательно выпустить премьеру в конце сезона. У Ивана Сильвестровича было намерение пригласить на своего «Короля» представителя европейского театра. Было свое намерение и у главного, но он его тщательно скрывал от всех.

Примирения не произошло. Иван Сильвестрович готовил свою роль почти самостоятельно. Главный работал с остальными, и больше всего — с исполнительницей роли Корделии, своей женой.

— Я — актер школы Станиславского — Грива. Авангард, сюрреализм, поп-арт, ползучий театр (Грива никогда не катался по сцене) оставьте другим, а «Лира» будем ставить возвышенно, традиционно-реалистично, — предупредил он всех, в том числе и режиссера.

На что Марат, не пряча свою лисью усмешку в коротко подстриженные усы, ответил:

— Не отступишь от текста ни на йоту, обещаю.

«Нахальный лис. Он считает, если мне за семьдесят, так я не способен выучить на память весь текст, — негодовал Иван Сильвестрович. — Да я в пивной лет десять все монологи читаю».

Репетиции шли и утром, и вечером. Все работали согласованно, с удвоенной энергией; а когда узнали, что едет все же на премьеру представитель Европы, какой-то господин Дечарка, так готовы были ночевать в театре.

Но тут наблюдательная и осторожная Ирина Анатольевна, которая не верила в добрые намерения главного, сделала открытие и ахнула:

— Ваня, ты читал финал трагедии?

— Ирен, это что, такая шутка?

— А ты почитай, Ваня, — она открыла книгу, — вот... Лир выносит на руках тело мертвой Корделии и еще говорит монолог. С телом на руках!!!

— Ну и что? А что ж ему — петь?

— Наивный? Разве ж тебе по силам удержать женщину весом в семьдесят кило? Одумайся. Сегодня же попроси, чтобы заменили актрису кило на пятьдесят. Я знаю, что и А недоедает, и Б похудела. Или проси, чтобы изменил мизансцену.

— Я? Милочка, ты меня не за того принимаешь. Пусть он лучше задушится, чем Грива будет просить, — завелся Иван Сильвестрович.

— Вот его коварное намерение. Я раскусила. Ты наживешь грыжу или бухнешься с инфарктом.

— Типун тебе на язык, — слегка притих народный.

— Попробуй. Возьми меня на руки и донеси... до постели.

— Ирен. Не шути.

— Тогда... хоть до дверей.

— Давай!

Иван Сильвестрович легонько так подхватил бывшую любовницу, сделал несколько шагов и остановился.

— Ну что?.. Что? А я всего 65 килограммов. Из трагедии будет трагедия. Смех... Он Яго, коварный Яго!

Иван Сильвестрович побледнел весь, сел, все еще не мог отдышаться. Давно он не носил женщин на руках. Отвык.

— Ничего. Меня голыми руками не возьмешь. Буду тренироваться. Подкачаю мышцы.

— Если бы какой хитрый домкрат придумать или что? И зачем ты отказался от авангарда? Так бы вывезли Корделию на электрокаре, — рассуждала упавшая духом Ирина Анатольевна.

Утром Иван Сильвестрович, как обезумевший, ринулся увеличивать свои силы. Бегал, спал, качал в спортивном зале мышцы исхудавших рук и ног, потратил на мясо последние 200 долларов, которые приберегал на самый, самый, самый черный день. Таскал на руках Ирен по квартире каждый день.

— Не все решают мышцы. Возьму на премьере силой духа, — утешал он и ее, и себя.

В день последней генеральной репетиции все ахнули. Строители привезли новую деталь декорации — лестницу и подиум, на который, по задумке режиссера, король Лир должен занести Корделию и оттуда из-под небес бросить в зал филиппики, вскрывающие «язвы и пороки гнусного общества». Такой вот апофеоз всего спектакля. Это была жестокая, ювелирная месть трагику. Иван Сильвестрович посчитал ступеньки: их оказалось ровно тридцать.

Хитрый режиссер во время генерального прогона деликатно предупредил:

— На самую верхотуру не нужно нести. Покажем все на премьере, а пока что донесите на треть лестницы.

Грива ничего не ответил, попробовал дотянуть мощную Корделию на эти десять ступенек.

«Прелюбодейка. Видно, черную икру месяц ела», — подумал он, тяжело дыша, но отступать было не с руки. Все билеты были давно проданы. Город жил в нетерпеливом ожидании премьеры.

Ходили слухи, что приезжает кто-то из НАТО, из Испании, чтобы оценить: достойны ли мы этой организации. Столичные телевизионщики брали интервью на улицах. Все хвалили и гордились народным, верили в успех. Ирина Анатольевна одолжила у знакомой акушерки бандаж своему кумиру, дабы тот не надорвался. И вот, наконец, день премьеры! Час пик! Иван Сильвестрович, руководствуясь талантом и величием Шекспира, забыл про свою нелюбовь к жене главного и к нему самому; играл с такой силой таланта, как никогда в жизни. Вот и последняя сцена. И тут собака режиссер выдал сюрприз, придумал смертельную находку для своего обидчика. Одел Корделию в кольчугу. Говорил, все по тексту, она из Франции на войну приехала.

«Боже, это же лишних двадцать килограммов, — только и успел прикинуть Иван Сильвестрович. — Если жив останусь, придушу гада».

Совсем рядом, за кулисами, стоял главный и издевательски улыбался.

Зал притих. Казалось, было слышно, как барабанит с каждым новым шагом сердце Лира. Где-то на пятнадцатой ступеньке Иван Сильвестрович почувствовал, что не дотянет до подиума. Ноги еще держали его с тяжелой ношей, а руки затекли. Схватило поясницу. Проклятый радикулит.

Он на какую-то секунду-две остановился. Все сразу почувствовали, что деду тяжело нести Корделию. И тут произошла метаморфоза. Кто-то из зала, большой поклонник таланта Гривы, звучно крикнул:

— Держись, Иван Сильвестрович! Не сдавайся!

Этот клич послужил сигналом для зрителей, которые охотно, в знак солидарности, начали аплодировать и скандировать:

— Иван Силь-вес-тро-вич! Иван! Силь-вес-тро-вич! Да-вай! Да-вай!

Ревели, как на хоккейном матче.

И он, окрыленный бурной овацией, понес «металлолом» на верхотуру. 28, 29, 30! Закричали «Ура»!

Эдгару не дали договорить последние слова. Иван Сильвестрович положил Корделию на подиум и упал рядом с ней сам. Корделия тихо спросила:

— Может, вам вызвать «скорую»?

— После, деточка, после. Пусть дадут занавес.

Всех артистов, ошеломленного Марата раз пять вызывали на бис, а Иван Сильвестрович все лежал на подиуме, наконец встал во весь рост. Поднял слабую руку — и снова овации.

Ирина Анатольевна плакала навзрыд.

— Браво! Браво, Лир! Браво!!!

И это мощное «браво», казалось, вот-вот разорвет стены. Это был звездный час, и победа над режиссером, и триумф, и лебединая песня народного артиста.

Увлеченный зрелищем заграничный гость, который прилип к молодым артисткам на банкете и все как бы нечаянно трогал их то за талию, то за плечи, то за колени, объявил, что приглашает труппу в Англию на фестиваль.

Все так и ахнули. Но судьба распорядилась иначе. К большому сожалению, стресс от огромных переживаний, а может, прожитые годы или чрезмерная радость загнали великого артиста Гриву, не выдержало его впечатлительное ко всему сердце. Похоронили Ивана Сильвестровича в костюме Лира, со

всеми почестями, как хоронили еще совсем недавно партийную элиту города. Марата Ворошилова после этой знаменитой премьеры затребовали в столицу и предложили возглавить солидный столичный театр. Вдохновленный этой нежданной приятной новостью, режиссер так мчался к жене на своем стареньком «Москвиче», что не совладал с управлением и попал в аварию. Жив остался, но получил увечье и пожизненную пенсию. Пухленькая жена посадила его, бедолагу, в инвалидную коляску и увезла к себе на родину, говорили, в Барнаул.

Еще через год все начало вдруг разрушаться. Половину театра откупили фирмачи, создали из нее манеж и наладили торговлю разными товарами. Труппа разбежалась. Осталось человек двенадцать, потому что им некуда было деться. Кто-то из них удачно торговал бензопилами, мазутом, памперсами. Ходили упорные слухи, что театр расформируют на добрые пятьдесят лет. Бывшие театралы, безработные, просто бездельники, бомжи, собираясь возле пивной, нет-нет да и вспоминали своего народного артиста Гриву и его Короля Лира.

— О, как играл наш Иван Сильвестрович! Чудо! Легенда!

— И не говори. Был народный артист СССР и был театр, а теперь одни шины в городе и остались.

— А помнишь, как тащил на верхотуру бабу в кольчуге? Концерт, ей-богу, цирк! Дед был что надо.

Еще через год общественность потеряла театр. Времена наступили дикие, первобытные, когда люди стали убивать друг друга за бутылку водки, курицу. В квартирах стали появляться, как в казематах, металлические двери, на окнах — решетки. И все же многие тосковали по театру. Но было поздно. Каждый был занят только самим собой, готовясь к худшему.

Было так или не было, а может, все это только приснилось старенькой и слабой Ирине Анатольевне, которую на свой манер Иван Сильвестрович прозвал нежно и артистично — Ирен.

А в это же самое время от Земли убегала комета Хейла-Боппа. Говорят, она должна возвратиться обратно через две тысячи лет.

Жаль... так долго ждать.

## На Припяти

Июнь 1963 года, каникулы. Пора, наконец, осуществить задуманное, к которому готовились последние недели.

Выбираемся с хлопцами со своей улицы на дубе-лодке на Припять. У родителей существует неписаный закон: не отпускать детей одних, если они не достигли пятнадцати лет, на рыбалку с ночевкой. Нам уже можно. Запасаемся картошкой, салом, луком, чугунком под будущую уху, берем удочки, спиннинг, один на всех, — и в путь. Плыть по течению нашей Горыни к Припяти одно удовольствие. Вода сама тебя несет. Вот и первая хатка горынских рыбаков, минуем вскоре и вторую хатку бакенщиков, а третья уже в самом устье, Нырча — домик бакенщиков припятских. Впервые видим, как светло-желтоватая вода Горыни вливается в черную как смола воду Припяти. Пристально всматриваясь в заросшие кусты смородины на берегу, идем по царице Полесья с полкилометра и, выбрав подходящее место, останавливаемся, привязав цепью лодку к упавшему у самой воды сухому дереву. Вода у

нашей стоянки показалась еще темнее. Проплывая мимо на своей небольшой лодчонке, бакенщик озорно так окликает нас: «С медведем будьте осторожны, он у нас почти ручной». Понимаем, что говорит он, чтобы нагнать страху, а все равно как-то не по себе. Лес вокруг по обоим берегам стоит дремучий, черт знает, что в таком водится. Никто из нас не рискнул искупнуться. Фантазии подсказывают, что именно в такой воде и должны водиться русалки да водяные. Жуть. Особенного клева не было, да менять место уже поздно. Сумерки сгущались быстро. А ночью так вообще стало страшно. В темной воде что-то булькает и плюхает у самого берега. Костер не хочет гореть. Сыро. Всем холодно. Но спиной к огню не садимся, потому как глазами-то тогда окажешься перед густыми зарослями лозы, в которой, кажется, кто-то невидимый ходит и наблюдает за нами. Я нарочно пересказываю троим своим друзьям содержание последней прочитанной книги. Мне страшно остаться одному, когда ребята уснут. Из темноты, как чудище, выплывает баржа-самоходка с рудой. От ее редких огоньков на палубе на какое-то время делается на душе спокойно. Послышался звук колокольчика. Несколько удочек с колокольчиками на конце и с тяжелым грузом (гайками от колес трактора) мы поставили «на сома» на всю ночь. Но никто не решается подойти к воде. Темно, черно, да и оступиться можно. В фонарике-даймане села батарейка, и свет от него не сильный ярко-белый, а рассеивающийся бледно-желтый. Одно спасение — июньская ночь пролетает как на колеснице. Поворачиваю голову на восток с надеждой — когда же появится диск солнца? Какая-то незнакомая ночная птица прокричала в кустах. Может, сова, может, филин. Начинаю даже жалеть в какой-то миг, что согласился на эту злополучную рыбалку. Но вот от хатки бакенщиков Нырчи доносится первое ку-ка-ре-ку. И от этой петушиной песни сразу теплеет на душе.

Наиболее смелый из нас, Колька, первым спускается к реке. Пора забрасывать удочки. Он во всем привык быть первым. Ранний клев ведь самый урожайный. Еще несколько минут, и огромный диск солнца начинает подниматься над лесом. Мы стоим недвижимы, как завороженные. Солнце одним залпом осветило все: и реку, и лес, и кусты, и нас, и небеса. Ведь никогда раньше мы не видели этого восхитительного восхода светила. Как мы были ему благодарны за свет, за победу над теменью! Словно кто-то невидимой рукой начал отгонять туман к кустам. Листья смородины надели бусы из белых рос. Еще минута, и пошел у всех клев. Первые красноперки и окуни, плотва, лещи, да все больше ладони — такая у нас мера, — радуют сердца, придают азарта. Коля уселся в лодку. Меряет дно веслом: ого, не достать дна двухметровым веслом. Вытаскиваем ночные удочки. На них два приличных сомика. К часам двенадцати теряем интерес к рыбалке, да и клев уже не тот. Решили не заводиться с ухой, всем скорее хочется домой, ведь есть чем удивить и родителей, и одногодков. Собираемся быстро. Плюем слегка на ладони, как делают наши деды, беремся за весла — и вверх по течению. Да, никто не предупреждал, что идти назад будет тяжело, очень тяжело. Пробуем поочередно тащить лодку по-бурлацки. Тоже нелегко. Такими темпами и до вечера не доберемся. На голодный желудок и сил-то нет. На выручку приходит городчук, который за время нашей рыбалки успел накосить травы-перки и догнал нас на своей моторке. Он-то и взял нашу лодку на буксир. «Що, салаги, из сил выбились? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», — улыбается он. Лежишь в лодке, а рука в реке, рассекает ладонь легкую воду, как топор. Солнце высоко. Даже у воды в лодке душно. Парит, как перед грозой. Над Припятью уже появились синие тучи. Хорошо, что собрались раньше, не ровен час, попали бы

под дождь. Монотонно тарахтит мотор. Хлопцы спят, подложив под голову фуфайки, а под бока охапки травы. Причаливаем к берегу у нас, на Слободе. Не хочется вставать, сон разморил. Две одноклассницы помогают матерям полоскать белье. Это мобилизует. Достаем низки с рыбой. У каждого из нас по доброй сотне окуней, лещей, щук, красноперок. По улице идем не спеша, хочется, чтобы увидели и оценили наш улов как можно больше народа. Ведь это первая ночная рыбалка. Событие не рядовое.

— Продай! — кричит кто-то с крыльца.

— Ага! Самому трэбо! — уверенно с гордостью отвечаю покупателю.

Только сейчас я вспоминаю, что впопыхах, когда собирались, я забыл у костра свой ножик с длинным острым лезвием. Ах, незадача. Ладно. Что уж жалеть, не вернуть. Пропал. Во второй раз в такое трудное ночное путешествие не рискнем плыть. Ладони от мозолей печет, ноги гудят, голова от бессонницы болит, но идем по улице победителями.

— Слава Богу, слава Богу, — крестится, встречая меня, моя бабушка, — больш не трэба ехать, унучек. Я же всю ноченьку просидела у окна, все просила у Бога, щоб скорее солнце на землю послал.

— Мы не купались, — успокаиваю я бабушку, — я буду удить рыбу в Горыни.

— И слава Богу, слава Богу, — не может успокоить свое волнение бабушка, — ты ж у нас один-одинешенек.

Традицию погорынцев мы поддержали.

— А ты на Припять с ночевкой ходил? — спрашивают старшие у клуба.

— А то. За Нырчей стояли. Вот и Коля свидетель. Высший класс! — отвечаю я.

— Тогда угощайся, закури. Ты уже полумужик, — добреет спрашивающий и протягивает пачку сигарет «Прима».

Нам не до курева. Идем на пристань. Там сегодня прощальный рейс колесного пароходика, который ходил по Горыни и Припяти еще перед войной. Ставят его в Пинске — нашей столице Полесья — на якорь и создадут в нем музей. Отходил свое. Прощальный гудок долгий-долгий. Был в Давид-Городке пароходик — и не стало. Обещали пустить новый, быстроходный, «на крыльях». А старенького жаль все же, очень жаль. Долго еще стоим на пристани. Исчез из вида колесный и увез вместе с собой наше детство. Тем, кто идет за нами, еще предстоит путь на веслах к Припяти и обратно. Такова традиция, а нас ждут новые открытия: первые поцелуи — дело сложное, и может, не менее безопасное, чем поездка на Припять. Обернулись мы еще раз на кручу, за которой исчез колесный, и медленно двинулись на танцы к клубу, из громкоговорителя которого уже доносилась до нас мелодия популярной песни «Ландыши».

## Этюды Давид-Городка

* * *

Там всегда меня охватывает печаль. Хата, церковь, школа, деревья, чайная, мост через Горынь, кладбище, деревянные кресты на перекрестках улиц — все навевает воспоминания. Сколько себя помню в детстве и юности — не встречались мне бабки-веселухи. Дедов-«клоунов» было значительно больше. Может, чудить помогал алкоголь. У моей бабушки было прекрасное

чувство юмора. Улыбку, правда, на ее лице я видел тогда, когда она гладила по головке своих или чужих внуков. Более веселый нрав был у двоюродной сестры моего деда тетки Олены Клубыщихи, потребностью которой было всегда оказываться в курсе дел и проблем городчуков. Она первой прибегала на базар, место сбора всех новостей, и последней его покидала. Легко, словно шутя, любила давать советы. Были у нее голубые-голубые, увеличенные очками глаза.

— Когда человек считается старым? — спрашивал я.

— Школу закончишь — тогда скажу, — отвечала она. — Вусы яшчэ не пробились, а ужэ старость на вуме.

Мы не виделись лет этак семнадцать. Она гордилась, что я стал писателем, разносила эту весть по всему Давид-Городку — в хлебном магазине, в церкви, на базаре, показывала роман «Крик на хуторе».

— Тетя Олена, так в тридцать лет человек уже старый?

— Не. Малады.

Я не сдавался. Мы сидим с ней и ее мужем, отменным столяром, едим вкусные оладьи, приготовленные ею.

— А в пятьдесят лет считаешься старым?

— Малады яшчэ і ў пяцьдзесят.

— В семьдесят лет точно старый? — все допытывался я.

— Моложавый еще. Не чапіся.

Самой тете Олене было под восемьдесят.

— Тогда в восемьдесят лет точно уже старый, — решил я добиться своего.

— Ай, Жорик, адчапіся. Скажу тобе… щоб на ўсю жытку запомніў і больш не прыставаў. Покуль жывэ чоловек на зямле, до того часу і молоды.

И запела вдруг песню «Ой, мороз, мороз, не морозь меня…»

Умерла она, когда ей было за девяносто, в Пинске, где «доглядала» свою правнучку.

* * *

Я чувствовал, что это мой последний концерт в родном клубе-костеле из ярко-красного кирпича. Наводнение погубило наш с бабушкой дом, жить в котором стало невозможно, а начать дорогой ремонт — нет денег. Нас приютил дядя Гриша, старший бабушкин сын, у которого своих детей двое, постоянной работы нет, есть постоянная нужда. Я уже вел переговоры с руководителем Столинского районного Дома культуры. Мне обещали место, вернее, не место, а просто обещали пристроить на какую-нибудь должность. Концерт, посвященный 9 Мая, проходил на хорошей ноте. Самодеятельность обладает одной особенностью — она работает с душой, а не имитирует работу. Были сольные песни, пели дуэтом, несколько танцевальных номеров и мой конферанс: скетчи, фельетон, басни, куплеты. Тот, кто вызывает смех, всегда пользуется большим вниманием зала. Я был в ударе. Перед занавесом долго, к удивлению всех, аплодировали стоя, что было редкостью. Очевидно, все, или почти все, знали, что я уезжаю работать в Столин. На волне успеха, растроганный до слез приемом земляков, я благословил их крестом. Трижды перекрестил зал. Получилось это импровизационно-интуитивно. «Идите с Богом!» Не успели закрыть занавес, как ко мне подбежала активная комсомолка, участница Международного фестиваля молодежи и студентов в

Москве, и испуганно сказала: «Жора, как ты мог, кто тебе разрешил крестить зрителей? Мы же клуб, а не костел». Все знали, что клуб с послевоенных времен занимает здание предвоенного польского костела.

— Извините, как-то само собой получилось, — оправдывался я.

— Ой, только бы в районе не узнали. Ну, ты на прощание и устроил номер… ой-ёй-ёй… що будэ.

Родственники мои на концерты в клубе не ходили. Клуб — забава для молодых, они себя считали уже пожилыми. Я рассказал об этом случае дяде Грише. Немного подумав, глядя куда-то в потолок, он сказал, что мной руководила рука Бога. «У косцёле крэст трэбо, коб буў, а не цыцкамі трэслі. Молодец. Бог ад цябе не адступіцца».

Я долго не мог уснуть в этот последний вечер в Давид-Городке.

* * *

Понимаю, многие не поверят в случившееся, в то, что у меня была встреча с Богом. Во сне ли она произошла, нашептал ли он мне вопросы по дороге на родину в автобусе, когда я сладко дремал. Одним словом, как говорят, хотите верьте, хотите нет. Я по убеждениям — сомневающийся христианин. Поражает удивительное разнообразие жизни, которая кипит вокруг. Не могу логически осмыслить, как и кем созданы планеты и светила, звезды и черные дыры, гравитация и радиация. Почему именно на исходе декабря солнце поворачивает на лето, кто солнце создал, кто зажег, и что оно делает, когда у нас на земле царит ночь? Скептик-физик примется укорять: одаривает светом другую сторону Земли, произошло в результате взрыва газа, Земля возникла из пыли... Я буду равнодушно его слушать, но думать о своем. Откуда птицы, животные, человек?.. Из пыли и газа? Мне надо понять суть, начало всех начал, а пока вернемся к вопросам Бога.

— Тебе за шестьдесят. Давай, друг мой, определись, чего тебе не хватает на земле, все ли испробовал, прочувствовал, узнал? От этого будет зависеть, как мне обходиться с твоей душой.

— В смысле? — робко спросил я, думая, что он намерен переселить меня на другую, более цивилизованную и, как говорят, «продвинутую» планету.

— В самом обычном смысле, — ответил Бог, — отвечай только «да» или «нет». Если «нет» будет превышать «да», продлим тебе срок пребывания на голубой планете еще на некоторое время, пока «да» не превысит «нет».

— Не совсем понял, — отважился возразить я.

— Вы там все такими хитрецами сделались за эти миллиарды лет, что я просто диву даюсь, — усмехнулся Бог. — Например, я спрашиваю: «Ты, белорус дорогой, наелся драников?» Ты отвечаешь или «да», или «нет». Я подвожу итог.

— Понятно. Драников наелся, — поспешил я с ответом.

— Тогда продолжим.

Насторожившись, я слушал вопросы, чтобы чего не пропустить и не сказать лишнее. В принципе, мне все это даже понравилось. Лукавить не буду: как можно обманывать Бога? Буду искренним...

Все пассажиры, будто по чьей-то команде, вышли в «огуречной» деревне, и я остался в автобусе один, что тоже было странно.

— Налетался ли ты на самолетах?

— Да.

— Наездился ли на поездах, на автобусах?
— Нет.
— Наловился ли рыбы?
— Да.
— Нацеловался ли с любимой?
— Нет.
— Довольно ли тебе школьного обучения? Довольно ли института?
— Да.
— Наслушался ли ты радио?
— Да.
— Насмотрелся ли телевизора?
— Да.
— Наелся ли лакомств?
— Да.
— Напился ли шампанского, вина, пива? Наигрался ли в шахматы, шашки, домино, футбол, теннис?
— Да.
— Налюбовался ли цветами?
— Нет.
— Устал ли от повседневных забот?
— Да.

Голос Бога был тихим, рассудительным. Я бы даже сказал, что задавал он вопросы сочувственно.

— Разочаровался ли ты в людях?
— Да.
— Разочаровался ли в детях?
— Нет.
— Пресытился ли ты морем?
— Да.
— Наездился ли на машине?
— Да.
— Насмотрелся ли на зверей?
— Да.
— На птиц?
— Да.
— На рыб?
— Да.
— Доволен ли одноклассниками?
— Да.
— Нагулялся ли в сосновом бору?
— Нет.
— Насмотрелся ли ты фильмов?
— Да.
— Пресытился ли ты отношениями с друзьями?
— Нет.
— Накатался ли ты в метро?

Кажется, я начал излишне волноваться. А что, если немного схитрить? Однако мгновенно спохватился. Как перед Богом хитрить?

— Нет.

— Исправно ли посещал службу в церкви, в костеле? — донесся до меня следующий вопрос.

— Нет.

— В достаточной ли степени помогал убогим и нищим?

— Нет.

Задумчиво, не торопясь, отвечал я на его вопросы и не заметил, как автобус подрулил к автостанции моего родного местечка. Шел я по знакомой центральной улице медленно, держась в стороне, не останавливаясь и не заводя разговоров с земляками, которые хоть и с трудом (все-таки я возмужал), однако же узнавали меня.

— Достаточно ли ты получил писем, открыток, телеграмм? — гудело в висках.

— Да.

— Хватило ли тебе меда, яблок, груш, слив, вишен, персиков, абрикосов, помидоров, огурцов?

— Да.

— Накатался ли ты на велосипеде?

— Нет.

— На лыжах, на коньках?

— Да.

— Наездился ли ты на премьеры пьес?

— Нет.

— Наговорился ли по телефону?

— Да.

Незаметно для себя я открыл калитку во двор своей двоюродной сестры, у которой всегда останавливаюсь, когда приезжаю на родину.

Зная о моем приезде, ее восьмидесятилетняя мать, которая помнит меня ребенком и подростком, знает мои склонности, вытащила из печи пшенную кашу, налила вишневый компот в кружки и поставила на стол большую сковороду с жареной картошкой. Голоса Бога от самой калитки не было слышно.

Я умылся, перекрестился на родовые иконы, и мы сели за стол.

— Налюбовался ли ты родиной? — вновь услышал я.

— Нет.

— Налюбовался ли рекою своей?

— Нет.

— Наслушался ли музыки всемирно известных композиторов?

— Нет, — уверенно ответил я.

— Хватило ли тебе впечатлений от посещения Киева, Москвы, Кракова, Варшавы, Парижа?

— Нет, — отчеканил я.

— Утолен ли интерес к Волге, Дону, Днепру?

— Нет, — твердо отвечал я.

— Достаточно ли ты встретил любимых, достойных людей?

— Нет! — не сомневаясь, крикнул я.

— Все ли осуществил, что задумал?

— Нет.

— Покарал ли своих обидчиков?

— Нет.

— Наговорился ли с родными?

— Нет.

— Находился ли босиком по берегу реки?

— Нет.

Мой голос звучал убедительно, будто колокол церковный, который созывает прихожан на службу.

— Может, тебе что-то не нравится, — насторожилась сестра моя, — что ты только «нет» да «нет»?

— Все хорошо. Это я так, самому себе.

Они усмехнулись. Больше вопросов не было. Видно, Бог занялся подсчетом «да» и «нет», чтобы прийти к какому-либо выводу. Мы еще долго беседовали, обсуждая местные новости и мировые проблемы. Долго не могли уснуть под монотонный шум дождя.

Я проснулся первым. Спохватился от внутреннего волнения. Но уж что наговорил, то наговорил. Не обманывал. Но первый вопрос не давал мне покоя. Босиком я быстро направился к реке. В церкви служба еще не началась, было около шести часов утра. Я стоял на берегу Горыни, лицом к восходящему солнцу, к небу, словно искал глазами того, к кому обратился. Маленькие рыбки совались носиками в песчаный берег, не обращая на меня внимания. Ласточки неслышно летали над водой.

— Господи, мы вчера с тобой говорили. Ничего не хочу переделывать. Пусть все будет так, как я сказал. Только... на первый вопрос... я поторопился... неподготовлен был... не думал... «Наелся ли наших драников?» Я ответил: «Да». Это неправда. Я отвечаю: «Нет». Слышишь, Господи: «Нет!»

В ответ только тихо журчала вода да песней встречала рассвет иволга на старой вербе. Упрекал себя в душе: почему я не обдумывал вопросы и ответы? А может, и услышит... исправит ответ. Ведь таких, как я, у него пять миллиардов. Буду ждать... уже как получится. Буду целовать любимую, восторгаться красотой родины, дышать сосновым воздухом, ждать звонков от друзей, растить детей и внуков, угощать их драниками, сидя на крыльце деревянного дома и слушая песни иволги.

***Перевод с белорусского автора.***





Александр ЛИСНЯК

# В песне горькая дума о родине

## Слова

***И в Евангельи от Иоанна***
***Сказано, что слово это Бог.***
Н. Гумилев

Мудрец домашнего розлива,
Я распознал под старость все ж,
Что правда — строго молчалива.
Словоохотливее ложь.

Орудуя словами бодро,
Возможно воздух сотрясти.
Но все слова — худые ведра,
В них сложно истину нести.

Слова на русском ли,
На идиш —
Приличия во имя лишь:
Ты говоришь, что
Ненавидишь,
Я вижу, что
Боготворишь.

И в судьбоносные моменты,
Как бы под вилами ужи,
Клялись вожди и президенты,
И глазом не моргнув,
На лжи.

Мы все живем в формате риска
Словам вверяя бытие.
Соврет словами и расписка —
Сам человек — уже вранье!

Неси в крови!
Лелей у сердца!
Храни в Душе — Душа жива!..

Ну, а слова, как ни усердствуй,
Всего лишь навсего слова!

Так черным писано по белу
От Иоанна.
Сам взгляни,
Ведь «Логос» — это Мысль и Дело.
Они и были искони!

## Правда

Я с ними пил из одного стакана
И ел прибором, ложкой и рукой.
Дружили от муллы до молокана
Со мною в жизни, длительной такой.

Но общество в единство не сложили,
Искать на свете правду разошлись.
Сражались,
Добивались,
Рвали жилы,
Запутали, смешали даль и близь.

У каждого была в запасе льгота,
О равенстве закон и книги врут:
Одним убить —
Обычная работа,
Другим любить —
Непостижимый труд.

Так как же это верить было надо,
Что «правда» —
Принадлежность целых стран.
Что всех зверей собрать возможно в стадо,
Где власть возьмет единственный баран.

Я не хочу в сообщества вязаться,
Ни идола творить, ни божества….
Вся правда в том,
Что большинство — мерзавцы,
А власти —
Продолженье большинства.

## Как наследить…

Не все на свете поддается тленью.
Растут дворцы и замки, словно лес.

За городом любым,
За поселеньем
«Долины нищих» и «Поля чудес».

Дворцы растут,
Красивые, как вазы.
Их житель и успешен, и велик —
Сообщается десятком унитазов
С вселенной каждый замок напрямик…

Когда-то в мире было много бочек.
В них ветра свист
И солнце, как рентген.
И без удобств, без глаженых сорочек
В одной из них жил циник Диоген.

## В больнице

Пахнет карболкой,
Спиртом камфорным,
Больные сны нарушит крик…
В бинты закатан, словно амфора,
На койке бодрствует старик.

Друзья, родные —
Все покоятся.
Один и ночью дед, и днем.
Лишь где-то сын-священник молится,
Но все молитвы не о нем.

Луна в окне степенно катится,
Метели рвутся напролом…
Вот снова
В белом летнем платьице
Фигурка встала за углом.

Приходит в полночь,
Так уж водится,
В сугробе,
У бетонных плит,
То ль память лет,
То ль Богородица
По душу грешную стоит.

Но дед там видит только ворона
С желаньем
Вовсе не благим…
И с этим миром связь оборвана,
И нет совсем ее с другим.

## Про крылья

***…Вновь я посетил…***
А. С. Пушкин

Снова родину я посетил.
И сказала земля золотая:
«Улетел —
Так подальше лети.
Раки пятятся,
Птицы — летают».

Садик яблоки сыплет в траву.
Да родители тихо стареют.
Да линуют стрижи синеву,
О движенье назад не жалея.

Одноклассница стала давно
Трактористкой.
Солирует в хоре.
Вышла замуж, и ей все равно,
Что у птиц лишь передняя скорость.

Мне на улице вслед,
Как велось,
Смех детишки ушатами выльют:
Сквозь пиджак они видят насквозь,
Как малы,
Как слабы мои крылья.

И подумает за полночь мать:
«Ах, напрасная времени трата!
Если б сын
Мог, как птица, летать,
Он вернулся
И сел бы на трактор…»

## Настроение

И будет ни к чему являться скоро
Сюда, где ты беспечно жил и рос:
Не речка донесла волну до моря,
А улица вливается в погост.
Родные лица реже стали сниться,
Фантазия замедлила полет.

Стучит в окно знакомая синица,
А в доме никого не узнает…

## Оптимистическое

Солнце прячется в тучах по-лисьи.
Выбил травы залетный табун.
Сыплет осень отжившие листья,
Как призывы с высоких трибун…

Отмечталось,
Отверилось,
Хватит!
Пусть опять возрождается быт,
Тот,
Исконный,
Что в дедовой хате
Был когда-то коварно убит:

В бане жар и квасок на смородине.
В доме лад после трудного дня.
В песне горькая дума о родине.
И роднится,
Как прежде,
Родня…





Анатолий МАТВИЕНКО

# *Без неба нет жизни*

*Рассказы*

## Друг, который не предаст

*Эту войну в советские времена было велено считать «чужой войной». Ровно год с 22 июня 1940 года Великобритания в одиночестве воевала с гитлеровской Германией и ее союзниками.*

*Советское правительство подписало с нацистами Договор о дружбе и границе. О дружбе! Между «друзьями» наладилась успешная торговля стратегическими материалами, корабли Кригсмарине беспрепятственно использовали советские арктические воды, а в Лондон слетались сведенья, что немцы уговаривают Сталина присоединиться к странам Оси и разделить британские территории между победителями.*

*О том, что на следующий год беда обрушится на СССР и в числе первых под нацистским молотом окажется Беларусь, догадывались немногие. А сейчас немногие знают, что наши земляки успешно уничтожали немецких «друзей» задолго до 22 июня 1941 года.*

*Станислав Петрашкевич из Минска, Войцех Змышлёны, Игнатий Швенчицкий, Ян Палак и многие другие уроженцы белорусских земель воевали в польских эскадрильях RAF — Королевских военно-воздушных сил Великобритании.*

*С их участием была одержана первая и потому чрезвычайно важная победа над нацистами — пока еще только в воздухе. 15 сентября отмечается в Великобритании как национальный праздник. В этот день в 1940 году летчики-истребители RAF нанесли невосполнимый ущерб вражеской авиации, сделав невозможной немецкую высадку на острова.*

*Сотни опытнейших летчиков Люфтваффе, еще с испанским стажем, нашли свою могилу в Ла-Манше. Ни одному из них не было суждено вести боевую машину над Беларусью, сбрасывать бомбы, расстреливать бежецев…*

*Тогда, в сороковом, это была и наша война.*

* * *

Капли дождя упали на лицо. Скрыли слезы?

Вряд ли. Ничего я не собираюсь скрывать. Мнение окружающих не имеет значения.

— Сожалею, Мартин, — как из тумана доносится голос винд-лидера. — Пройди через это. Даю тебе три дня отпуска. Потом ответишь гуннам.

— Простите, сэр! Я не могу…

— А мне плевать, что ты можешь, чего ты хочешь! — взрывается

Бадер. — Не собираюсь с тобой нянчиться ни на земле, ни в воздухе. Это война, все теряют! Джонсон, проследи.

— Да, сэр!

По дороге к казарме стряхиваю с плеча пятерню назначенной няньки и прошу оставить меня в покое. Рик проявил куда больше такта — тихо трусит рядом и только изредка поскуливает, чувствуя мое настроение.

Захлопнув дверь в комнату, которую мы делим с Джонсоном пополам, я сгребаю Рика в охапку и зарываюсь лицом в его влажную рыжую шерсть. Долго не слышу никаких звуков, кроме частого собачьего дыхания. Потом Рик выворачивается и лижет меня в лицо.

Мохнатый золотистый ретривер, подаренный сестрой, — это все, что у меня осталось от семьи…

…Он же провожает меня три дня спустя, помахивая хвостом.

Парни при моем появлении примолкают, но ненадолго. «Салага» Бадер прав — в войну все привыкают к потерям и редко размениваются на соболезнования.

Мы, пока еще уцелевшие, спешим жить. Хотя бы отмеренный недолгий срок.

Я ищу взглядом циферблат на стене диспетчерской. Стрелка сегодня уперлась в литеру «А». То есть, при команде на вылет первым в воздух поднимется сквадрон «А». Мы с Джонсоном — тоже.

Командир крыла выползает из штабной берлоги, сложенной из гофрированного металла и выкрашенной в защитный цвет. В зубах торчит неизменная трубка. С кислым видом смотрит в предательски чистое рассветное небо. Чистое оно и для гуннов. Прилетят.

Бадер вытаскивает трубку из пасти и вразвалочку ковыляет в нашу сторону. Пройтись строевым шагом винд-лидер не сможет даже под угрозой трибунала — чуть ниже колен у Бадера пристегнуты металлические протезы. Он ничуть их не смущается, даже гордится, и есть отчего — безногий инвалид стал самым результативным истребителем Королевских ВВС!

Говорят, когда Бадер взял измором очередную медкомиссию и получил допуск к полетам, он даже не поблагодарил врачей. Только вытащил бумажник и с невозмутимым видом поинтересовался: «Джентльмены, где я могу купить “спитфайр”?»

С той же равнодушной миной он оглядывает меня с ног до головы, хозяйским жестом поправляет хомут спасательного жилета на шее, как проверяют упряжь у лошади, и спрашивает:

— Глупостей не натворишь? Мне идиоты в воздухе не нужны.

— Не натворю, сэр! Кроме «идиотской шеренги» — ничего.

Он криво скалится и снова запихивает трубку в рот, удовлетворенный ответом, а я уже через четверть часа отдаю пилотку своему механику Митчу, водрузив на голову шлемофон с болтающейся кислородной маской. Стекло фонаря кабины с шумом въезжает на место, отрезав от внешних звуков, заглушенных рокотом двигателя, там же снаружи остался мажорный лай Рика.

Ему кажется, что ничего не изменилось. Пусть я натянул летную куртку, слишком теплую для августа в Сассексе, и привычно протопал к диспетчерской, это не отменяет главного и самого страшного факта — мои родители и сестра…

Нервно сглатываю и сжимаю зубы. Дал же себе слово — не раскисать! Снова смотрю в левое стекло.

Митч тянет Рика за ошейник от самолета. Молодой еще пес, даже года нет, отчаянно радуется: хозяин перестал хандрить и снова забрался в железную птицу, та плюется дымом и ветром, грохочет, пытается испугать, но смелый Рик сейчас ей покажет… Поэтому механик следит, чтобы мой четвероногий друг в порыве азарта не бросился к сверкающему нимбу винта.

Взлетев, мы мотаемся по кругу в ожидании, пока с бетонки Тангмера поднимается сквадрон «B». Смотрю вниз. Митч едва виден, а скачущее вокруг него рыжее пятно — отчетливо.

Ближе к побережью умираю от желания двинуть до упора ручку газа и вырваться вперед. После случившегося накатывает нервная дрожь: до скрежета зубного хочу увидеть кресты гуннов в коллиматорном прицеле истребителя.

Осаживаю себя. Мы выстраиваемся в линию, ту самую «идиотскую шеренгу», не предусмотренную никакими приказами Истребительного командования. Два сквадрона, четыре четверки «спитфайров» и «харрикейнов» крылом к крылу несутся к морю навстречу многократно превосходящему количеству гуннов. Просто все вместе — и к дьяволу тактические ухищрения.

Пилоты сквадрона справа и слева от меня — сплошь мальчишки не старше двадцати четырех. Они, наверно, воображают себя эдакими бесстрашными рыцарями Камелота, мчатся на врага, опустив забрало и выставив вперед копье.

Раньше задавал себе вопрос — что я забыл в Королевских ВВС? Зачем я воюю, рискую шкурой? За Польшу? Но она на другом конце Европы, Британия хладнокровно бросила ее на растерзание в тридцать девятом. А Минск, моя малая родина, принадлежит Советам, как и все Крэсы Усходни. Большевики с Гитлером заодно, и если верить радио ВВС, вот-вот выступят на стороне немцев… Стало быть, я борюсь против земляков?

Три дня назад сомнения умерли вместе с моей семьей. Немецкий U-бот пустил торпеду в британский транспорт, отправившийся из Ливерпуля в Нью-Йорк.

Помню, отец с видом бывалого знатока стратегии уверял: порожние суда не интересны «волчьим стаям», те нападают лишь на груженые, идущие из Штатов на восток. У капитана подводной лодки, очевидно, было другое мнение.

Отец так гордился, что смог добыть место в каюте...

— Вижу гуннов! «Толстый» — атакуйте в лоб, потом разворот и на добивание, мы прикроем, — звучит в наушниках голос «Салаги», перекрывая другие радиопереговоры. Наверно, у него и глаза железные, не только ноги, потому что я разглядел черные точки по курсу лишь секунд через пять.

Матерь Божия, не оставь заступничеством… Сколько же их!

…Ответная очередь из «юнкерса» неприятным треском прокатывается по корпусу «спитфайра». Толкаю ручку вперед, подныривая гунну под брюхо. Казалось бы, ко всему уже привычный вестибулярный аппарат возмущенно протестует, наградив пренеприятным ощущением провала внизу живота. Мелкий мусор со дна кабины брызжет в лицо, припорошив очки и кислородную маску. Утренняя овсянка взлетает к горлу.

Мотор судорожно чихает. Кабина наполнена дымом. Что хуже всего — пробит топливный бак, он прямо за приборной доской, бензин хлещет мне прямо на колени…

Кричу в эфир, что подбит. Забыв отпустить тангенту передатчика, добавляю «пся крэв» и пару слов покрепче. Не сомневаюсь, блюстители нравствен-

ности из командования сектора заявятся с расследованием, кто засорял эфир всякими «факинг щит», заодно взгреют и меня…

Если дотащусь хотя бы до суши.

Коптящий истребитель недотягивает до взлетно-посадочной полосы около пары миль. Иду на вынужденную, подо мной пашня с обычными английскими сувенирами. Так и есть — на шасси обильно наматывается колючая проволока, тонны которой старательно раскиданы по полям в расчете причинить неудобства германским планеристам и десантникам. На самом деле из-за этой проволоки переворачиваются только британские самолеты.

«Спитфайр» становится практически вертикально, на миг я повисаю на привязных ремнях, ошеломленный тишиной, — двигатель и рация сдохли одновременно. Потом машина с грохотом и скрежетом валится на хвост, здорово наподдав мне по пятой точке… Благодарю Господа, что фонарь кабины открылся без помех.

С погнутым винтом мой самолет выглядит побитой собакой. Из-под капота курится дымок. Делать нечего, отправляюсь пешком в Тангмер, на окраине которого заседает командование сектором.

В городке видел миловидных девиц из женской вспомогательной службы, но ни разу не заглядывал в их гнездовье. О нем на авиабазе сложено столько легенд! Даже название им придумали: «Хор красоток». Бьюсь об заклад — у них гораздо приятнее попросить телефон и вызвать машину с Митчем, чем объясняться с надутыми офицерами сектора.

Видок, правда… Салага Бадер всегда одет в китель, под ним неимоверно белая рубашка и темный форменный галстук, сверху пижонский бело-голубой шарф. Не могу так, поэтому бреду в сапогах, бриджах, свитере и спасательном ошейнике, меховая кожанка расстегнута. Из-под шлема катится пот, но не раздеваться же до трусов.

Налет на гнездовье не понадобился. Курившая у дверей невысокая стройная девушка по имени Мардж поражает меня с первого выстрела. Как пулемет с утреннего «юнкерса» — не смертельно, но лучше сразу присесть.

Едва похоронив семью, причем — только внутри себя, без отпевания и погребения, ибо их могила на дне моря, я совершенно не расположен к романам, тем более мимолетным. Но Мардж… У нее пушистые соломенные волосы и очень мягкие серые глаза с чертенятами. В них хочется зарыться, забыть о свалившихся бедах, как в густую шерсть моего пса, и не заботиться, что кто-то увидит.

Я несу какую-то несусветную чушь, она — стандартные отговорки в ответ, мол, вы с каждой так, мистер пилот. Ни в коем случае, вы — особенная, глубина ваших глаз намекает на красоту вашего внутреннего мира. Ах, сэр, я знаю летчиков, им в женщине нужна единственная глубина…

Хорошо, что беседа сразу свернула к конструктивному руслу. Благоразумные леди понимают, что серьезные отношения с истребителями строить глупо — мы подобны пожарным на горящем пороховом складе.

— Мисс Остин! Время вашего перерыва вышло! — дама лет на десять старше заинтересованно глазеет на мою отнюдь не богатырскую фигуру.

Увы, дорогая, трофей принадлежит Мардж, извини. Да и мне пора к телефону — позаботиться о доставке угробленного истребителя.

Через час Митч осмотрел пробитую рубашку охлаждения. Когда он один, то деловито раскрывает лючки и молча возится во чреве. Сейчас, играя на

публику в моем лице, с видом знатока колупает пулевые дырки, нюхает палец в гликоле, затем глубокомысленно вещает:

— Отлетался. Машину на капиталку, мотор — на замену. Завтра прибудут новые «спиты».

Под капотом щелкнуло, будто покинутый самолет решил что-то сказать напоследок. Спасибо, что не разбил? Гад, потому что бросаешь? Кто поймет крылатое существо, не имеющее грешной души…

Новые «спитфайры» улучшенной серии Мк2 занимают места на стоянках лишь через три дня. Я получаю машину, и в тот же день мы крупно ругаемся с Бадером. Он категорически отстраняет меня от боев.

По правилам Королевских ВВС, летчик после цикла из тридцати боевых вылетов обязан полгода отдыхать. Если считать за боевые все полеты, когда открывал огонь, то за один июль набрался полный цикл, спорить — бесполезно.

Уверен, что Салага закрыл бы глаза на перебор. Но потеря родителей, и сам едва не погиб в первом же задании после телеграммы… Винд-лидер сделал свои выводы.

Подслащая пилюлю, командир позволяет мне пользоваться его авто. Всего-то полторы мили, но прибытие за рулем автомобиля, а не пешком, прибавляет джентльмену солидности. Я езжу к Мардж в общежитие для вспомогательного персонала, когда она освобождается от дежурства. Во время поездок Рик важно восседает на переднем левом сиденье. Открываю перед ним дверцу, как слуга перед лордом, и он чинно спрыгивает на подстриженную траву.

Девушки из «Хора красоток» от него без ума. Любимцев в Англии называют словом pet, независимо от видовой принадлежности, пола и возраста. Важно лишь, чтобы домашний зверек не приносил пользы — не охранял, не ловил мышей и не нес яйца. А какая польза нужна, когда пес узнает твой истребитель еще на пробежке, при задвинутом фонаре кабины? Он не может видеть лицо пилота, укрытое маской и очками, прочитать буквы на фюзеляже, даже запах различить — на авиабазе царят ароматы топлива и смазочных масел. Но ведь собаки не ошибаются! Прыгают, заходятся лаем от радости, а ты боишься только, чтоб дурачок в бурном восторге не попал во вращающийся винт. Летчик не вернулся из вылета, а пес спокоен — значит, пилот спасся с парашютом или сел в другом месте, судьба разбитого самолета наших мохнатых друзей не интересует. Страшнее всего, когда время не вышло, а псина начинает тихонько и протяжно выть, словно волк на луну… Точно — жди беды. Что касается пользы, ничто так не успокаивает нервы после посадки, как рыжий хвостатый комок, пытающийся запрыгнуть на левую плоскость, сходя с ума от счастья, что большой и сильный хозяин вернулся целым и невредимым.

Четверолапые есть у каждого третьего летчика крыла, и если псы сбиваются в кучу, лают и шутливо покусывают друг друга, это напоминает ту самую «собачью свалку» в воздухе, когда цепляешься к «мессерам» и не важно, собьешь или нет. Главное — оттянуть истребители на себя, пока другие топят немецкие бомбардировщики в Канале.

Я осваиваю новый «спит», не имея возможности даже разок стрельнуть в сторону гуннов, захожусь от злости…

И наступает тот самый злополучный день 15 августа.

…Наши летят навстречу врагу, я провожаю их с Риком, обладая готовым, заряженным и заправленным «спитфайром», но без права подняться в воздух.

Утомленный, курва… Даже перед Митчем стыдно, который, засосав пиво, топает к соседней стоянке, где ждет человеческих рук раскрытый самолет со снятыми капотами и разверстыми крышками лючков, там мой механик поможет коллеге оживить его. Ни слова, ни взгляда мне в упрек. А разве нужны слова?

Я не знаю, что сказать Митчу. Пальцы привычно лохматят собачью шерсть.

Черт, даже перед собаками неудобно! Их хозяева улетели, Рик вопросительно на меня смотрит: а ты чего?

Через полчаса взвывает сирена, на юге проступают черные точки. Персонал авиабазы ссыпается в щели-убежища, и тут во мне что-то переклинивает. Кричу Митчу: «За мной!», сам несусь со всех ног к «спиту», наплевав на приказы и запреты.

Шлемофон срываю с зеркала и криво кидаю на голову, когда самолет уже трогается, а на поле сыплются первые бомбы.

Это настоящее пекло! Кок винта вонзается прямо в фонтан грязи, дыма и огня, лопасти рубят в воздухе дерн, зеленая кровь которого липнет на бронестекле. Грохот канонады начисто заглушает рев тысячи кобыл под капотом и треск камней по крылу!

А я только молюсь святым угодникам — не попади колесо в воронку, не забейся маслорадиатор…

Взлетаю в футе над изгородью, осматриваюсь — не тянется ли за «спитом» зловещий шлейф. Вроде как пронесло. Преследовать и мстить поздно, отбомбившиеся «хейнкели» флегматично взяли курс на юг.

Выписываю широкий круг над аэродромом. Где были стоянки — сплошное пламя. Выходит, я спас тебя, «спитти»-дружок. Не забудь отплатить тем же. Надеюсь, Митч и Рик вовремя зарылись в щель.

Постепенно набирая высоту и присоединив, наконец, шлемофон к разъему, я пробую связаться с диспетчером сектора. Куда там! Эфир забит воплями, «факинг гуннз» и «санофбич» — самые мягкие выражения.

Накрутив высоту под двадцать четыре тысячи футов, вижу, наконец, эскадру «юнкерсов», возвращающуюся во Францию. «Спитфайр» кидается сверху наперерез и догоняет их с невероятной легкостью, словно обрадовавшись жертвам. Серая туша бомбардировщика заполняет прицел и продолжает расти.

В кабине хвостового стрелка пусто — явно перелез в нос и радуется, скотина, что опасность позади. Неторопливо пристраиваюсь чуть левее и веду длинную очередь вдоль фюзеляжа.

У «восемьдесят восьмого» пилот сидит у левого борта. Наверно, адское пламя увидит, когда машина еще не коснется воды. К «спиту» тянутся золотые проволочки от хвостовых стрелков двух других замыкающих, и я не рискую в одиночестве ввязываться в бой — где-то рядом наверняка есть истребители сопровождения.

На подлете к Тангмеру вижу Бадера с ведомым. Сердце проваливается в летные сапоги. И это — все, что осталось в строю от трех сквадронов?! Я равняюсь с лидером, качаю крылом… и чуть не выпускаю баранку из рук от изумления. В «спите» топливный бак между летчиком и мотором, в паре дюймов от ног. Воняет бензином всегда. Мы не то что летаем — чуть ли не плаваем в бензине, а наш авантюрист курит прямо в воздухе, сдвинув фонарь и маску! Выпустив клуб дыма, унесенный ветром назад, он машет мне рукой, в которой зажата неизменная трубка.

Садимся. Взлетно-посадочные полосы еще ничего, надо только залепить дыры раствором, а вокруг ни одного целого здания. Ни единого сохранившегося самолета — уничтожены и на стоянках, и в ремонтном ангаре. Летное поле затянуто дымом. Топливо, видимо, выгорело, а теперь на лицо и одежду спускается тяжелый чад от смазочных масел.

Рик, провонявший копотью, радостно тявкает у крыла. Хозяин вернулся! Больше нет проблем…

Бадер не разделяет собачьего восторга. Он скребет ногтем нагар от кордита на дульном срезе пулемета. Понятно, что на время пробных полетов оружейник аккуратно заклеил стволы, чтоб не пылились зря, пломбы сорвало пулями.

— А пулеметы просто опробовал.

— Да, сэр.

— И как? Пленочку фотокамеры вместе посмотрим?

— Как прикажете. Я же не виноват, сэр, что под пробную очередь «юнкерс» подвернулся.

Даг выбивает трубку, скуренную еще в воздухе, и смотрит мне в глаза с каким-то незнакомым выражением.

— А сейчас объяснишь мне, что взлетел, лишь бы спасти «спитфайр» от бомб?

— Истинная правда, сэр! Кружил над полем, ожидая уменьшения задымления. Увидел гуннов. И… проверил пулеметы.

Бадер тоскливо оглядывает стоянку, украшенную лишь несколькими относительно целыми машинами, только что севшими, остальное — кострища.

— Еду домой. Подкинуть к Мардж? Здесь все равно ночевать негде.

Мы уезжаем. За спиной все так же клубится дым, а неутомимый коммандер Ричардсон гоняет аэродромных, заставляя расчищать обломки, убирать мусор, тушить пожары.

Мардж нахожу скрюченной на кровати в двухместной комнате общежития в слезах и в истерике.

— Представляешь? Когда стало понятно, что «хейнкели» идут прямиком на Тангмер, наш офицер скомандовал… надеть каски! Он запретил спуститься в убежище!

Девушка заходится в рыданиях.

— Выжило пятеро… Двух девочек, которых солдаты вытащили позже, сильно обожгло… Остальных разложили на траве, рядком. Понимаешь? Почти все, с кем болтала и пила кофе утром, остались там, прикрытые брезентом, из-под него торчат неподвижные ноги в одинаковых форменных туфлях и чулках… Некоторые и без ног.

Внезапно истерика меняет направление.

— Ты убьешь их? До единого, чтоб только кровавые обрубки валялись под брезентом!

— Всех вряд ли. Сегодня опустил «юнкерса» в Ла-Манш.

— Тебе же запрещены боевые вылеты!

— А я хочу запретить гуннам бомбить. И не нашел другого аргумента.

Глажу ее по соломенным волосам. Мардж понемногу успокаивается и прижимается ко мне. Мы впервые проводим ночь, не занимаясь любовью. Соседка по комнате не смогла бы помешать. Она ночует под брезентом, в окружении таких же мертвых тел.

Рассказываю Мардж про дом, ее это немного отвлекает. Про Минск, почему-то первое мое воспоминание связано с немцами — как патруль хватает

отца на Губернаторской, тащит куда-то, мама виснет на офицере, я реву в голос… Может, поэтому ненависть к гуннам зашита во мне на подсознательном уровне.

Потом Львов, голодные годы. И чуть более сытые годы, летная школа Войска Польского и нелепое увольнение из армии. Отъезд в Британию в тридцать восьмом. Натурализовавшись здесь, попал в британскую, а не польскую летную часть, где я один такой, отчего и получил прозвище «Лях», ставшее официальным радиопозывным.

Мы не можем уснуть до утра, когда меня, одуревшего от бессонницы и ночных разговоров, Бадер забирает на базу.

…Четвертого сентября меня сбивают над окраиной Лондона. Прямо в парашютной сбруе переворачиваюсь на спину и пытаюсь разложить организм в соответствии с заводскими чертежами. Добрый самаритянин обливает водой из ведра, затушив тлеющий комбинезон.

Следующие дни провожу на койке в госпитальной палате, замотанный до глаз. Потом ко мне прорывается Мардж. Из ее взвинченного состояния следует, что обугленная головешка из КВВС перестала считаться другом на пару ночей. Обещает ждать, надеяться и хранить верность, даже если самая интересная часть моего механизма сгорела в труху.

— Ну, может, какой огарочек и остался, посмотрим, — обнадеживаю ее. — Лучше помоги подняться. Спрошу у доктора, когда можно в воздух.

Мардж зажимает рот. С такими травмами?! За несколько дней до этого она привезла мне верхнюю одежду, поддавшись на шантаж, что в противном случае вещи доставит другая леди.

— Ты с ума сошел! Тебя же не выписали…

— Я сам себя выписал.

…Бадер не знает, как реагировать, услышав историю бегства из госпиталя. У меня в арсенале аргументов нет ни одного патрона логики, одни эмоции.

— Сэр, вы добивались возвращения в КВВС долгие годы. У меня нет ни дня. Не могу больше безучастно смотреть из окна палаты, как они бомбят жилые кварталы.

Лидер авиакрыла делает то же, что и обычно — закуривает. Старается не смотреть на мою рожу, разукрашенную ожогами, и руки в бинтах.

— Меня посадят вместе с тобой.

— Не обязательно. Если летчик прыгнул с парашютом и через несколько дней вернулся на авиабазу, вы у каждого требуете медицинские справки о здоровье?

— Тебе точно не помешает. От психиатра. Принимай самолет! — Он поворачивается к Мардж. — Мисс, я порекомендовал бы вам потребовать от него поход к психиатру, если имеете на него серьезные виды.

Как ни странно, ей особенно в голову запало не мое экстренное выздоровление, а давешняя угроза про «другую леди». Она подзывает Рика, чешет за ухом и предупреждает, кивнув на меня:

— Проследи, милый, чтобы этот кобель даже не смотрел в сторону других женщин. Если что, кусай вот сюда…

…В облачности мотор «спитфайра» звучит как-то иначе — громко и сердито. Ночная беспросветная муть за бронестеклом особенно плотна и неприветлива. В Тангмере спят, кроме полудюжины человек, выпустивших меня в одиночный полет, который совпал с дежурством одного фата из Вспомога-

тельной авиации, о нем рассказала Мардж. Из тех, что непременно ездят на дорогих авто, носят сорочки с монограммами и подбивают мундир красным шелком. Эдакий сэр из клуба военных джентльменов.

Он предпочитает нести службу, лежа на кушетке, а с микрофоном мучается капрал-помощник, следуя ценным указаниям офицера, пребывающего в полудреме. Получив упомянутые распоряжения по методу испорченного телефона, я выскакиваю в район, где теоретически шляются «юнкерсы», в полумиле или в ярде от «спитфайра» — радарные маркеры совпали — и ни черта не вижу.

Вдруг что-то сверкает прямо и левее по курсу. Чуть наклоняю крыло… Есть! Коршуны бросились на Лондон. В небо бьют прожекторы, на земле взвиваются слепяще-яркие всполохи от взрывов авиабомб, а вверху, на фоне беззвездной черноты, брызжут вспышки снарядов. Надо отдать должное лондонским зенитчикам, в ту ночь они навесили на «юнкерс» чудесный маяк — пламя из правого двигателя. Пока мои пулеметы испортили второй, живучий гад отмахал от Лондона мили на четыре. В темноте хорошо видно, как пули, попавшие на обшивку под очень острым углом, не пробивают ее, а соскальзывают в рикошете, высекая из бомбардировщика веселые искры.

Разыскивая во тьме посадочные огни Тангмера, я невольно представил подземелье нашего командования сектора, как его описала Мардж.

— Бомбардировщики разрушают Лондон!

С кушетки:

— Да, Дэвид. Это возмутительно. У нас есть свежий выпуск «Таймс»?

— Сэр, пилот «Лях» из 129-го сквадрона Тангмера атакует бомбардировщика.

Чуть позже:

— Он докладывает, что сбил «Юнкерс-88» в четырех милях к востоку от Лондона, сэр!

— О’кей, Дэвид. Будьте любезны, пришлите мне чаю.

К концу осени погода портится. Гунны практически не тревожат Лондон. Чтоб не простаивать, истребителям Тангмера, наконец, разрешают в поисках целей пересекать пролив.

Мы назначаем свидание девушкам на вечер после рейда, хорохоримся. А здравый смысл удивлялся — как можно так вести себя? «Хор красоток» к вечеру в полном составе отправится в паб на окраине Тангмера, в их числе — Мардж. Может, некоторые съездят в Чичестер. Они точно знают, что проведут ночь на чистых простынях, будут живы и на следующее утро, проглотят сэндвич и кофе на завтрак… А кто-то из парней, назначивших им рандеву и беспечно развалившихся в креслах в ожидании команды на вылет, встретит грядущий день на глубине тысячи футов в водах Канала, огласив напоследок эфир прощальными проклятиями.

Что характерно, Мардж, наравне с другими хористками слушая летчицкую ругань, ни разу не возмутилась, хотя я тоже, наверно, срываюсь. Тем более Рик, который никогда и ни в чем не попрекает, готовый простить что угодно за то, что хозяин вернулся целым!

В декабре перед вылетом он особенно прилипчив. Разогнавшись на заиндевевшем бетоне, мой пес пытается запрыгнуть на крыло, смешно скользит лапами по закрылку и обшивке фюзеляжа, не желая отпускать… Сердце сжимается от скверного предчувствия — у собак интуиция не чета нашей.

На какой-то миг шевельнулась мысль взять его с собой, пропихнув через лючок радиостанции под гаргрот, позади пилотского кресла. Глупости! Там его может убить шальной осколок от зенитного разрыва — никогда себе не прощу. Это не собачья война, мой друг не должен рисковать зря.

Его предчувствие не оправдывается в полете. Немецкий бомбардировщик взрывается, осыпав меня обломками и перепачкав каким-то мусором. Я заруливаю на стоянку в полной темноте, надеясь вставить Рику пыжа за ложную тревогу. Но привычный собачий лай не оглашает аэродром, а Митч виновато отводит глаза.

— Что?!

— Полчаса назад попал под грузовик…

— Где попал?! Где собака, черт бы тебя побрал?

Техник, на голову выше меня, болтается в моих руках, как тряпичная кукла, не пытаясь оправдываться или защищаться. Его обязанность — приглядывать за рыжим в отсутствие хозяина, но Рика никогда не сажали на поводок. Он, как и другие псы, терпеливо ждал у диспетчерской.

— Где тело?

— Я прикопал его, сэр. Простите, не буду говорить — где. Весьма сожалею.

Четвероногие живут меньше людей, двенадцать-пятнадцать лет. Рику едва год исполнился! Взял бы его, в очередной раз забив на инструкции, — мой золотой комок счастья остался бы жив…

Он — не только последний член семьи. Он был еще и единственным другом, который не предал бы меня ни за что и ни при каких обстоятельствах.

На самом деле его погубила не халатность Митча, а война. С чего бы в мирное время разъезжали грузовики со светомаскировочными масками на фарах, из-за которых в вечерних сумерках можно запросто не увидеть крупную собаку на дороге…

Утром на Тангмер опускается обычная в это время года туманная муть. Я украдкой обследую подъездную дорогу. Что хочу там увидеть — кровь, шерсть или нечто другое, для меня самого загадка. Естественно, кроме луж, ничего не осталось. А Митч, по-прежнему пряча глаза, подзывает на стоянку. На бронестекле и капоте «спитфайра» — подсохшие бордовые пятна. Механик тычет в одно из них мокрым пальцем, показывает красное. Наверняка человеческая, а не собачья кровь. Получается, я уже отомстил за тебя, Рик.

А за родителей и Марту — еще нет.

Но когда-нибудь увижу Берлин под крылом. В пожарах и руинах, как Ковентри, — чтоб не осталось ничего живого, ничего целого. Только пепел.

Вот тогда мы будем в расчете.

* * *

*Выражаю благодарность британским коллегам-писателям, чьи произведения помогли воссоздать будни RAF времен Второй мировой войны:*

*П. Брикхилл. Безногий ас. — М.: АСТ, 2002.*

*Дж. Джонсон. Лучший английский ас. Летчики Его Величества. — М.: АСТ, 2002.*

*Дж. Брехэм. Быстрый взлет. — М.: Центрполиграф, 2005.*

## Увлечение доктора Арендта

Удивительный, полный открытий и изобретений девятнадцатый век заканчивался. Казалось, человеку под силу все, о чем недавно не смели и мечтать. Небо приковывало к себе взоры и чаяния, маня и дразнясь. Надутые водородом или горячим газом нелепые пузыри оторвали воздухоплавателей от земной тверди, но не смогли подарить чувства свободного полета. Тысячи людей ломали головы в переносном смысле и ноги в прямом, пытаясь хоть на несколько секунд преодолеть оковы земного тяготения и ощутить себя равными птицам.

Весной 1889 года русский воздухоплаватель и меценат Петр Лукич Привалов по совету контр-адмирала Александра Федоровича Можайского приехал в Крым. Земский врач Николай Андреевич Арендт встретил Привалова в Симферополе.

После скромного питерского жилища отставного контр-адмирала Привалов не удивился столь же непритязательным бытовым условиям первого крымского планериста. Домик в окрестностях Ялты служил красноречивым свидетельством общности судьбы российских изобретателей. Что моряк, что врач — итог один. Затратное увлечение полетами неизбежно сказывается на материальном достатке.

В качестве врача Николай Андреевич оказался вырван из жизни минимум на сутки. Они обсуждали с гостем многочисленные прожекты, имевшие отношение к аппаратам тяжелее воздуха. Как и ожидал Привалов, крымский планерист далеко ушел вперед со времен публикации «Об одном нормальном аэроплане», но перестал сообщать о своих достижениях воздухоплавательной общественности. Его суждения теперь не были столь категоричны, как ранее, но он по-прежнему оставался приверженцем безмоторного полета.

— Петр Лукич, ни вам и никому другому не понять меня, пока не попробовали летать в Крыму.

— Что же здесь особенного? Нет, конечно, очень красиво — горы, море.

— Э-э, молодой человек, я вам не выдал самую главную тайну Крыма.

— Весь внимание.

— Не торопитесь. Если не жаль потратить дня три-четыре и шесть рублей, я покажу вам нечто, коему нет ничего подобного в мире.

На следующее утро арендованный баркас с молчаливым татарином, капитаном и командой в одном лице, принял на борт Привалова, Арендта, ящик с фотоаппаратом «Кодак» и большой сверток, замотанный мешковиной. Утлое рыбацкое суденышко украсилось латаным-перелатаным косым парусом и лениво двинулось на северо-восток вдоль крымского берега.

К вечеру татарский Колумб высадил путников в небольшом заливчике, который с трех сторон опоясывали невысокие горы. Авиаторы подхватили сверток, весивший без малого два пуда, и, спотыкаясь на гальке, отправились в глинобитную хижину неподалеку от полосы прибоя. В пределах прямой видимости манили к себе приличествующие статусу и состоянию гостя комфортные дачи, но Арендт, привыкший к скромности, решительно толкнул калитку в ветхом заборе.

Первую ночь в Коктебеле они провели у знакомых земского врача. Петр до утра не мог толком уснуть, поминутно просыпаясь из-за вездесущих насекомых. В шесть его уже поднял переполненный энергией планерист, изъял гривенник на нужды экспедиции, отошедший паре дюжих болгар-носильщиков, и четверка мужчин совершила короткое восхождение на гору Узун-Сырт.

На вершине любой горы красиво. Даже столь низкой, окруженной самым обычным пейзажем, без скал, утесов, ущелий, водопадов и прочих горских живописностей. Снизу со стороны моря дул непрекращающийся влажный ветер, быстро выстудивший остатки тепла из-под одежды.

Арендт пришел в неистовое возбуждение и подбросил свой картуз, поднятый ветром на приличную высоту. Опомнившись, сбегал за ним, а болгарам наказал явиться завтра к вечеру.

— Николай Андреевич, вы рассчитываете провести здесь время до следующего вечера?

— Будьте покойны, Петр, вы даже не заметите, как пролетят полтора дня. О продуктах не извольте волноваться, я подсуетился.

Что уж беспокоиться о том, чего нет. Тощий сидор ни по размерам, ни по общему виду не напоминал филиал продовольственного магазина. Наверное, в этом был скрытый смысл — голодное тело легче взлетает.

Между тем эскулап извлек из мешковины несколько длинных деревянных брусков, сверток плотной ткани, моток троса, нехитрый набор инструментов и начал упорно складывать непонятную до поры конструкцию.

— Помочь?

— Спасибо, справлюсь. Не впервой. Поможете только полотно натянуть. А пока любуйтесь видами и аппарат изучайте.

После того как крыло, обтянутое тканью, приняло форму, заданную каркасом и множеством растяжек, Петра настигло легкое чувство дежа-вю. Крымский планер неуловимо напомнил снаряд Можайского. То же хвостовое оперение из вертикальных и горизонтальных элементов, вертикальная мачта с набором тросиков, натягивающих крыло. Хотя отличий, пожалуй, больше. Несущие плоскости не квадратной, как в адмиральском изделии, а птичьей формы, сильно загнутые кверху, подошли бы чайке-переростку. Шасси, мотора и лодки не было в помине. Вместо пилотского кресла в середине крыла болталась ременная сбруя на двух пилонах, чуть впереди Привалов рассмотрел крепкий поперечный рычаг.

— Вот, Петр Лукич. Первый в мире устойчиво летающий планер и уникальное место, где морские ветры, разгоняясь вверх по склону горы, всегда создают восходящий поток.

— Потрясающе! Почему же вы, Николай Андреевич, не опубликовали ничего про свои достижения?

— Зачем? Ладно, позже обсудим. Оставьте пока камеру, пробный полет после перерыва не обещает быть красивым. Спускайтесь вниз, подсобите потом. В одиночку на гору его тащить зело затруднительно.

Петр помчался в сторону моря, остановившись в полусотне шагов от Арендта. Пилот меж тем перехватил аппарат за поперечную балку и приподнял. Бриз надул матерчатые крылья, и Николай не без труда удержал рвущийся к облакам снаряд. Затем планерист с усилием пробежал несколько шагов навстречу ветру. Конструкция рванулась вверх, он подтянулся и обхватил рычаг, опустил нос, заставив аппарат скользнуть вдоль склона, стремительно набирая скорость. Петр в испуге грохнулся ниц, опасаясь, что планер врежется в него на полном ходу. Но авиатор толкнул рычаг от себя, взмыл над питерским гостем, набрал высоту метров пятнадцать и плавно снизился к подбрюшию горы, умело спружинив ногами при приземлении. Привалов взял себя в руки, ругнулся, что пропустил часть полета, и потопал к Арендту.

— Петр Лукич, вы недисциплинированны для воздухоплавания. Я вам ясно сказал — идите вниз. А вы отошли саженей на тридцать и стали поперек взлета.

— Но простите, доктор, кто ж знал? Никто в мире не умеет летать так далеко, как вы.

— Чепуха. Сейчас вернемся к вершине, и я покажу полет на дальность. То была лишь разминка.

Пока солнце не склонилось к горам на западе, Привалов истратил все фотопластинки. Действительно, здесь было что снимать. Арендт удерживался в воздухе больше минуты, выписывал круги, ловил восходящие потоки и уносился на сотни метров от точки старта. Не исключено, он бы и ночью летал, но его остудила боль в подвернутой лодыжке.

Сидя у костра в неглубокой ложбине, планерист рассказывал питерскому гостю подробности.

— Казна мне отказала в запрошенных двух тысячах рублей, и я начал мастерить аппараты из подручных материалов. «Орел» — третий и последний мой планер. Лучше для балансирного полета все равно ничего не сделаю. А построить настоящую машину, с управляемой подъемной силой крыла и хвостового оперения, я без привлеченных средств не мог. Теперь и с чужими деньгами вряд ли осилил бы — возраст не тот. И славы мне не нужно. Живу тихо, людей лечу. Раз-два в год наведываюсь в Коктебель душу отвести, мне достаточно.

— Чертежик презентуете?

— Помилуйте, нет у меня никаких чертежей. Были, конечно, когда начинал. Но потом столько переделывал, что проще наново обмерить.

Арендт подбросил хвороста в огонь.

— Завтра пробуете сами. Запомните правило — в полете гораздо важнее скорость, нежели высота. Как только скорость теряешь, падает подъемная сила. Если ты у самой земли тянулся и вдруг скорость потерял, без затей на ноги станешь. А коли такое на высоте стрясется — быть беде. «Орел» падает на крыло, и никакой силой его не выправишь. Мне эта наука трех переломов стоила.

Петр торопливо черкал в записной книжке, будто в воздухе смог бы свериться с заметками.

— По первости летите вдоль земли, не выше четырех аршин. Давно заметил — у самой травы аппарат лучше держится, даже при потере скорости, и управляется легче. Вверх не уходите, даже оседлав восходящий поток, — новичку наверху верная смерть.

Когда продрогший ученик наутро с трудом выкарабкался из мешковины, расправляя негнущиеся конечности, доктор продолжил учебу.

— На большой скорости не садитесь. Чрезмерная скорость — тоже враг. Чуть не рассчитал — размажет по земле, даже я вас не соберу.

— А если надавить рычаг вперед и затормозить резко увеличившимся углом атаки? Как птицы делают.

— Не надо. Вас сначала приподнимет аршин на семь, оттуда и грохнетесь. Перед вами длинный пологий склон. Дальше Черного моря не унесетесь. Ждите, пока скорость не спадет сама.

— А виражи — можно?

— Пока нет. В вираже запросто упасть на крыло. Поворачивайте по чуть-чуть. Накреняете машину и помалу рычаг от себя. Но для начала лучше по прямой.

Сутулая спина Арендта удалялась и превращалась в едва заметный ориентир на фоне камней и травы. «Неужто он думает, что я первый же раз преодолею столько», — нервничал Привалов, упираясь в землю хвостовым опере-

нием и с трудом удерживая «Орла» на месте. Щуплый пилот килограммов на десять легче хозяина планера, наглый ветер уже подметил эту разницу, гудит в растяжках, треплет крыло, забирается под суконную куртку. И без холодных воздушных струй неофит авиации ощутил, как у него внутри все замерзает. Предвкушение полета постепенно перемешалось с ледяным ужасом от осознания, что сейчас предстоит.

Из глубины воспоминаний выплыл такой же весенний день его раннего детства, когда он, захотев доказать старшему брату, что не проигрывает в мужестве и решительности, вылез из окна шестого этажа и отправился к балкону, ступая по карнизу шириной в локоть. Непослушные глаза против воли косили вниз, где гремела по рельсам конка, стучали колеса по мостовой, извозчики переругивались с дворниками — шумела обычная питерская суета. Он шел над ней, сжимаясь от мысли, что край карниза — это и край его жизни, упав за который, он разобьется насмерть, ударившись о камни среди мирного городского пейзажа.

Арендт, различимый на самом пределе видимости, призывно махнул рукой. Привалов стоял на месте, балансируя вырывающимся крылом. Внезапно он понял — простояв еще секунду или две, уже никогда не решится, о чем пожалеет. Зажмурившись, он подтянул рычаг и побежал вниз навстречу тугим струям воздуха и собственному страху. Ощутив, что ноги теряют почву, чуть отдал ручку вперед и осторожно открыл глаза.

«Орел» скользил вдоль поверхности, быстро набирая скорость. Ветер бил по лицу ожесточеннее с каждой секундой. Усвоив от наставника, что избыточная скорость иногда может быть страшнее, чем высота, Петя задрал нос планера, наращивая угол атаки. Рост скорости замедлился, зато земля провалилась вниз.

Под ногами бездна, падение — смерть. Казалось, душа скатилась вниз, в мошонку, сжалась в горошину и затаилась. Горло перехватило так, что заполнивший тело ужас не мог вырваться наружу облегчающим криком.

Надвигалось подножие горы. Петр заметил, что скорость начала уменьшаться. Чувства могли подвести от волнения, а никаких приборов, позволяющих объективно оценить скорость, высоту и угол к горизонту, на аппарате не было и в помине. Начинающий планерист опустил нос машины и повел ее ближе к поверхности.

Склон заканчивался, под ногами показалась относительно ровная земля. Ощущение того, что «Орел» слушается команд и уверенно идет к месту посадки, неожиданно доставило острое наслаждение, тесно переплетенное с ужасом высоты, который никуда не делся. На короткое мгновение пришло невероятное чувство, что деревянные крылья — продолжение собственного организма, его ничто не связывает с планетой, он летит и свободен, как птица. Полет вошел в каждую жилку, каждую клеточку тела.

Наконец аппарат снизился и совсем потерял скорость. У самой земли планерист резко отпихнул рукоять. «Орел» задрал нос, заполоскал обшивкой и свалился вниз. Привалов, наблюдавший за посадками крымчанина, попытался таким же образом мягко спружинить ногами, но ощутил сокрушительный удар о землю, напрочь выбивший дух, а сверху по голове приложила поперечина. Когда из глаз перестали сыпаться искры, содержимое живота начало принимать исходное положение, а подбежавший Арендт стал отстегивать сбрую подвеса и ругать за чрезмерную высоту подъема, Петр выдавил из себя лишь одно короткое слово: «Еще!»

Они затащили планер на вершину и успели сделать по одному полету каждый, когда питерец не справился с очередным порывом ветра, перетянул нос вверх и тяжело рухнул саженей с трех. К счастью, сам отделался вывихом лодыжки и ушибами. Доктор вправил ему ногу, затем осмотрел крыло и горестно качнул головой — на сегодня старты закончены. Петр сразу же вручил Арендту десятку, перекрыв себестоимость ремонта минимум вдвое, после чего они разобрали аппарат и принялись ожидать носильщиков.

По дороге в Коктебель Привалов хромал, чихал, поглаживал синяки и непрестанно тер красные, как у кролика, глаза — встречный ветер высушил и изрядно расцарапал их мелкими песчинками. Это — чепуха. Он был невероятно, жутко и безмерно счастлив. Ни секс, ни опиум, ни другие испытанные ранее наслаждения не шли ни в какое сравнение с Полетом. Он становился наркоманом неба.

Боже мой, думал Привалов. В России столько самородков. Николай Арендт опередил весь мир, экспериментально добившись уникальной аэродинамики планера. Александр Можайский разработал общую конструкцию аэроплана и паровой двигатель, опередивший по соотношению массы и мощности бензиновые моторы европейских изобретателей лет на пятнадцать-двадцать. Огнеслав Костович сконструировал первый в мире восьмицилиндровый двигатель внутреннего сгорания с четырехтактным газораспределением и электрическим зажиганием. Свести вместе этих замечательных людей, и первый в мире моторный аппарат тяжелее воздуха взлетит именно у нас!

Но жизнь распорядилась иначе.

Можайский оставался глух к любой критике своего детища, вобравшего множество конструктивных ошибок, очевидных еще в 80-х годах XIX века. Остаток жизни великий изобретатель посвятил выколачиванию казенных средств на доводку заведомо обреченной на провал конструкции. Он умер в нужде и безысходности.

Потом ушел Арендт, так и не опубликовавший свои достижения. Костович бросил воздухоплавание, увлекся производством фанеры и морскими проектами. Он построил первый самолет собственной конструкции перед Мировой войной, когда небо России бороздили французские аэропланы. Империя, где были изобретены водка, радио и русское «авось», упустила шанс стать родиной авиации.

## Личная война Александра Прокофьева-Северского

— …Лично ходатайствую о чрезвычайном исключении! — закончил пламенную речь великий князь. Убедившись, что генерал Алексеев с императорской свитой удалились на приличествующее расстояние, Александр Михайлович добавил тише и по-семейному: — Ники, подобные Прокофьеву офицеры для нас воистину на вес золота.

Государь чуть наклонил голову вперед. Это могло означать и согласие, и упорный мыслительный процесс, и недовольство, что в трудную пору его отвлекают из-за какого-то шалопая-мичмана, дерзнувшего нарушить флотский устав.

Летний сад, где прогуливались августейшие родственники, постепенно поддался наступлению весны, тревожной весны 1916 года, когда солнечные дни приближали отнюдь не близость морских вояжей на императорской яхте, благоухание цветов, появление на аллеях множества прекрасных дам, непре-

менно под зонтиками и в легких воздушных платьях… Просохнут дороги, по ним двинутся войска. Поэтому Николай в своей простой шинели выглядел совершенно не празднично, не вел под руку Александру Федоровну, не перебрасывался шутками с детьми.

— На вес золота? Однако вес его невелик, коль на одну ногу меньше.

Действительно, Александр Николаевич Прокофьев-Северский потерял ногу в боевом вылете. Лео Блинов, второй член экипажа, случайно уронил снаряженную бомбу на дно кабины и был буквально разорван на куски. Пилот не погиб лишь каким-то чудом. Его, раненого и лишившегося чувств, подобрал из воды русский катер. Другим чудом стало возвращение безногого инвалида на флот, где он потребовал допуска к летной службе. Устав от отказов, мичман самовольно совершил вылет на гидроплане. Фактически угнал аппарат!

— Эти летуны милостью Божиею удивительно редко встречаются в природе, — продолжал гнуть свою линию Александр Михайлович, от императорской семьи курировавший авиаторов, и невольно повторил слова Александра Куприна, самого модного сочинителя в обществе воздухоплавателей.

— Изволь. Под твою ответственность. И распорядись — пусть бумагу на подпись передадут непременно сегодня.

Обязательно сегодня. В любой момент присутствие Государя потребуется в ставке в Барановичах, где великий князь Николай Николаевич пребывает в явном замешательстве, или увлекут другие державные хлопоты, и воздушный хулиган Александр Прокофьев получит по заслугам. Пусть не по справедливости, но по закону.

Вечером того же дня одноногий офицер вышел из-под ареста. Телеграмма из Петрограда о высочайшем помиловании вызвала новый поворот в его судьбе, предоставив массу увлекательных возможностей поиграть в салки со смертью.

Он не только не понес наказания, но и был допущен к полетам. И убедился, насколько изменилось небо войны за время его отсутствия.

В четырнадцатом летали без пулеметов, самые нетерпеливые летчики палили по немцам из маузеров. В пятнадцатом, расстреляв ленту, покачивали крыльями: патроны кончились, и благородные противники разлетались каждый в свою сторону. Пытаться снизить безоружный вражеский аэроплан считалось недостойным офицерской чести.

Расшаркивания закончились.

Подходил к исходу второй год войны, ей не было видно конца и края. Потери с обеих сторон немыслимые, небывалые. Германцы первыми на русском фронте применили отравляющие газы. В воздухе воцарились законы джунглей.

Прокофьев-Северский без жалости расстрелял подбитый «Альбатрос» с крестами, пилот которого тщился перетянуть к своим и там произвести спуск, после того как германские летчики на глазах мичмана буквально разорвали в клочки «моран», продолжая поливать его свинцом до самой земли. Но самый опасный враг Империи оказался внутри нее. Он завелся в державе, как червяк в недрах румяного яблока.

К осени 1917 года императорские армия и флот превратились в жалкое подобие вооруженных сил. От полного разгрома их спасали ожесточенные бои на западном фронте Европы, отчего кайзер был лишен возможности перебросить на восток десяток дивизий и победным маршем вступить в Петроград. В каждой русской части присутствовали комиссары Временного

правительства, большевики собирали советы солдатских и матросских депутатов, часами обсуждая, выполнять или не выполнять очередные распоряжения командования.

Даже не двоевластие — троевластие. Без дисциплины это уже не флот, не армия, а просто вооруженный сброд.

Прокофьев-Северский быстро вырос в чине, грудь украсили кресты. Но может ли военный быть счастлив в армии, разваливающейся на глазах?

Именно в такой обстановке началось немецкое наступление в Моозунде. К чести авиаторов, в летных отрядах подобие субординации сохранялось дольше, чем во флотских экипажах, все более поддающихся анархической заразе.

18 октября с тревожным сообщением о высадке германцев на остров Моон в казарму примчался вестовой. Прокофьеву-Северскому приказывалось срочно вылететь на разведку. Командование желало знать, как выглядит катастрофа с высоты птичьего полета.

Он пристегнул протез на культю. Не без труда забрался в кабину гидроплана.

За два года после ранения летчик поддерживал тело в бодром состоянии куда усерднее, нежели большинство сослуживцев. Но все равно оставался инвалидом. И только взявшись за рукоятку управления, чувствовал себя полноценным воином. Деревянная конечность не помешала стать одним из лучших авиаторов флота.

Механик взялся за лопасть пропеллера.

— Контакт!

— Есть контакт.

Рука энергично повернула маховик магнето.

— От винта!

Обычный боевой вылет из сотен подобных. В кабине кроме летчика его талисман — тряпичная обезьянка, подарок младшей сестры.

Мотор подхватил, плюнул соляровым маслом и несгоревшим топливом. Эти запахи перебили вкус моря, по обе стороны фюзеляжа потянулся сизый дым выхлопа, уносимый к хвосту потоком ветра от пропеллера. Дрожь передалась через ручку, через педали, ее почувствовала даже деревянная нога… И пятая точка, под которой нет парашюта.

Шелковые купола лично запретил Александр Михайлович, подозревавший летчиков в трусости и в поспешных решениях прыгать. В Российской республике великий князь никакой власти не имел, благо не арестован, как Император с супругой, но парашютов не появилось. Как и запасных моторов, свечей, тросов — авиаторы летали на честном слове, на латаных-перелатаных аппаратах. Чаще — в одиночку, в отличие от германцев, нападавших парами, четверками и даже большими группами.

Дрожание корпуса сменилось частыми ударами по воде, тут же пропавшими. В облаке брызг, взвыв натруженным двигателем, гидроплан конструкции Григоровича взмыл в небо над Балтикой. В расчалках бипланной коробки засвистел ветер. А вскоре добавился еще один, весьма неприятный звук — треск пулеметной очереди, зацепившей крыло машины.

Прокофьев отвернул, заложив крутой вираж. В смертельном вальсе на горизонталях пилоты видят друг друга настолько близко, что лейтенант разглядел торжествующую улыбку германца: его «альбатрос» проворнее. Через три или четыре витка он вывернул в хвост русского аэроплана, пытающегося вырваться из прицела.

Но выстрелов не последовало. В очередном вираже Прокофьев сумел рассмотреть, как немец вытянул кулак и сильно ударил по пулемету. Заело! Словно ангел-хранитель летел на крыле гидроплана и подарил русскому драгоценные секунды. Пока враг сражался с собственным оружием, военлет выскочил ему в хвост и полоснул в упор, с каких-то метров тридцати. Потом добавил, когда дымящийся аэроплан полого потянул на юго-запад.

Нервное возбуждение от пережитого сыграло скверную службу на обратном пути. Из облаков вынырнул немецкий «цеппелин». Можно прозевать пикирующий на тебя аэроплан, но не заметить огромную надувную сигару — позорно. В перкалевой обшивке появились новые пулевые отверстия. Горячий шмель ужалил в руку. До базы машина едва дотянула, простудно кашляя двигателем и оставляя длинный темный шлейф.

После Моозунда, где русские не смогли удержать острова Эстляндии, произошло новое, самое страшное поражение — октябрьский переворот. К заключению позорного Брестского мира Прокофьев-Северский уехал в Северо-Американские Соединенные Штаты, благодаря этому избежал печальной судьбы многих офицеров. Красные не знали пощады, инвалидность летчика их бы не остановила… Но они были для Прокофьева-Северского негодяями собственного, внутреннего розлива. Тысячи и десятки тысяч российских дворян отказались участвовать в Гражданской войне, ведь оставался главный, исконный враг, чье нападение повлекло цепочку трагических событий.

Возможно, германцы считали, что Мировая война для них закончилась. Почетный Брестский мир и унизительный в Компьенском лесу они подписали с большевиками и с Антантой. Но никакого перемирия не заключалось с Русской Императорской Армией. Она прекратила существование как единая сила, зато остались офицеры, неспособные простить надругательство над Родиной. Сбрасывать их со счетов было в высшей степени самонадеянно.

Прокофьев основал компанию «Северский Эйркрафт Корпорейшн». Он проектировал и облетывал боевые машины. Редко кто тогда в Соединенных Штатах осознавал, что живет не в послевоенное, а предвоенное время. Для многих выходцев из России прошлая война не заканчивалась.

Вместе с другим уроженцем Империи — грузином Александром Картвели — Прокофьев создал истребитель Р-35, принятый на вооружение армии. Свою длинную двойную фамилию, непроизносимую большинством автохтонов, русский летчик сократил до слова «Северский».

Весной 1939 года он, находясь в Европе, получил нож в спину — в отсутствие босса совет директоров компании снял Северского с руководящего поста, переименовал корпорацию в «Рипаблик». Оставшийся у основателя миноритарный пакет акций не позволил влиять на решения.

Северский покинул компанию окончательно и в самых расстроенных чувствах. Мало кто верил, что уже к осени начнется большая война, русский офицер был в этом убежден и даже называл точный срок: сентябрь. Снова битва с Германией, а он вне авиации…

Первый удар Люфтваффе выдержали англичане. В Королевских ВВС сражался русский дворянин Эммануил Голицын, самым результативным истребителем в битве за Британию показал себя Даглас Бадер с металлическими протезами ниже колена. Но Александру Северскому к ним присоединиться не позволил возраст.

Фирма «Рипаблик» к 1943 году на базе машины Р-35 конструкции Северского создала тяжелый истребитель сопровождения дальних бомбардировщи-

ков. Александр Николаевич ощущал себя отцом, у которого отобрали любимое дитя и растят по-своему, в приемной семье.

P-47 «Тандерболт» продемонстрировали Франклину Рузвельту. Северский сумел проникнуть на показ, где встретил Картвели, бывшего компаньона и бывшего друга. Тот отвернулся, не зная, что сказать.

«тандерболт» стал самым удачным и самым массовым американским истребителем войны, которую западные союзники именовали Второй мировой, Иосиф Сталин назвал Великой Отечественной, а для Северского продолжалась та самая, не окончившаяся в 1918 году.

Он сохранил строевую осанку и благородную внешность дворянина в бессчетном поколении. Его аристократически удлиненное лицо с вытянутым носом и грустными темными глазами стало часто мелькать на афишах кинотеатров. Чтобы приблизить победу над Германией, русский летчик начал сотрудничать с фирмой Уолта Диснея и в компании Микки-Мауса объяснял согражданам с экрана, почему нужно помочь европейцам в уничтожении нацизма.

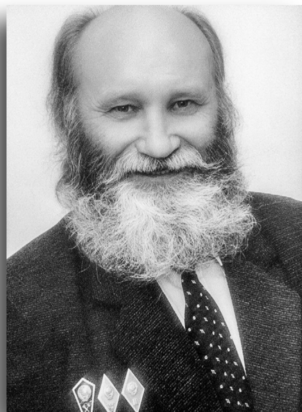
В это время в Европе разгорелась невероятная по ожесточенности воздушная война. Наземные армии Рейха и Советского Союза перемалывали друг друга на востоке, а над Германией гремела битва между бомбардировочными армадами и истребителями ПВО. Налеты «тысячников», массированных групп «суперкрепостей» и «ланкастеров», были возможны только с истребительным прикрытием. С сорок третьего над Германией висели тучи «тандерболтов», американских машин с русско-грузинской душой.

Уничтожение городов — варварство? Гражданского населения, женщин, стариков, молодежи, даже детей… Западные союзники рассуждали прагматично: эта молодежь не достигнет призывного возраста, не запишется в фольксштурм. Зрелые люди не придут к заводским станкам, к тому же упрятанным глубоко под землей, на поверхности предприятия превращены в руины. И солдат на фронте дрогнет, зная, что дома его никто не ждет: вся семья разорвана в клочья американской бомбой.

Против варваров — варварские средства войны.

Это им не только за Сталинград, Гернику или Ковентри. Но и за Осовец, где шли в атаку практически уже мертвые солдаты Русской Императорской Армии, отравленные германскими газами. За все германские преступления на российской земле. Для Александра Прокофьева-Северского и многих других дворян та война, разгоревшаяся летом четырнадцатого, закончилась лишь в Берлине сорок пятого.







Геннадий ПИЧУГИН

# *Ждал я желанных встреч*

## Где выход?

С людьми угрюм и нелюдим,
Нет, я — не богатырь былинный,
Душевною тоской томим,
Брожу по улицам пустынным.

Мне в жизни не найти всего
И не увидеть — даже трети.
Зачем выдумывать того,
Кого не может быть на свете?..

Ничто на ум мне не идет,
Никто хорошего не скажет.
Тоска мучительно гнетет,
Воспоминанье будоражит...

Устал я, от всего устал.
Боюсь, исполнить не успею...
Себя чуть было не загнал,
Ведь отдыхать я не умею.

Не потерять бы мне лица,
Не испытать бы униженья,
Узнать мне надо до конца
Все предрассудки и сомненья.

Хоть волком вой, но не молчи,
Коль на земле жить жребий выпал.
Хоть с первым петухом кричи,
Но должен быть твой найден выход!

* * *

***Жене С. И. Пичугиной***

В сердце надежду храня,
Я видел тебя и во сне.
Любила ли ты меня?
Думала ли обо мне?..

Ждал я желанных встреч,
В сердце любовь жила.
Чувство я смог сберечь.
И вот ты в мой дом вошла...

Словно от солнца вдруг
Весь засиял наш дом.
Ты — мой бесценный друг.
Счастье, что мы вдвоем!

* * *

Не я ли, однажды признался,
Не я ли тебя целовал.
Не я ли обидеть боялся,
Капризам твоим угождал.

Не я ли душой окрыленной
Так нежно тебя воспевал.
Не я ли, впервые влюбленный,
К любому тебя ревновал.

Не я ли томился ночами,
Не я ли покорно любил.
Не я ли своими руками
Бездушно любовь погубил…







Анатоль СЫС

# Шрифтом Брайля…

* * *

Мой род писал свои скрижали плугом.
И, строки выводя судьбы земной,
Каурый конь ходил извечным кругом
Под Князем-Солнцем и Луной-Княжной.
На мокрой гриве вороны дремали,
Закаты выспевали на крови,
И волколаки голос подавали,
Чтоб борозду каурый конь скривил.

За засухами следовали грозы,
И хаты плыли, словно корабли,
Тогда олени, журавли и сосны
К болотным островам мой род вели.
Потоп спадал, и ветер, как пергамент,
Сушил поля и двигал ветряки,
И птичий клин, паря под облаками,
Искал на пашне новые круги.

* * *

Шрифтом Брайля белый стих по снегу
Птицы людям пишут.
А читаю — что калека, —
Свои руны мне не вышить.

Уши глохнут.
Очи слепнут.
Птиц догнать не поспеваю.
Так и сгину серым пеплом,
Снегом мартовским растаю.
А умру —
Поэта ждите,
Что сумеет птиц послушать.

Ох ты, век мой!
Ох ты, злыдень!
Где солома? Где подушка?
Падал с печки! Падал с неба!
Не постлал мне Бог соломы,

Поддурил горбушкой хлеба
Да борщом, от слез соленым.

Падал с неба! Падал с печки!
Бог
Пустил меня по свету,
Торбу дал,
Что горб, за плечи.
Так, с горбом, и кану в Лету,
А помру — поэта ждите…

* * *

Под березою кости,
    а в кроне скворец кличет в гости,
Мнится: сам и лежу тут,
    от шума людского вдали.
Здесь, на сельском погосте —
    ни страха, ни боли, ни злости,
Он, как роща заветная, душу покоем целит.

* * *

Треснул лед, словно лопнула жила.
Я помедлил. Вгляделся в дно —
Там течение ворошило
Кос утопленницы рядно.

И глядели мне рыбы в очи,
Как русалки, и вспомнил я,
Как короткой купальской ночью
Здесь рыдала душа моя.

* * *

Как по звездам, по росе
Твой последний путь проляжет,
Помирай, а жито сей.
Всходы о севце расскажут.

* * *

Без меня будут жать
И ронять из доспелых колосьев
Золотистые зерна
На Белую землю мою,

Птицы их подберут
Как награду за звонкие песни,
Кто в крыле, а кто в клюве
По гнездам своим разнесут.

Без меня прорастут
Меж хлебов жавороночьи гнезда,
И, по древней примете,
Их жнеи серпом обминут.

* * *

*Миколе Купрееву*

Христианское сердце Беларуси
болит
За сбоящее сердце Миколы,
Он мой гость полуночный. Намаялся, спит,
Как дитя дорогое под месяцем квелым.

Я читаю Миколе, а в голосе — дрожь:
Сам Купала его почитал самым лучшим.
Ох, Микола, Микола, а как ты помрешь —
Чью ж мой стих по ночам бередить будет душу?

## Поэт

*Олегу Бембелю*

На границе чужбины с Отчизной
По ночам ходит грустный поэт,
Что сияньем очей лучистых
Обжигает молчащий свет.

Над незримой блуждая бездной,
Как звезда меж чужих полей,
Словно ей не хватает места
И небес на земле своей.

Кто ж тебя так, поэт, отметил?
Кто заставил тебя плутать —
Бог иль демон на этом свете?
Что ты хочешь душой познать?

И за что ты бичуешь тело?
Может, хватит себя казнить?
Сядь, доверься бумаге белой
И надежду в глаза верни.

Сядь, покайся за раны тела,
Что хранит сокровенный свет.
Так неужто ж оно бы хотело,
Провести свой остаток лет
На границе чужбины с Отчизной?

…шаг еще — и границы нет…

***Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.***

# *Коротко о бельгийской фантастике*

***«…подлинная литература ужасов —***
***это отнюдь не рассказы о привидениях;***
***любое привидение, даже истекающее кровью***
***или усеянное червями, в конце концов,***
***может внушать вам доверие...***
***Самым ужасным, самым кошмарным я считаю***
***нашу повседневную жизнь...»***

Жак СТЕРНБЕРГ

*Мы плохо знаем литературу Бельгии; эта небольшая страна с момента своего появления на карте мира постоянно находилась в тени своего великого соседа и была, к тому же, страной двуязычной (или даже трехъязычной, если добавить к двум государственным языкам — нидерландскому и французскому — довольно широко распространенный немецкий); в связи с чем доступными для иностранного читателя оставались преимущественно тексты, или сразу написанные на французском, или переведенные на французский с нидерландского.*

*Если не считать такого классика, как Шарль де Костер с его великим романом «Легенда об Уленшпигеле», то мы сможем вспомнить только нескольких авторов (к тому же, или сразу писавших на французском, или, опять же, ставших известными для нас в переводах на французский с нидерландского). Как ни печально, но авторы, писавшие на нидерландском, всегда оставались, да и сейчас обычно остаются для нас недоступными…*

*Не отклоняясь далеко от темы, упомянем всемирно известных бельгийских поэтов, в первую очередь, нобелевского лауреата Мориса Метерлинка и Эмиля Верхарна, а также прозаиков Маргерит Юрсенар и Амели Нотомб (русскоязычный читатель сегодня может ознакомиться практически со всем, что было написано двумя последними авторами). Точно так же мы имели возможность прочитать многое, созданное классиком франкоязычной фантастики Рони-старшим и, наверное, почти все написанное мастером детективной литературы Жоржем Сименоном. Кроме детективов наш читатель мог познакомиться и с отдельными авторами весьма популярной в Бельгии так называемой «черной фантастики» или фантастики ужасов — с Мишелем де Гельдероде (в 2004 году в России издан двухтомник, в который вошли драматические произведения автора и фантастико-мистические новеллы из сборника «Колдовские истории»), Томасом Оуэном (в 2000 году вышел сборник «Дагиды» с тремя десятками новелл аналогичной тематики), и наконец, Жаком Стернбергом (подборка новелл «Жуткие истории» в журнале «Иностранная литература» № 11 за 2011 год, а также две научно-фантастические новеллы в журнале «Если»). Довольно скудный материал для того, чтобы получить хотя бы самое общее представление…*

*Картина несколько меняется, если вспомнить о таком оригинальном авторе, как* ***Жан Рэй*** *(1887—1964).*

*До последнего времени из огромного наследия, оставленного Жаном Рэем (и Джоном Фландерсом, его второй сущностью), мы могли прочесть около 50 его рассказов и два романа в нескольких сборниках; еще десятка два новелл можно было найти в периодике. Сегодня эта ситуация изменилась. Издательство «Престиж Бук» в этом году выпустило в трех томах практически все новеллы, вошедшие в главные авторские сборники Жана Рэя; более того, началось издание повестей о детективе Гарри Диксоне, при-*

*ключениям которого Жан Рэй посвятил более сотни повестей и рассказов, никогда ранее не переводившихся на русский язык.*

*Как считает известный бельгийский писатель, издатель и исследователь творчества Жана Рэя Жан-Батист Баронян, в определенном смысле бельгийская фантастика на французском языке долгое время оставалась чем-то вроде довольно мощной, но подземной реки. Именно поэтому Жан Рэй долгое время оставался непризнанным и был «открыт» только в 1961 году после появления в бельгийском издательстве «Марабу» сборника с двадцатью пятью его лучшими новеллами. Это тем более странно, поскольку Жан Рэй получил известность уже после выхода в свет его первого сборника «Рассказы о виски» (1925), четыре рассказа из которого были опубликованы в 1934 и 1935 годах в знаменитом американском журнале «Странные истории»[1] (Weird Tales), а до 1947 года вышло еще четыре его сборника и роман «Мальпертюи» (1943), оцененный критиками как одно из наиболее крупных произведений фантастического жанра в мировой литературе.*

*Но даже после того как публика познакомилась с его сборниками и романами (два из них — «Мальпертюи» и «Город Великого Страха» были экранизированы), литературные критики во Франции и Бельгии презрительно хмурились при упоминании имени Жана Рэя, заявляя, что Рэй не умел писать, что его тексты переполнены неточностями и словами фламандского происхождения, изобилуют плоским юмором…*

*Тем не менее, нельзя не признать, что Жан Рэй впервые наглядно продемонстрировал значение фантастического течения во франкоязычной бельгийской литературе.*

*Новеллы ужаса Жана Рэя имеют большое сходство с рассказами таких мистиков и символистов, как Э. По и Г. Ф. Лавкрафт, а его романы — прямые наследники готического романа эпохи расцвета английского романтизма. Правда, в отличие от Г. Ф. Лавкрафта, Жан Рэй в своих новеллах редко дает портреты представителей демонических сил — обычно они лишь присутствуют в виде зловещих теней. Атмосфера ужаса создается с помощью описания повседневных явлений и окружающих нас предметов — это может быть зеркало («Черное зеркало»), бутылки со спиртным, оказывающиеся драгоценными камнями («Шукрут»), дом-людоед («Шторхауз, или Журавлиный дом»), туча, похожая на череп («Этот идиот Дюрер»)…*

*Благодаря завоеванной Жаном Рэем известности из тени вышли Томас Оуэн, Жерар Прево, Жан Муно, Мишель Янсен (больше известный как Жак Ван Эрп), Жак Стернберг, Мишель де Гельдероде и другие бельгийские писатели, долгое время остававшиеся практически неизвестными не только русскоязычному, но и франкоязычному читателю.*

*Если Жан Рэй, писавший в период с 1925 по 1964 год, принадлежит к раннему поколению бельгийских фантастов, то Томас Оуэн и Мишель Янсен могут быть отнесены ко второму поколению, начавшему публиковаться в середине XX века и дотянувшему до начала XXI века.*

***Томас Оуэн** (1910—2002). Получив юридическое образование в 1933 году, занялся мукомольным делом и довольно скоро достиг положения генерального президента бельгийской мукомольной промышленности, оставаясь на протяжении сорока трех лет директором одной из самых известных в Бельгии мельниц, «Мельницы трех фонтанов». Увлекшись сюрреализмом, начал публиковать критические заметки в периодических изданиях «Либр Бельжик» («Свободная Бельгия») и «Эко» под псевдонимом Стефан Рэй.*

*В 1939 году был призван в армию; после капитуляции Бельгии и начавшейся вслед за этим немецкой оккупации чудом избежал депортации.*

[1] Популярный американский журнал фантастики. Основан в 1923 году как литературный журнал, целиком посвященный литературе ужасов и «странной» фантастике; просуществовал (с перерывами) до наших дней. С журналом сотрудничали Г. Ф. Лавкрафт, Р. Брэдбери, Г. Каттнер и многие другие классики американской фантастики.

*В начале 40-х годов, в период жестокой безработицы, он знакомится с С. А. Штееманом, известным бельгийским писателем, автором множества детективных романов, убедившим его попробовать себя в детективном жанре. За короткий срок (с 1941 по 1943 год) Оуэн публикует несколько романов, характеризующихся весьма ядовитым юмором и обративших на себя внимание критики.*

*Неожиданно автор детективных романов, достигший успеха, бросает хорошо освоенный и выгодный в денежном отношении жанр и обращается к фантастической литературе. В 1943 году появляется первый сборник его новелл «Странные пути». Рассказы этого специфического жанра, в котором смешиваются ужасное и иррациональное, делают его популярным у массового читателя. Его известность укрепляют очередные сборники — «Запретная книга» (1944) и «Подвал с жабами» (1945). Он знакомится с Жаном Рэем, всячески поддерживавшим молодого автора; между ними возникают дружеские отношения. Жан Рэй однажды даже сделал Оуэна героем своей новеллы («На кладбище в Бернкастеле»), а Оуэн написал о Жане Рэе несколько статей, опубликованных в журнале «Бизар» («Странное»).*

*В 1976 году Оуэна избирают Членом Королевской академии французского языка и литературы.*

*С середины 60-х годов Оуэн публикует несколько новых сборников новелл («Ночной церемониал», «Жалость к теням», «Подозрительные дома» и др.), а в 1994—1998 годах выходит полное собрание его рассказов в 4 томах.*

*Кристоф Ван де Понзееле, известный бельгийский писатель, журналист, редактор широко известного журнала фантастики «Khitaira» («Химера») и этноботаник по профессии, так пишет о творчестве Оуэна:*

*«Томас Оуэн в своих рассказах создает постоянно возрастающее и, наконец, становящееся невыносимым ощущение ужаса и тайны, в финале новеллы заканчиваются настолько неожиданно, что у читателя перехватывает дыхание.*

*Его рассказы, в которых искусно сочетаются такие плохо совместимые темы, как смерть и эротика, являются захватывающим чтением, и эффект, производимый его новеллами на читателя, не ослабевает, а обновляется с каждым новым названием».*

*Автор вводит читателя в мир ужасов, остающийся удивительно реальным; этому в значительной степени способствует тонкий юмор писателя (например, в рассказе «Маленький призрак» из сборника «Ночной церемониал»). Обычно рассказ начинается с описания реальной ситуации, с детальной характеристикой мелких подробностей. Затем читатель встречается с ненавязчиво представленными призраками, вампирами и прочей нечистью; финал новеллы нередко позволяет читателю самому домыслить развязку интриги и судьбу героев рассказа.*

*Писатель **Мишель Янсен,** более широко известный как литературный критик и издатель под своей настоящей фамилией Жак ван Эрп (1923—2004). Долгое время руководил в бельгийском издательстве «Марабу» (Marabout), основанном в 1949 году, изданием фантастики и научной фантастики. В 1976 году за издательскую деятельность он получил специальный приз Европейского общества любителей научной фантастики.*

*Жак ван Эрп известен как автор трех антологий («Фантастическая Англия», «На обратной стороне света» и «Тетради Эрне: Жан Рэй»), двух выпусков эссе «Панорама научной фантастики» (обзор фантастики, опубликованной до 1974 года и с 1974 по 1996 год). Под псевдонимом Мишель Янсен он опубликовал три романа: «Рейдеры пространства», «Море Дождей» и «Дверь под водой» (последний роман в соавторстве с Жаном Рэем).*

*Здесь мы ограничились беглой характеристикой только трех упомянутых выше авторов, с образцами творчества которых можно познакомиться в этом номере «Нёмана». Что касается других бельгийских фантастов, таких как Э. Бертин, Т. Гунциг, А. Дартевель, С. Доук, Э. Ш. Кандез, Х. Лампо и некоторые другие, то с отдельными образцами их творчества можно познакомиться в русскоязычной периодике второй половины XX века.*



Мишель ЯНСЕН

# *Оборотень*

*Рассказ*

На песчаную дорогу опускались сумерки. Живые заборы из ежевики становились все темнее. Последняя стая пернатых обитателей болот промчалась к родным камышам. Солнце садилось над ландами, уже затянутыми легкой дымкой тумана. Нечетко вырисовывающиеся в густеющем полумраке серые и розовые булыжники мостовой словно плавали над землей в вечернем воздухе.

Старинная медь бросала красные отблески на коричневое дерево стенных панелей. Такие же блики играли на золотой цепочке с подвешенными к ней тигровыми когтями и пучками волос из слоновьего хвоста, переливались на фарфоровой чашечке большой трубки.

Минхеер Бланкаерт зажег лампу, отрегулировал фитиль и уселся с удовлетворенным вздохом в большое кресло. В комнате, согретой ярко горевшим в камине углем, было очень уютно.

Стены украшали виды Эпинала, пыль была старательно удалена с лакированных и навощенных плоскостей дубовой мебели. На небольшом круглом столике мирно соседствовали написанный маслом Гарлем, молитвенник кайзера Карла и альманах Сноека в голубом переплете.

За стеклами небольших окон, обрамленных шторами в красную и белую клетку, окончательно опустилась ночь. В саду еще угадывались хризантемы и далии; за ними проглядывала шпалера грушевых деревьев; расположенные за ними саманные хижины полностью исчезли, как и нависшие над колодцем кусты бузины и торфяные ямы с темной, потяжелевшей от корки льда водой.

Над ландами пронесся с громким пронзительным воем порыв ветра. Короткий вопль закончился продолжительным зловещим потрескиванием.

Инспектор Девейль вздрогнул от неожиданности. Минхеер Бланкаерт улыбнулся.

— Не стоит оправдываться, не нужно стыдиться этого страха. Здесь все пропитано страхом… Вам будет трудно понять совершаемые здесь преступления, если вы не поймете наш край, не прочувствуете все странное и необъяснимое, что таится здесь.

Он задумчиво затянулся несколько раз, высокий упитанный блондин, уютно разместившийся в кресле.

— Какой у нас сейчас год? Нет, не говорите мне, что сейчас на дворе 1882 год… Об этом и так настойчиво твердят календари. Вы мне скажите, какой сейчас год в действительности?

Поднявшись с кресла, Бланкаерт постучал пальцем по плите над камином, на которой было выгравировано: «1637 год».

— Видите, мы все еще живем в XVII веке… Если не в Средневековье… Да, пожалуй, это все же Средневековье… Вы должны понять, что крестьяне живут здесь вне времени, отстав от остального мира века на три,

если не больше. Вот что объясняет эти убийства, этот заговор молчания, окружающего все случившееся. Такова жизнь здесь, в наших ландах.

Вы видели хижины в деревне? Они выглядят очень живописно, не так ли? Но вы заглядывали внутрь? Вы спрашивали крестьян, как им живется в этих хижинах? Люди влачат здесь жалкое существование, питаясь ржаным хлебом и похлебкой из гречки, иногда с небольшим кусочком свиного сала. Селедка на троих — это уже праздник. Они ходят босыми по земляному полу своих хижин, молчаливые, погруженные в себя, постоянно кашляющие от едкого торфяного дыма и висящих в воздухе частичек золы. Они с покорностью принимают свою судьбу, не осознавая всей глубины давно ставшей привычной бедности, но они ощущают ужас перед всем, что может хоть немного изменить привычный ход их жизни.

В особенности их гнетет ужас перед дьяволом. Дело в том, что дьявол в этих краях — не просто слово или понятие. Он действительно существует для них. Он живет здесь уже не одну сотню лет, он стал привычным элементом окружающей среды. Кто угодно может повстречаться с ним в пути. Ланды, пруды, камыши, пески, хижины — это все его владения. Все, что можно окинуть взглядом, все вокруг подвластно дьяволу, все подчиняется древним божествам зла…

Вы знаете, как здесь называют грозовые облака? Это облака, в которых скрывается молот. Пятнадцать веков назад Тор перестал быть богом, но до сих пор жива память о его молоте, молоте, ударами которого он уничтожал чудовищ и восставших гигантов.

Что касается дьявола и его владений, то для местных жителей это отнюдь не какой-то иной мир, не какая-то иная реальность. Ничего общего с абстракцией или легендой — все прочно связано с землей, все предельно конкретно. Мы, интеллигенты, можем позволить себе быть скептиками; они могут только дрожать от страха, потому что чувствовали, видели, соприкасались с носителями зла…

Взвалите на спину мешок и встаньте ночью на перекрестке двух лесных тропинок, которые вам покажет любой. В полночь, если вы позовете, вам явится злой дух.

Вы улыбаетесь. О, я прекрасно понимаю вас. Но если вы умеете слушать, вам назовут имена, перечислят даты и факты. Вы сможете составить страшный список, список мужчин, женщин, подростков, даже детей — всех, кто когда-либо продался дьяволу. Когда наступал час расплаты, ничто не могло спасти их. И кто угодно мог увидеть, как они мечутся ночью по ландам, охваченные языками дьявольского пламени.

Вам это кажется абсурдным. Когда-то я тоже думал так же, как и вы. Но прожив много лет в этом океане песка, придавленный к земле нависающим над головой серым небом, я понял все. Леса и ланды здесь полны тайн; в них множество дорог, ведущих в никуда. Пробивающихся через заросли папоротника и торфяные болота троп, по которым никто и никогда не добирался до их конца.

Взгляните на ночь. Все лето тусклые испарения, чередующиеся с блуждающими болотными огоньками, отмечают понижения рельефа, занятые трясинами. Разумеется, огоньки — это скитающиеся души проклятых. В сентябре вода заливает болота, образуя сплошное, обширное, словно море, водное пространство, по которому должны были бы сновать челноки браконьеров. Но никто не осмеливается проникнуть туда. Крестьяне только качают головами с глубокомысленным видом и рассказывают вам истории про ундину или странное существо, живущее возле мельничной запруды.

Вы сами, если останетесь здесь до поздней осени, не сможете устоять перед этими чарами, будете внезапно охвачены дрожью, леденящей сердце,

когда порывы ветра, играющего со ставнями, заставят вас поверить в рассказы о восставших из небытия, шушукающихся в темноте и бесшумным хороводом кружащихся ночь напролет вокруг дома. Предрассудок — вот самая живучая, самая характерная черта любого человека, живущего здесь. И во время ночных бдений в людях пробуждаются те же страхи, проявляются те же темные силы, что много веков, если не тысячелетий, владели его рассудком.

Кто может похвастаться, что ему известны пределы могущества человеческой мысли? Что касается меня, то я уверен: оно беспредельно. Человек сам творит свою судьбу и свое будущее. Появляются странные существа из наших снов, и мы можем вызывать их, общаться с ними… Известно, например, что когда царит засуха, индейцы племени хопи заклинают змею, рисуют на лице голубые линии, олицетворяющие дождь, и тучи разражаются дождем…

Кто может знать наверняка? Столько всего говорилось во время ночных бдений, столько страхов было связано с жизнью в ландах… Страхи укрепляли одержимость, страхи обретали материальную форму… Теперь оборотень, о котором так много говорили, так часто думали, вышел из ночной тьмы и рыщет по равнинам…

— Расскажите мне об этом оборотне.

— Но я уже все рассказал вам! Теперь вы знаете столько же, сколько и я. Да, семь жертв погибло; все они были убиты в сумерках. Тела были обнаружены с раздробленным одним ударом мощных челюстей затылком, буквально превращенным в кашу… Эти челюсти способны за один раз перекусить молодое деревце, они огромны, словно челюсти каймана…

Бланкаерт медленно затянулся, глядя на развешанную по стене блестящую медную утварь, на железные вафельницы, и добавил:

— Найдите эти челюсти, и оборотень окажется в ваших руках… Самое страшное, что он убивает только детей, и все семь детей погибли в те сумеречные часы, когда начинает подниматься туман. Остальное — там…

И он протянул руку в ночь. Мертвая деревня… Лица с налетом страха, словно покрытые грязью… Запертые наглухо двери, за которыми прячутся дрожащие от страха люди, настороженно прислушивающиеся, как шумит камыш… И если кто-то из семьи находится в пути, все бодрствуют, читая молитвы при свете свечи, обычно зажигаемой только во время бури.

Инспектор нетерпеливо взмахнул рукой.

— Все это мне известно. Я уже столкнулся с их молчанием в ответ на мои вопросы. И самыми упрямыми оказались именно те, у кого погибли дети. Оборотень, всегда возникает этот оборотень, чтобы все объяснить, все оправдать…

Я хочу знать, что вы думаете об этом, кого подозреваете. Священник молчит, учитель твердит об убийце-маньяке. Но и у него над дверью висят расположенные крестом веточки самшита.

— Он родился среди этих болот. Он может сколько угодно твердить о могуществе науки, но он давно отравлен испарениями здешних торфяных болот, верованиями и вековыми страхами…

— Ну ладно, а вы? Ведь вы много путешествовали, повидали мир, другие страны. Вы очистились от этого страха, если вообще когда-то испытали его. Что вы знаете? Что думаете об этом?

Бланкаерт некоторое время сидел молча, медленно попыхивая трубкой и задумчиво разглядывая висящие на стене сковороды, железные ошейники, вафельницы и формы для просвир.

— Это может быть какое-нибудь животное? Собака, волк, может быть, медведь? Или кто-нибудь другой?

— Ни один хозяин не заявил, что у него пропал кролик или не вернулась с пастбища коза. Кроме того, зверь обязательно нападал бы не только на детей, но и на мужчин, на женщин… Нет, это должно быть существо, обладающее разумом… Дьявольским разумом… Что вы хотите от меня, что я должен сказать вам?

— Скажите то, что может быть правдой!

Бланкаерт пожал плечами и усмехнулся.

— Какую правду? Ту, которая понравится вам, которая удовлетворит ваше стремление ко всему рациональному?

— Просто правду!

— Ладно. В вашем докладе должно быть отмечено, что я был одним из первых, кто обнаружил тело Лода Мая, бедного худенького паренька, которому еще не исполнилось и одиннадцати лет. Когда наступила ночь, а его все еще не было дома, его мать едва не сошла с ума от ужаса. Она выла, как египетская плакальщица; не знаю, приходилось ли вам видеть их, но это было то же самое. Она металась по заснеженной улице, вздымая к небу судорожно стиснутые кулаки, требовала у Бога своего сына и обрушивала на нас тысячи проклятий за нашу трусость. В конце концов мне удалось собрать несколько молодых ребят, у которых за плечами была жизнь в городе и армия, — они трепетали не так сильно, как остальные. Мы захватили с собой фонари и дубины, а у меня было ружье, заряженное картечью для охоты на кабана. Ризничий сообщил мне, что малыш Лод должен был возвращаться из Малевижвера по тропе, огибающей болото. Эта тропинка не видна из деревни, потому что проходит по ложбине. Мы переглянулись, и нам стало страшно. Если это было то, о чем все думали, то никогда еще «оно» не убивало так далеко от деревни.

Мы двинулись на поиски, рассыпавшись цепью и подавая друг другу сигналы фонарями. Внезапно я увидел мальчугана, лежавшего на снегу в своей старой бархатной куртке. Мы изучили следы вблизи от тела. Что-то набросилось на мальчугана из-за кустов, но промахнулось. Укус пришелся в плечо, но он чудом вырвался, сбросил сабо, чтобы бежать быстрее, и помчался сумасшедшими прыжками по снегу. Но «оно» было быстрее и почти мгновенно нагнало мальчишку. Он упал на колени, и тогда «оно» схватило его зубами за затылок, точно тем же приемом, что и всегда…

— Это было «оно», или все же это был человек?

— Нет, разумеется, «оно»… Видите ли, в тот день к вечеру прошел небольшой снег. Он покрыл землю тонким слоем, на котором все читалось так же легко, как на книжной странице: вот здесь мальчуган бежал босиком, здесь он споткнулся, зацепившись за кустик камыша, здесь он упал, выставив перед собой руки, — все это можно было прочесть, как в открытой книге. И так же легко читались следы, оставленные существом. Они были не очень четкие, но такой старый охотник, как я, мог без труда разобрать их. Я приказал парням отнести мальчика в деревню, а сам вернулся назад, освещая снег фонарем. Это существо оставило следы лап, вооруженных когтями. Я знаю, что должен был дойти по следам до конца, до пруда, чтобы удостовериться, что они действительно выходят из воды. Но я не решился. Я вернулся туда утром, когда рассвело, но все следы были скрыты под выпавшим ночью свежим снегом…

* * *

Бланкаерт проверил, хорошо ли задернуты занавески, потом снял со стены вафельницу и железный ошейник. Вывинченные из ошейника зубья заполнили его ладонь острыми, способными разорвать все что угодно клыками. Он открыл вафельницу; стали заметны круглые отверстия, куда он при-

нялся ввинчивать зубья. Когда это было сделано, он развел рукоятки вафельницы и ухмыльнулся. Теперь у него в руках вместо мирной вафельницы были стальные челюсти с двумя рядами клыков, каждый размером в дюйм.

Скрипнула дверь, волна холодного воздуха хлынула в комнату.

— Надеюсь, я не помешал вам?

На пороге стоял инспектор Дювейль, небрежно прислонившийся к стене.

— Вы были правы, когда сказали, что, если я найду эти челюсти, оборотень окажется у меня в руках… Надо отдать вам должное, вы дьявольски хитры, но этой хитрости все же оказалось недостаточно. Видите ли, не только вам знакомы эти старинные вафельницы — «вафельницы с брабантскими пуговицами». Я тоже иногда читаю старинные книги; мне тоже известна история оборотня, которого сожгли на костре в 1588 году…

В оставшуюся распахнутой дверь молча скользнули двое полицейских и шагнули к Бланкаерту. Тот молча, по-прежнему держа в руках стальную пасть, медленно отступил за стол. Агенты постепенно загоняли его в угол.

Девейль взял одну из форм для просвир и раскрыл ее.

— А вот и следы чудовища… Все было хорошо продумано… Но вы совершили ошибку, когда заговорили о египетских плакальщицах. Этот штрих и выдал вас: человека очень хладнокровного, не испытавшего ни одного из тех страхов, о которых он с таким удовольствием разглагольствовал, видящего все случившееся со стороны… Ладно, пора заканчивать. Уведите его.

Все произошло невероятно быстро. Взмах руки, разлетающаяся вдребезги после удара вафельницей лампа… С поразительной, совершенно звериной ловкостью Бланкаерт перепрыгнул через стол и кинулся в ночь.

Началась погоня. Время от времени луну закрывали облака, но на свежем снегу оставались четкие отпечатки следов, ясно видимые в свете фонарей.

Беглец направлялся к болотам; он был совсем близко, так близко, что преследователи иногда слышали его хриплое дыхание.

Внезапно инспектор и его люди остановились как вкопанные. Звуки шагов, ничуть не приглушенных снегом, сотрясли ночь: последовательность размеренных тяжелых прыжков. Они растерянно переглянулись. Прыжки участились. Раздался крик ужаса, потом дикий вопль, тут же перешедший в жуткое хрипенье и чавканье.

Девейль внезапно осознал, что его давно трясет, но не от холода, а от того самого страха, о котором твердил Бланкаерт. Это был страх перед тем, что невозможно увидеть и остаться живым, что всегда скрывается в тени, что не имеет ни имени, ни лица… Все случилось совсем рядом, за низкими кустами бузины, не дальше, чем в двух десятках метров от оцепеневших людей. Инспектор оглянулся, и в красноватом свете фонарей увидел на белых лицах своих спутников тот же ужас.

— Пойдем посмотрим…

Голос инспектора дрожал. Никто не сдвинулся с места… Вновь послышались прыжки. Теперь они постепенно удалялись. Неожиданно ночь разорвал треск ломающегося льда… Одна или две секунды… И снова наступила тишина.

Они нашли Бланкаерта лежащим на снегу с раздробленным затылком, превращенным в кровавое месиво ударом гигантских челюстей. Что касается следов, выходивших из пруда и снова возвращавшихся в воду, то они были шире мужской ладони, почти круглые, вооруженные мощными когтями…



Томас ОУЭН

# *15-12-38*

*Рассказ*

Он вертел в руках сиреневый конверт, заинтригованный необычным способом его доставки. Зажав конверт между указательными пальцами обеих рук, он вращал его вокруг невидимой оси с нерешительным видом, пытаясь догадаться, кому из его знакомых мог принадлежать этот крупный неровный почерк. Почему-то он не решался открыть загадочное послание; ведь даже характер написания адреса, казалось, таил в себе что-то тревожное и гнетущее:

«Господину Петрусу Вильджеру. Срочно».

Было ли действительно что-нибудь необычное в доставке письма не по почте, а через посыльного? Разумеется, нет. Но для мрачного законника, живущего одиноко и замкнуто среди книжных полок со сводами законов и трактатами по юриспруденции, занимающегося копанием в старинных текстах исключительно из бескорыстной любви к праву, чем из-за стремления обратить свою науку на пользу жалобщику, в этом слове «Срочно» таилось необычное вмешательство активной жизни в ту строгую и несколько застывшую область, которую он привык считать сферой своей деятельности.

Он не решался признаться в этом самому себе, но письмо действительно было получено им при таких обстоятельствах, что не могло не породить в его душе неопределенное смятение; на этот раз его нельзя было отнести только на счет его тревожной беспокойной натуры.

Как это было? Неожиданно затрезвонил дверной звонок — несколько быстрых настойчивых трелей. Так мог звонить человек, пытающийся найти убежище от настигающих его преследователей. По странной случайности именно в этот момент он проходил коридором, а поэтому открыл дверь почти мгновенно. Он буквально рванул на себя дверь с нервозной резкостью — настолько его вывел из спокойного состояния этот шумный судорожный трезвон — и оказался, растерянный и неловкий, перед абсолютной пустотой.

За дверью никого не было. Спустившись вниз, он окинул взглядом пустынную и враждебную улицу; казалось, что люди покинули ее много веков назад, и с тех пор улица была навсегда лишена присутствия человека или хотя бы животного. Ему чудилось, что он стоял перед застывшими в кладбищенской безжизненности камнями мостовой, словно перед символом печали, как единственный восставший из мертвых, единственный возродившийся к жизни в проклятом безлюдном городе.

Никогда раньше он не испытывал такой жуткой леденящей тоски, навеянной на него обычно тихой мирной улицей, такой чистой и ухоженной, с узкими тротуарами, с аккуратно вымощенной булыжником проезжей частью; все вокруг внезапно стало воплощением оцепенения, немого укора, одинокого отчаяния.

«Какой болезненный вид у этой улицы», — подумал он, и его сердце сжалось от сострадания.

И он был прав. От выстроившихся шеренгой одинаковых унылых фасадов с трагическими физиономиями и неприятно усмехавшимися пустыми балконами с поразительной силой исходило ощущение болезненности и печали.

Пока он стоял, застыв в нелепой позе, из дома напротив вышел мальчишка. Он выглядел так, словно только что получил какое-то указание от человека, скрывавшегося за приоткрытой зеленой дверью. Полученное мальчишкой поручение явно не вызывало у него энтузиазма, но он все же отправился выполнять задание, хотя и с крайней неохотой. Петрусу Вильджеру даже показалось, что чья-то рука — если, конечно, это была рука — подтолкнула мальчишку в плечо, прежде чем дверь захлопнулась.

Мальчишка направился в его сторону, пересекая улицу немного наискосок; он шел, опустив глаза, словно капризный ребенок, которому родители сердито сказали: «Не капризничай, иди поцелуй эту пожилую даму…»

Не поднимая глаз, мальчишка протянул ему конверт, и Петрус Вильджер машинально взял его, несмотря на вспыхнувшее в нем запоздалое нежелание делать это.

Мальчишка быстро повернулся и направился прочь, всем своим видом выражая недоверчивость и враждебность.

Петрус Вильджер взглянул на конверт — письмо действительно было адресовано ему. Затем он поднял неуверенный взгляд, словно ошеломленный чьей-то коварной уловкой, пробудившей в нем глухое раздражение, странным образом воздействовавшее на его психику: ему одновременно хотелось или зарыдать, или ударить кого-нибудь…

Он решил вернуть мальчишку-посыльного и расспросить его, но тот был уже довольно далеко.

— Эй, мальчик! — позвал Вильджер.

Мальчишка обернулся, но увидев сурового мужчину, нелепо размахивающего руками на невысоком крыльце, внезапно бросился бежать.

И в этот момент Вильджеру почудилось нечто странное, пугающее. Мальчишка удирал во всю прыть, но топот его ног, казалось, раздавался с одного и того же места пустынной улицы, с одной и той же громкостью, словно он не мог убежать и отчаянно перебирал ногами, оставаясь на одном месте, пытаясь преодолеть встречное движение бегущей дорожки. Вильджеру захотелось броситься к нему, чтобы разобраться в этом непонятном явлении, но он не мог сдвинуться с места, охваченный внезапно навалившейся на него страшной усталостью. Его состояние походило на вялое объятие ночного кошмара, не позволяющего ногам передвигаться именно в тот момент, когда может спасти только немедленное бегство. Настоящий паралич, причем не только тела, но и духа.

Он ощущал нечто похожее на тупую пульсацию мыслей в голове. Таинственное биение мозга, заставляющее вас смотреть, не отрываясь, на катающийся по кругу шарик, все повторяющий и повторяющий с вызывающей отчаяние точностью свой путь, делающий это неизменно и непреклонно, несмотря на все ваши усилия заставить его сойти с вечной орбиты, изменить направление движения и по прямой устремиться в бесконечность.

Это было одно из тех мгновений, когда вы уже не хозяин своим мыслям, когда что-то чужое нагло овладевает вами, язвительно посмеиваясь над вашими яростными, но бесплодными попытками снова овладеть всеми своими способностями.

Так бывает, когда вы смотрите на каплю чернил, повисшую на кончике пера; она медленно тяжелеет под вашим взглядом, постепенно удлиня-

ется, готовая вот-вот упасть, но вновь и вновь возвращается в прежнее положение, к прежней форме, отказываясь сорваться с пера. Вы можете сколько угодно решать про себя, что вот сейчас она, наконец, упадет… и она действительно вытягивается, почти отделяется, еще, еще немного... И все повторяется снова и снова. Вы уже побеждены, вы пытаетесь перевести свои мысли на что-нибудь другое, но упрямая наглая капля опять вытягивается на кончике пера...

Когда Вильджер стряхнул с себя оцепенение, мальчишка уже исчез. Вернувшись к себе, Вильджер с большим усилием закрыл за собой дверь, словно чьи-то невидимые руки препятствовали ему сделать это. Едва передвигая налившиеся свинцом ноги, он с трудом добрался до кабинета. Там, рухнув в кресло, он, наконец, воткнул нож для разрезания бумаги под клапан конверта так, как вонзил бы кинжал в тело врага.

С дрожью во всем теле он извлек из конверта короткую записку.

Чья-то рука, представившаяся ему сухой и морщинистой, написала на клочке бумаги несколько малозначащих слов:

*Тел. 15-12-38. Жду новостей.*

Он вздохнул с облегчением и улыбнулся. И всего-то! Почувствовал, что превратился в детский шарик, несущийся вверх, в голубое бездонное небо. Исчез давивший на сердце груз. Разжалась железная хватка, тисками сжимавшая ему виски.

«Глупая шутка, — подумал он, совершенно успокоившись. — Но если я позвоню по этому номеру, наверняка наткнусь на шутника, а он только и ждет, чтобы посмеяться надо мной».

И при одной только мысли об этой возможности, угрожавшей нарушить все его привычки, расстроить его жизнь отшельника, он неожиданно приободрился. Он уже почти позабыл все сверхъестественное, что мерещилось ему в этой истории. Даже тягостные ощущения, только что испытанные им, почти изгладились из его памяти, словно речь шла о рассказанной кем-то давнишней пустяковой истории.

Вильджер оделся и вышел на улицу, показавшуюся ему гораздо менее печальной. Мимо него прошла женщина с ребенком.

Он попытался отыскать взглядом зеленую дверь, из-за которой появился маленький посыльный. Зеленая дверь... Кажется, на ней был маленький черный глазок…

Но таких дверей перед ним оказалось много — три, семь, десять... Почти все двери домов, выстроившихся в ряд на противоположной стороне улицы, были выкрашены в зеленый цвет. Как узнать среди них именно ту дверь?

Во всем этом чувствовалось нечто неприятное, чем-то похожее на ощущение, появляющееся у вас, когда вы что-то потеряли, но не представляете, что именно.

«Откуда же мог выйти этот мальчишка?» — подумал он.

И картина всего произошедшего тут же возникла перед его внутренним взором. С неожиданной четкостью он увидел лицо посыльного — одновременно юное и старческое. Одновременно с оттенками простодушного человеческого и злобного животного. Патетическое морщинистое лицо карлика, на которое ему довелось бросить беглый озабоченный взгляд. Странное лицо, которое вряд ли когда-нибудь изгладится из его памяти.

Он заторопился. Казалось, будто пустынная улица уставилась ему в спину десятками недоброжелательных глаз. Ощущение от этого напоминало прикосновение смоченной в холодной воде губки к потной спине. Он

перевел дух лишь добравшись до центра города, до шумного, заполненного людьми перекрестка.

Словно спасающийся от преследования преступник, он вбежал в бар, в большой, ярко освещенный зал, где перед уставленной множеством бутылок стойкой толпилась сытая довольная публика. Здесь, по крайней мере, он не чувствовал себя одиноким. Здесь нельзя было погибнуть ни от голода, ни от жажды, ни от удушья…

Он жадно осушил появившийся перед ним стакан ледяного пива, после чего у него в висках началась болезненная металлическая пульсация. Он попытался успокоить ее, обхватив голову руками.

Когда Вильджеру стало немного легче, он огляделся. Казалось, что вокруг него толпятся только счастливые, никуда не спешащие люди. Они входили в бар, пожимали чьи-то руки, разворачивали газеты, жевали бутерброды, разговаривали, оживленно жестикулируя, играли в кости, курили, расплачивались и уходили. И он находился в этой толпе, по-прежнему одинокий и озабоченный… Внезапно он поймал себя на том, что машинально выписывал на поверхности столика колонку чисел, словно собираясь складывать их:

15-12-38
15-12-38
15-12-38…

Странно, но карандаш словно сам собой четко писал эти числа на грязном мраморе. Похоже, он мог бы часами продолжать это занятие, если бы неожиданно не осознал, что вытворяет его рука, пишущая независимо от его воли, в то время, как мысли блуждали где-то далеко, а взгляд рассеянно скользил по ногам сидевшей напротив молодой женщины.

Неожиданно он вскочил. Это движение оказалось таким резким, что соседи с удивлением оглянулись на него. Спотыкаясь, он пробрался между столиками к кассе, где попросил ключ от телефонной кабины.

Он в третий раз набирал предначертанный ему злополучный номер. Делал это подчеркнуто спокойно и старательно, как будто мог потерпеть неудачу, поддавшись охватившему его волнению. Каждый раз подолгу ждал ответа. В неведомой дали, в глухой пустоте раз за разом раздавался звонок, одинокий, приглушенный, словно чем-то встревоженный.

«Раз есть звонок, значит, телефон с этим номером существует на самом деле, — подумал он. — Но почему-то никто не берет трубку…»

Он терпеливо ждал. Решил, что даст себе возможность прослушать еще пять звонков вызова, но затем раз за разом возобновлял эту малодушную отсрочку. Это было сильнее его.

И вдруг кто-то снял трубку на другом конце провода. Почему-то это вызвало у него ужас. Может быть, потому, что он уже не надеялся на успех и предпочел бы вечно ждать возможного ответа вместо того, чтобы столкнуться с реальностью, на которую не рассчитывал… И что он хотел сказать этому шутнику? Он уже забыл. Честно говоря, он оказался в тупике.

— Алло! — произнес на другом конце провода негромкий бесцветный голос.

— Алло! — поспешно ответил Вильджер, ответил слишком торопливо для солидного человека. — Алло, алло… Имейте в виду, голубчик, вы не проведете меня с вашими шуточками. Я стреляный воробей, и…

Он запнулся, разозлившись на себя из-за банальности сказанного. Было ясно, что он говорил глупости, потому что говорил, не думая, предпочитая любые слова этому раздражающему молчанию.

В трубке послышался странный, словно царапающий слух смешок. Этот звук показался ему пустым, не имеющим смысла, но это был единственный ответ на его слова.

— Алло! Говорит Петрус Вильджер, — сказал он. — С кем имею честь?

Невыразительный, слегка ироничный голос ответил:

— Да, да… Сколько ни иди вперед, а расстояние не изменится…

Трубку повесили.

В бессильном гневе Вильджер продолжал слушать тонкое посвистывание и периодический треск паразитных токов. Затем он резко, с каким-то отчаянием повесил трубку и вышел из кабины, чувствуя себя явно не в своей тарелке. В этот момент оркестр в зале грянул какую-то разухабистую мелодию, и он вздрогнул от неожиданности. Ему почудилось, что публика в баре встретила его с издевкой, будто радуясь удавшемуся розыгрышу.

Он сел за столик, облокотился и закрыл лицо рукой, стараясь уйти в себя, изолироваться от шума, от толпы. Такие люди, одинокие и патетические, лишенные человеческого участия и погруженные в свои болезненные вялые мысли, нередко встречаются в общественных местах.

Неясные страхи, странные кошмары, все самое жуткое, что только может представить себе болезненное воображение, — все это подкралось к нему мрачными тревожными извивами и теперь сжимало ему горло свинцовой рукой, не позволяя вздохнуть.

Весь страх перед неизвестным, вся жуть, воплощенная в улице, на которой находился его дом, все колдовство необъяснимого проклятья, так несправедливо обрушившегося на него, терзало ему сердце мелкими царапинами, словно отравленными коготками. Ему хотелось зарыдать, как ребенку, на которого обрушился слепой рок, но который не решается ни протестовать, ни даже плакать, настолько он потрясен случившейся с ним несправедливостью.

Нечто неизбежное, непреклонное, нахлынувшее откуда-то издалека, набросило на него свое черное покрывало. Нет, ему уже не удастся освободиться. Он слишком большой, слишком тяжелый, его слишком крепко держат невидимые руки, медленно, но уверенно заставляющие его согнуться, покориться.

Он решил отказаться от борьбы и бежать. Сейчас бросится на пол, ползком проберется между столиками, между ногами посетителей… Он избавится от непонятной мрачной угрозы…

— Вам плохо, мсье? — заставил его очнуться голос гарсона в белой куртке.

И эти простые слова словно освободили его. Он смог выпрямиться, найти силы для сопротивления; разум его прояснился настолько, что догадался рассчитаться за свой стакан пива.

Выйдя из бара, он окончательно стряхнул с себя недомогание. Да, ему нужно основательно провериться у врача, может быть, взяться за лечение. Он слишком много работал последнее время; несомненно, это усталость вызвала в его мозгу безумные образы. Конечно, он должен отдохнуть. Может быть, стоит съездить в деревню к старому дядюшке-таможеннику, который регулярно раз в году все с той же скромной и никогда не теряющей надежды настойчивостью приглашает его провести у него несколько дней.

Попавшаяся на глаза кабина телефона-автомата на углу улицы вновь пробудила в нем прежние тревоги. Он не смог устоять перед искушением снова погрузиться в них и набрал номер центральной телефонной станции.

— Не могли бы вы сказать, кому принадлежит номер 15-12-38?

— Минуточку…

Он ощущал невероятное напряжение. Его нервы от макушки до пят превратились в одну звенящую струну.

— Алло? Вы сказали: 15-12-38?

— Да, да…

— Такого номера не существует.

— Но, мадемуазель, — пробормотал он, — я только что разговаривал с этим номером…

— Этого номера нет, — повторил сухой голос.

— Но, уверяю вас… — его буквально трясло от волнения.

— Прослушайте, такого быть не может.

И поскольку он продолжал настаивать умоляющим голосом, телефонистка повесила трубку.

* * *

Петрус Вильджер вернулся домой совершенно измотанным. На этот раз улица не показалась ему такой враждебной, как раньше. Он опять встретил женщину с ребенком на руках, и это успокоило его.

Прижавшись носом к стеклу, словно ребенок у витрины магазина игрушек, он наблюдал за улицей. Эти зеленые двери, враждебные, застывшие, мертвые, словно их нарисовали на стенах домов…

Вечер опускался на город подобно мелкому дождю, заполняя пространство серыми и черными нитями. Фонари разбрасывали вокруг столбов скудный свет, образуя бледные гало в этой похожей на туман водяной взвеси.

Внезапно он вздрогнул. Кто-то бежал по улице… Это был мальчишка с лицом карлика! Он явно направлялся к одному из зданий напротив.

Вильджер оторвался от окна и как сумасшедший слетел вниз по лестнице. Оказавшись на улице, он успел заметить, что мальчишка остановился возле одной из дверей, распахнувшейся перед ним, и нырнул в нее. Не раздумывая, Вильджер бросился следом.

Дверь позади него захлопнулась раньше, чем он успел пожалеть о своем необдуманном поступке. Он оказался в темном коридоре, окруженный атмосферой склепа. Ледяной воздух, хотя и пригодный для дыхания, казался древним, словно он много лет находился среди каменных стен, где не мог обновляться.

Его неудержимо потянуло назад, на улицу, и он принялся на ощупь искать входную дверь в царившем вокруг мраке. Поиски были безрезультатными — он повсюду наталкивался только на шершавые стены из грубо обтесанных блоков песчаника — как по обеим сторонам узкого коридора, так и с торца, где только что находилась дверь, через которую он вошел. Но раз за разом он оказывался в глухом тупике.

Неожиданно Петрус Вильджер почувствовал, что изменилась не только обстановка вокруг него — кардинальным образом изменилась его судьба. Ему стало ясно, что он очутился в совершенно иной жизненной плоскости, что он попал в какой-то иной мир. Было очевидно, что ему уже никогда не удастся выбраться отсюда. Поняв это, он покорился без сопротивления. Ему, правда, хотелось закричать, но голос перестал подчиняться его воле. Он словно очутился под непроницаемым колпаком, где задыхался без воздуха, заживо погребенный в своих кошмарах.

Наконец он решился очень осторожно двинуться вперед и вскоре наткнулся на лестницу. Начал подниматься по ступенькам, но по мере того, как двигался вверх, ступени под его ногами как будто уходили вниз… Вот и площадка… Чья-то рука — если это была рука — решительно, но не грубо взяла его за локоть; его провели таким образом через просторную слабо освещенную сводчатую комнату, где он почувствовал сильный приток свежего воздуха.

Когда Петрус Вильджер обернулся чтобы взглянуть на своего поводыря, влекущего его к предначертанному судьбой исходу, хватка на его руке мгновенно исчезла. Он с тревогой ощупал себя и несколько раз провел рукой по тому месту, где только что чувствовал властное давление. Возле него никого не было. О том, что было миг назад, напоминало только ощущение тепла, впрочем, быстро исчезнувшее.

Он остановился. До него долетел отчетливый звук упавшей капли воды — с таким звуком вода капает на плоский камень. Он вздрогнул от неожиданности. Свет в помещении сразу же стал более ярким, и он смог, наконец, оглядеться.

Он находился в огромном зале, высоком и идеально круглом, как ему показалось, и накрытом таким же круглым куполом. Пол был выложен каменными плитами голубого цвета. Казалось, что сходившиеся где-то высоко над головой стены были сделаны из мягкого, странно податливого материала, потому что по ним время от времени пробегала мелкая дрожь, словно по ткани, колеблющейся под порывами ветра.

Он бросился к стене, надеясь найти выход, и остановился, окаменев от ужаса, — ему показалось, что зал мгновенно расширился в этом направлении. Он кинулся в другую сторону, вытянув перед собой руки. Стены снова отступили перед ним. Он остановился, задыхаясь. Потом попробовал передвигаться мелкими осторожными шажками, словно подкрадываясь к пугливому животному. Все было напрасно. При каждом его шаге огромный купол, накрывший его, словно муху, лишенную крыльев, немедленно смещался в ту же сторону.

Сколько он ни пытался достичь стен — все было бесполезно. Безумная беготня, жалкие уловки, отчаянные броски — все это не давало результатов. Что бы он ни делал, он обязательно оказывался на одинаковом расстоянии от всех стен этого огромного перевернутого колпака.

Наконец он в отчаянии рухнул на холодные плиты пола и стал ждать неизбежного, прикрыв голову согнутыми руками. И тогда он услышал тяжелые ритмичные шаги, доносившиеся одновременно со всех сторон, словно несколько марширующих отрядов направлялись отовсюду в одну точку — ту самую точку, где он скорчился на полу.

Бесполезно было пытаться встретить опасность лицом к лицу, поскольку она надвигалась со всех сторон сразу. Поэтому он предпочел закрыть глаза и покориться судьбе.

Пол все сильнее вздрагивал под ритмичными шагами, тяжелыми и неумолимыми, приближение которых он ощущал каждой клеточкой своего несчастного тела, изможденного и слепого.

Внезапно на него хлынула волна резкого запаха, запаха хлева или стада, запаха, в котором отвратительным образом смешались отдельные запахи пота, мочи, соломы, навоза и пыли.

И они пришли.

* * *

Несколько прохожих в вечерних нарядах возвращались пешком с затянувшегося приема. Женщины подметали тротуар подолами своих платьев, мужчины страдали в узких лакированных туфлях. Неожиданно обе пары остановились и замолчали.

— Ты слышал? — спросила женщина.

— Что именно?

— Там, за стеной…

Мужчина громко зевнул и шутливо схватил свою спутницу за руку. Та остановила его.

— Нет, правда, дорогой, прислушайся… Что это за здание? Может быть, казарма?

— Ну, с первого взгляда трудно сказать…

В этот момент открылась дверь, возле которой они остановились. Небольшая зеленая дверь с тем простоватым и даже немного глуповатым видом, свойственным обычно дверям в домах мелких рантье. Они почувствовали порыв сквозняка, налетевшую на них волну спертого ледяного воздуха, показавшегося им невероятно древним.

Перед ними на тротуар рухнула бесформенная масса. Это падение было таким внезапным, таким неожиданным, что они отскочили в сторону; одновременно раздались возгласы испуганных женщин.

Первым побуждением небольшой группы было стремление как можно быстрее удалиться от страшного места, потому что мягкий тюк, упавший рядом с ними на тротуар, оказался человеческим телом. Это было тело человека, чудовищно избитого, залитого кровью и, казалось, совершенно лишенного костей и суставов. Для обывателя естественен страх перед смертью, понятно и его смятение перед видом крови, сочащейся из ран, открывающихся под распахнувшейся одеждой, только что прикрывавшей болезненно трепещущую израненную плоть. Один из мужчин крикнул спутницам:

— Идите, идите! Идите быстрее! Да не стойте же здесь!

Он нервничал все больше и больше. Даже начал подталкивать женщин, очевидно, он почти не владел собой. Конечно, прежде всего он хотел избавить их от жуткого зрелища смерти, вид которой исказил ужасом его лицо, такое жизнерадостное всего несколько мгновений тому назад.

Женщины отошли в сторону со смешанным чувством тревоги и любопытства. К счастью, на улице появилось такси, и кто-то окликнул его:

— Водитель, здесь раненый!

Только теперь они осмелились подойти вплотную к несчастному, тело которого плавало в луже крови.

— Это он-то раненый? — с ужасом воскликнул шофер такси. — Да вы хоть разглядели его?

— Мы не успели…

— Ну и не надо. Это слишком страшно… Нужно предупредить полицию. Несчастному все равно никакой врач не поможет…

Такси забрало гулявших, со скрипом дернулось в темноту, выехало задним ходом на середину улицы, развернулось, скользнув болезненным светом фар по фасадам зданий, и исчезло в том направлении, откуда появилось.

* * *

Дежурный врач сказал, что никогда не видел ничего подобного.

— Этот человек был или раздавлен, или затоптан; это просто ужасно. На его теле не осталось живого места. Множество переломов: таз, череп, все ребра, конечности… Даже пальцы, буквально превращенные в кашу… Это какое-то безумие… Сначала я подумал, что бедняга был убит группой преступников, которые забили его ногами… Но это что-то другое, гораздо более страшное…

Врач растерянно замолчал и отвел глаза.

— Подойдите-ка сюда, инспектор.

Он приподнял простыню, прикрывавшую изуродованные останки.

— Посмотрите, на лбу и на том, что осталось от щеки… Вы видите? Это явно след животного. След раздвоенного копыта… Очень отчетливый отпечаток…

— Закройте это скорее… Это отвратительно… И жутко…

* * *

Это случилось в ночь с 14 на 15 декабря 1938 года. Дом, который нашли с помощью прохожих, как оказалось, стоял пустым уже лет десять. Это был обычный двухэтажный домик мелкого буржуа, с двумя комнатами на каждом этаже и кухней в пристройке.



Жан РЭЙ

## *В полночь*

*Рассказ*

Часы как раз били полночь, когда в мою комнату вошел призрак.

Я сидел спиной к двери в своем клоповнике, и только лампа, яркая, чистая и приветливая, согревала мне душу.

Мое сердце почувствовало гостя из тьмы.

— Знаю, это тень Петеркина Додда, матроса, которого я убил в баре на Эрунделл-стрит в тот вечер, когда он обозвал меня болонкой для старой дамы, — громко сказал я. — Но я не боюсь ни Петеркина Додда, ни его мерзкой тени. Послушайте, разве справедливо называть джентльмена болонкой?

Я не решался обернуться, но явление за моей спиной притихло.

— Может быть, ты пришел потребовать назад восемь шиллингов, что я нашел в твоем кармане? И что вообще ты собирался делать с этими деньгами после своей смерти? Если ты настаиваешь, отдам часть этих денег преподобному отцу Булкингорну, чтобы он помолился за тебя… А они тебе нужны, эти молитвы?

Свет умирающей лампы собирал мрак за моей спиной.

Я не услышал хриплый голос Додда и не почувствовал характерный для него запах гниющих водорослей.

Но тень за спиной продолжала давить на мое дрожащее тело, пробуждая тоску в сердце.

* * *

И тогда я негромко заговорил, и с ужасом обнаружил в переливающейся золотистой плоти виски на дне стакана болезненный зародыш моих слез.

— Может быть, это ты, мой отец, — сказал я, — чьи надежды я не оправдал? Ты, для кого я остаюсь по-прежнему розовощеким малышом, постоянно ломавшим свои игрушки и требовавшим от тебя новых, все более и более красивых и дорогих? Ты, кого я без угрызений совести ежедневно награждал очередной болью?

Иногда, когда ко мне приближаются новые черные беды, я уверен, что встречу тебя, и надеюсь на твою помощь… Так, только вчера в страшном сне ты провел меня за руку через страшные трущобы, где в канавах текла кровь, где вопли терзаемой человеческой плоти витали над нами жуткими тучами.

Так это ты?

Но я по-прежнему не поворачивал головы.

Я не почувствовал губ, коснувшихся поцелуем моих волос. И понял, что это не был мой отец.

* * *

— Ах, — вздохнул я. — Ведь она умерла…

Она? Кто это — она? Я уже не помнил ее имени; виски смыло его из моей памяти. Но помнил, что она любила меня, щедро одаривая всем богатством своих двадцати лет.

Однажды она оплакала меня, оплакала, как плачет по сыну мать-старушка.

Я воздвиг между нами стену безразличия своим сердцем, своим забвением, рождающимся в дороге, виски, выпитым в портах, куда меня приводили фантазия и безденежье. И вот теперь она умерла и пришла ко мне. Боже! Каким ледяным был мрак за моей спиной!

Лампа превратилась в жалкий язычок огня, освещавший всего лишь небольшой круг на потолке.

Но ласкающая рука не появилась из мрака, и я не услышал счастливого возгласа.

Нет, это была не она…

* * *

Язычок огня взлетел к потолку, словно душа умершего ребенка.

Из окружавшей меня жуткой темноты появилась чудовищная рука, схватившая меня за горло.

Эта рука дрожала; от нее несло табаком и луком.

И я догадался с горечью и гневом, что это пришел мерзавец Бобби, чтобы отобрать у меня мой виски.

***Предисловие и перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.***



Сергей ШАФАРЕНКО

# *Белорусский историк западной литературы*

Идею написать очерк о Петре Семеновиче Когане, блестящем исследователе, знатоке и историке западноевропейской литературы и западноевропейского театра, подсказал мой давний знакомый, известный букинист, человек, фанатично, искренне и беззаветно преданный книге, знающий ее, любящий и понимающий. Как у цвейговского Менделя-букиниста, у него можно навести справки о любом издании: безошибочно он укажет издателя, год издания, тираж, автора иллюстраций, сколько изданий выдержала книга, приблизительную цену, где можно приобрести редкое издание. Достать он мог практически любую книгу. Его личная библиотека составляет более пятнадцати тысяч томов. Собирать книги он начал еще студентом историко-филологического факультета, и к моменту окончания университета его библиотека насчитывала более полутора тысяч редких книг. «Этот человек все знает и все достанет, он раздобудет тебе редчайшую книгу из любой антикварной лавчонки… Подлинный ходячий универсальный каталог… Библиографический феномен. Он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом зыбком космосе книжного мира», — так писал Стефан Цвейг о герое своего рассказа, и эта характеристика как нельзя лучше подходит моему знакомому букинисту, человеку энциклопедических знаний, готовому всегда дать нужный и добрый совет и оказать практическую помощь. Алтарем наших «библиофильских откровений» было уютное кафе, где мы проводили немало часов в приятной беседе и полезных дискуссиях за просмотром и обсуждением редких книг.

Зная мой профессиональный интерес к западноевропейской литературе, знакомый букинист предложил мне однажды трехтомное фундаментальное издание под названием «Очерки по истории западно-европейских литератур», выпущенное в Москве в 1911 году. Автором трехтомника был П. С. Коган. Кто любит и ценит антикварную книгу, тому знаком священный трепет, с которым счастливый обладатель держит в руках редкое антикварное издание. Трехтомник привлек внимание не только своей тематикой, но и необычным подходом автора к защите своих авторских прав. На титульных листах каждого тома с правой стороны вертикально сверху вниз было помещено отпечатанное типографским способом уведомление следующего содержания: «Каждый экземпляр каждого вида «Очерков», начиная с 1911 г., должен быть снабжен штемпелем автора. За содержание книг без штемпеля автор не принимает на себя ответственности и просит доставлять их ему».

И действительно, титульный лист каждого тома был промаркирован чернильным штемпелем с красиво выведенным каллиграфическим почерком именем автора «Петр Коган». Каждое слово заканчивалось, как и полагалось, старомодной буквой ять. Не могу утверждать, что этот штемпель, свидетельствующий о

добросовестном просмотре автором каждого экземпляра своего научного труда, стал решающим фактором в приобретении издания, уже давно ставшего библиографической редкостью. Личность самого П. С. Когана, одного из ведущих историков литературы прошлого века, литературного критика, переводчика, ученого, эстета, блестящего знатока отечественной и зарубежной литературы и искусства, несомненно, является притягательной и заслуживает особого внимания. Кроме того, он выходец из Беларуси и является нашим соотечественником.

Петр Семенович Коган родился 1 июня 1872 года в городе Лида (тогда Виленской губернии), в семье врача, коллежского советника. Окончив классическую гимназию в Могилеве в 1890 году, он становится студентом историко-филологического факультета Московского университета. В стенах университета вместе с В. М. Фриче и В. М. Шулятиковым Коган создает кружок западноевропейской литературы. Членами этого литературного кружка были молодые поэты-символисты Валерий Брюсов и Константин Бальмонт.

Способному, любознательному студенту, открытому всем модным и прогрессивным течениям в литературе, импонировали смелые и дерзкие эксперименты символистов, их литературный эпатаж, склонность к мистификациям. Ему нравилось их стремление выйти за пределы традиций, все еще оставаясь на позициях обожаемого ими романтизма, литературная многоликость молодой поэтической школы, разнообразие стилей, в которых дебютировали поэты, особенно Брюсов, желание самоутвердиться во что бы то ни стало, показать, что молодая поэтическая школа не каприз двух-трех выдумщиков, а серьезное литературное течение, сгруппировавшее вокруг себя значительное количество адептов.

В письме к А. А. Миропольскому от 19—20 июня 1894 года Брюсов писал: «Наш сборник должен быть и прекрасен, и символичен. Все, что у нас есть, надо превратить в шедевры… Если надо, напишем все вновь!.. Наш сборник должен быть и самобытен, и прекрасен… И дни, и ночи я занят исправлениями… Собственные стихи переделываю от верху до низу. Вперед!!! Составляю сборник диктаторской властью».

Значительно позже, в своей автобиографии Брюсов напишет: «В двух выпусках «Русских символистов», которые я редактировал, я постарался дать *образцы* всех форм «новой поэзии», с какими сам успел познакомиться: vers libre, словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затмение смысла в духе Малларме, мальчишескую развязность Рембо, щегольство редкими словами на манер Л. Тальяда, т. д. и т. п. вплоть до «знаменитого» своего «одностишия», а рядом с этим — переводы-образцы всех виднейших французских символистов».

Этот студенческий кружок можно считать отправной точкой в деятельности П. С. Когана как историка и переводчика западноевропейской литературы. Именно здесь он решает в качестве своей дальнейшей профессиональной деятельности избрать углубленное изучение западной литературы и перевод ее лучших образцов.

Пытливый студент был открыт прогрессивным идеям не только в литературе, но и в общественно-политической мысли. Так, под влиянием И. Тэна и Г. В. Плеханова, а также «Коммунистического манифеста» Петр Коган начинает интересоваться марксизмом. Интерес, однако, поначалу был не столь глубоким, и, по словам самого Петра Семеновича, «партийные разногласия и практические применения… из учения Маркса» его мало интересовали.

Курс университета Петр Коган закончил блестяще, с дипломом 1-й степени и серебряной медалью за глубокую исследовательскую работу

«Ранний период немецкого гуманизма», и как следствие, талантливый, многообещающий выпускник Московского университета был рекомендован профессором Н. И. Стороженко к продолжению занятий в университете для подготовки к профессорскому званию. Однако этому перспективному начинанию, как и последующей попытке перевода с этой же целью П. С. Когана в Петербургский университет, воспрепятствовал попечитель Московского учебного округа Н. П. Боголепов, назначенный вскоре на должность министра народного просвещения. По словам самого Петра Семеновича, высокопоставленный чиновник не считал возможным «пропустить в профессора лицо еврейского происхождения, хотя и принявшего православную веру». Такая позиция министра народного просвещения, несомненно, отражала антисемитские настроения, имевшие место в политическом и общественном сознании Российской империи в то время.

Приняв решение остаться в Москве, Петр Коган в начале 1900-х годов начал печатать литературоведческие статьи, библиографические заметки и рецензии в журналах «Русская мысль», «Образование», «Русское слово», «Вестник воспитания», «Педагогический листок», других периодических изданиях. В этот период возрастает интерес Когана к марксизму, и в газете «Курьер» он ведет отдел библиографии вместе с Фриче и Шулятиковым, пропагандируя марксистский взгляд на литературу. Такой подход к литературному творчеству не мог не вызвать протесты со стороны ряда писателей, и П. С. Коган вступает с некоторыми из них в ожесточенные идейные конфликты, особенно с бывшим в то время популярным Леонидом Андреевым, который отозвался о Когане как «бездарном» и «враждебном» ему человеке.

1907 год стал знаменательным для молодого ученого: выходит из печати первый том двухтомника «Очерки по истории древних литератур» — «Греческая литература». А в 1908 году — трехтомное издание П. С. Когана «Очерки по истории новейшей русской литературы», охватывающее период от Белинского и Герцена до современных Когану писателей.

Статьи Петра Семеновича в Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, талантливые переводы, предисловия ко многим изданиям французской и немецкой серии «Всемирной библиотеки» свидетельствовали об энциклопедической образованности. Его знания и высокую культуру отмечали неоднократно сотрудничавшие с ним литераторы.

В тот же период П. С. Коган преподает в Московском училище ордена св. Екатерины (Екатерининском институте), на Московских педагогических курсах и в Николаевском сиротском институте, в училище Московского филармонического общества, в Народном университете А. Л. Шанявского. Он начинает издавать частями «Очерки по истории западно-европейских литератур».

В предисловии к первому изданию трехтомного труда, вышедшего в 1903—10 гг. П. С. Коган пишет: «Цель данной книги — представить по возможности в сжатой форме общий ход развития западно-европейских литератур. Я нигде не имел в виду библиографической полноты, помня добрый завет Геттнера, что история литературы не есть история книг, но история идей и их форм — научных и художественных. Из богатого наследства, оставленного западно-европейским творчеством, я выбирал наиболее крупные творения, которые позволяли отметить главные вехи пути, пройденного европейским обществом. Я думаю, что этим путем достигаются две цели: читатель получает возможность хорошо познакомиться с величайшими писателями: Данте, Шекспиром, Мольером, Гете и др., и в то же время от него не ускользает процесс преемственности литературных фактов».

С присущей ему скромностью молодого ученого и должной самокритикой Петр Коган заканчивает предисловие следующим абзацем: «Я прекрасно осознаю, что эта книга, в которой так давно нуждается читатель, в особенности наша учащаяся молодежь, далека от законченности. Указания специалистов и педагогов могут дать толчок к изменениям и переработкам целых отделов и тем самым помогут мне приблизиться к цели, т. е. к созданию книги, вполне удовлетворяющей потребностям ищущей знаний молодежи».

И уже в предисловии ко второму изданию П. С. Коган замечает: «При составлении настоящего, второго, тома издания «Очерков» мною приняты во внимание все сколько-нибудь основательные указания критики и педагогов, появившиеся в печати или сделанные мне лично».

Автор вносит существенные изменения и дополнения в главы, посвященные литературе средних веков, эпохе Возрождения, творчеству Мольера, общественному движению, охватившему Англию в XVII веке. Главы о жизни и творчестве Мильтона были подвергнуты самому пристальному критическому анализу и практически переработаны заново.

Такой скрупулезный научный подход к своему труду дал П. С. Когану право заявить в предисловии к третьему изданию «Очерков по истории западно-европейских литератур» следующее: «Сочувствие, которое встретила настоящая книга, свидетельствует о том, что она, в общем, удовлетворила тех читателей, для которых была предназначена. Все указания рецензентов и педагогов были приняты мною во внимание уже при обработке второго издания. Вот почему в третье издание я не решился вносить сколько-нибудь значительных изменений».

Необходимо отметить, что «Очерки по истории западно-европейских литератур» отражали научно-прогрессивные тенденции передовых умов того времени. Рассматривая историю зарубежной литературы не только как свод историко-литературных фактов и явлений, но и как фактор художественной пропаганды освободительных идеалов, Петр Коган с присущим ему блеском талантливого популяризатора показал острую идейную борьбу, которой была наполнена литература Запада. Он придавал большое значение установлению связи «литературных фактов» с «экономической жизнью» эпохи, придерживаясь методологии культурно-исторической школы литературоведения, ставя целью своего исследования анализ социальной обусловленности художественных произведений, их зависимости от идей, доминирующих в общественном сознании различных эпох. Такая методика научных исследований складывалась в значительной степени под влиянием идей марксизма и дарвинизма, которыми Петр Коган был увлечен в юности и которые он определил как «крупнейшие явления в умственной жизни в середине XIX века». Тем не менее, он не догматировал принципы своих исследований с марксистских позиций. Так, например, его точка зрения на «успехи символизма и индивидуализма» заключалась в том, что «поэты снова захотели взглянуть на мир сквозь призму своей фантазии», и тем самым он признавал существование внутренних, имманентных факторов литературного развития, независимых от политических и социально-экономических условий. Иногда это характеристики развития отдельного жанра на существенных отрезках времени, иногда — отбор наиболее примечательных черт художественной жизни целой эпохи. Все это внешнее многообразие не должно вводить в заблуждение. Все три тома обладают внутренним единством. Читателю предлагаются не просто отдельные статьи и очерки (хотя они и сами по себе представляют законченное целое и могут быть прочитаны выборочно), но, скорее, главы единого в своей сути исследования. Его целостность предопределена, прежде всего, отбором

анализируемого материала и исторической последовательностью его расположения. Речь идет о смене ключевых этапов сложной эволюции художественного мироощущения Западной Европы от Средних веков к Новому времени и о выделении закономерностей, как внешних так и внутрилитературных, которые это развитие определяли. Во-вторых, и это особенно важно: взаимосвязь отдельных глав определена единством литературной проблематики, которая пронизывает книгу. В центре внимания автора проблема, насущная для утверждения принципа историзма: осмысление природы взаимодействия неповторимых писательских личностей и современной им эпохи, анализ ее выдающихся художественных достижений (иногда еще недостаточно оцененных, но сыгравших немаловажную историческую роль творений) включен в виде развернутых обзорно-проблемных глав в общий контекст духовной жизни Западной Европы IV — первой половины XIX века и становится тем самым объектом сравнительного анализа.

Каждый том «Очерков» вводит нас в конкретную эпоху, определяющую развитие и взаимодействие различных литературных течений и направлений.

Автор «Очерков» не ограничивается в своей работе исследованием только литературных процессов. Он дает полную и яркую картину жизненного и творческого пути писателей, конфликтов, воспроизводимых в литературе на фоне широкой панорамы исторических, культурных и социальных изменений, происходивших в странах Запада на разных этапах его истории. Так, в первом томе П. С. Коган пишет: «Главным культурным фактором, влиявшим на все стороны жизни в средние века, является христианство». Он подчеркивает важную роль монашества и монастырей в сохранении величайшего культурного наследия, оставленного античным миром: «Монастыри были и образцовыми формами, и рассадниками наук и искусств… Пораженные глубиной и величием античной мудрости, лучшие умы старались согласовать ее взгляды с требованиями церкви». И далее: «Тертулиан говорит, что христианство только венчает продолжительную умственную работу, начатую задолго до него».

На примере средневековой литературы П. С. Коган показывает, как в недрах феодальной раздробленности и беззакония зародилась система рыцарства, вобравшая в себя глубинную суть древних традиций и вернувшая к жизни высшие ценности и вечные добродетели, чтобы стать орудием истины и справедливости.

Средневековую христианскую литературу составляли литературы церковная и светская, или рыцарская. Первая проповедовала целомудрие, послушание, веру, аскетизм, нестяжание, человеческие добродетели. Рыцарская, в свою очередь, создала рыцарский роман и рыцарскую поэзию «воинственных похождений и мистический культ дамы», воспевая доблесть, благородство, служение даме. И здесь огромная роль принадлежит трубадурам, труверам, миннезингерам, которые искусством и изяществом слога, красотой формы, яркими красками и музыкальным созвучием прославляли рыцарские подвиги, воспевали культ дамы, любовь, рыцарское служение «Богу, женщине и королю». Возникновение таких жанров как фабльо, шванки, сатирические сирвенты, канцоны, серенады, альбы, тенцоны, эпические песни, известные под названием Chansons des Gests, создали яркие страницы средневековой литературы как выразительницы нравов и понятий эпохи.

Автор «Очерков» дает подробную, развернутую картину утверждения и укрепления папской власти в средневековой Европе, духовных и политических конфликтов между папами и королями, вследствие чего в Италии возникают и противостоят друг другу две политические партии: сторон-

ники папы — гвельфы и приверженцы императора — гибеллины, на фоне которых проходит жизнь и творчество величайшего поэта средневековья Данте Алигьери. Борьба гвельфов и гибеллинов сводилась к тому, что итальянские города-коммуны более не желали быть подвластными императорам Священной Римской империи, частью которой являлась Италия, и предпочитали протекторат папы.

«Вся Флоренция разделилась на два лагеря… «и не было конца этому расколу, — говорит флорентийский хронист, — и много отсюда произошло неурядиц, злодеяний и гражданских войн», — продолжает тему П. С. Коган.— Папы и императоры давно уже забыли великие цели, которыми руководились их предшественники. Честолюбие, жажда власти и житейские блага стали единственными стимулами их действий».

С наглядной убедительностью автор «Очерков» показывает влияние на любовную лирику Данте его современников, поэтов Гвидо Гвиничелли и Гвидо Кавальканти, нравственное влияние на поэта Беатриче, девушки, любовь к которой Данте пронес через всю жизнь. Подчеркивается исключительное значение произведений Данте «Новая жизнь», «Пир», трактата «О монархии» как подготовительного опыта для создания главного труда жизни поэта — «Божественной комедии». Этому произведению в «Очерках» отведена отдельная глава, в которой со скрупулезной тщательностью настоящего ученого анализируется аллегорический смысл поэмы, отражение в ней религиозно-моральных воззрений эпохи, политические воззрения Данте, отражение его личности в этом произведении, связь Данте с эпохой Возрождения.

Этого же метода подробного научного анализа П. С. Коган придерживается в исследовании творчества великих мастеров слова эпохи Возрождения. «Эпоха, сменившая средние века, принадлежит к числу любопытнейших периодов культурной истории Европы», — так начинает Петр Коган увлекательнейший рассказ о жизни, литературной и общественной деятельности Монтеня и Бэкона, Шекспира и Сервантеса, Гуттена и Эразма Роттердамского, Томаса Мора и Рабле. Он исследует периоды начала и расцвета французского, немецкого и английского гуманизма, указывая на неразрывную связь этих явлений с культурными традициями античности: «Античное влияние, поклонение классической образованности, которое принято считать основным элементом культурной жизни Ренессанса, не умирало на протяжении средневековой истории… эпоха Возрождения отмечена, прежде всего, пробуждением истинно научного духа и исторического смысла. …Мысль о том, что когда-нибудь истина примет другие формы, конечно, не могла прийти в голову средневековому человеку. Личность пробудилась и, почувствовав свою самостоятельность, бросилась изучать прошлое и настоящее человечества».

Весьма интересен и характерен в этом смысле анализ шекспировского Гамлета, в котором автор «Очерков» представляет героя трагедии не простым мстителем за отца, а философом и мыслителем: «Гамлет, как мыслитель, смотрит гораздо шире: не отомстить за частное преступление, а раскрыть преступность того общества, в котором он вращался, и даже всего мира — так раздвинул свою задачу Гамлет… Он — типичнейшая фигура Возрождения, когда старые религиозные предания и культ физической расправы столкнулись с новыми эстетическими требованиями и первыми сомнениями, рожденными эмансипацией человеческого духа».

Великая эпоха Возрождения заканчивается движением Реформации, охватившим всю Западную Европу. Активизируется борьба низших классов за участие в управлении государством. «Поэтому литература этой эпохи носит либо теологический характер, либо эпикурейски-изящный,

отрицающий вкусы придворного дворянства, либо сатирический, воплощающий в себе недовольство буржуазии и низших классов, критически относящихся к безнравственной и праздной жизни дворянства», — резюмирует П. С. Коган.

Поворотные этапы в ходе исторического процесса имеют важное принципиальное значение для выяснения общих закономерностей литературной эволюции в целом. Одним из таких знаменательных поворотных этапов были для Западной Европы 40—50-е годы XVII столетия. В эти годы конфликты достигают особой остроты. Они прорываются наружу в виде мощных социально-политических сотрясений и сдвигов (самые значительные из них — это революция в Англии, где находился эпицентр кризиса, и Фронда во Франции).

В исследованиях П. С. Когана термин «XVII столетие» означает не только календарное понятие, охватывающее период с 1600 по 1700 год, но и как определение самостоятельной эпохи в истории западноевропейской культуры в целом и литературной жизни в частности, лежащей между Возрождением и Просвещением.

В 40—50-е годы XVII столетия литература делает по сравнению с прошлым существенный шаг вперед в смысле действенного вторжения в гущу общественной борьбы. Английская революция XVII века выдвинула на авансцену политической, культурной и общественной жизни ряд выдающихся личностей, наиболее яркой из которых является Джон Мильтон.

«Замечательно, — пишет П. С. Коган, — что те идеи, которые прославили через сто лет имена Руссо и Монтескье, уже в XVII веке высказываются Мильтоном. Все люди, говорит он, рождены свободными… Власти, король и чиновники, избранные из умнейших и лучших граждан, обязаны охранять законность и спокойствие. Никакой другой причины, дающей одному власть над другим, не существует…». Автор «Очерков» утверждает, что еще за сто лет до появления философии Руссо, предвосхитив Монтескье, Мильтон установил принцип разделения властей: законодательная власть должна принадлежать парламенту, исполнительная — королю. Трактаты Мильтона — это сумма глубоко продуманных доказательств в пользу естественных прав человека. Того же принципа он придерживался и в семейной жизни. «Самый умный человек, — цитирует Мильтона П. С. Коган, — может ошибиться в выборе подруги, и неужели он должен платить за это всю жизнь? Нельзя приковывать живую душу к мертвому телу. Гражданская свобода обусловлена свободой человека у себя дома. Государственные реформы бесполезны, пока существует разлад в семьях».

Его «Потерянный рай» в своем содержании связан с наиболее драматическими событиями середины века.

Принципиальному будто бы «антилиризму» XVII столетия ищут объяснения и в господстве нивелирующей человеческую личность придворной культуры, и в гнете абсолютизма… и в склонности превращать поэзию в изощренную, искусственную формалистическую игру — склонности, отождествляемой, как правило, со стилем барокко. Однако попытки абсолютизма подчинить себе творческие силы нации отнюдь не определяют содержание духовной жизни европейского общества XVII столетия.

Анализируя ход развития английской и французской литератур XVII — XVIII веков, П. С. Коган приходит к выводу: «Англия создавала новые идеи, Франция пускала их в обращение. Из Англии приходят новые литературные направления, Франция облекает их в продуманные теории». «Задача философов облегчалась тем, что перед их глазами находилась страна, уже достигшая в значительной степени гражданской свободы…

и потому дававшая богатый материал, на который могли опереться французские философы». Петр Коган подтверждает это блестящим анализом творчества Вольтера, Руссо, Дидро — великих представителей века Просвещения, давая как всегда подробнейшую характеристику эпохе, в которой творили великие мыслители. Автор «Очерков» фокусирует наше внимание на факте, что в каждой из западноевропейских стран восприятие просветителями исторического и духовного наследия эпохи Возрождения приобретало свой национально-специфический оттенок, вновь и вновь подчеркивая ту глубокую преемственную связь, которая существует между культурой Возрождения и Просвещения, высоко оценивая переломную роль, сыгранную Возрождением в поступательном движении духовной культуры человечества.

В то же время автор «Очерков» не идеализирует деятелей века энциклопедистов, метко и точно подмечая противоречия между их учением и образом жизни. Так, о Вольтере он пишет: «В отношениях между монархами и Вольтером немалую роль играли слабости знаменитого философа. Он не был свободен от тщеславия и корыстолюбия. Враг всяких привилегий, он не совсем равнодушно относился к тому, что находился в переписке со всеми монархами, не исключая и папы. Свое огромное состояние Вольтер нажил, между прочим, пенсиями, литературными доходами и лотерейными выигрышами; он охотно пускался в денежные предприятия. И нравственная роль его в некоторых из них остается далеко не безупречной». О народе же противник абсолютизма говорит следующее: «Народ всегда груб и туп; это быки, которым нужен погонщик, ярмо и корм». Фернейскому мыслителю вторит энциклопедист Дидро : «… который считает его (народ. — *С. Ш.*) от природы бессмысленным, злобным и жестоким, не способным ни к одному здравому суждению ни в нравственных, ни в политических вопросах».

В то же время, давая подробный анализ философских воззрений, самих философов Просвещения, П. С. Коган оставляет без внимания их богатое художественное и творческое наследие. О Дени Дидро он замечает, что «Дидро был не столько художником, сколько теоретиком драматического искусства. Он свел в цельную систему взгляды на драму, высказанные уже до него…». В «Очерках» совершенно не упоминаются художественные произведения как Дидро, так и Вольтера.

Наряду с этим первый том имеет и другие недостатки. Так, например, подробно анализируя жизнь и творчество Данте Алигьери, П. С. Коган упоминает Джованни Боккаччо, чей «Декамерон» сыграл важную роль в развитии народного итальянского языка, лишь в связи с биографией великого поэта, Франческо Петрарка упоминается как бы мимоходом, а такая яркая и знаковая фигура английской поэзии позднего средневековья, как Джеффри Чосер и его «Кентерберийские рассказы», заложившие фундамент всей английской литературы, вовсе остаются без внимания автора «Очерков».

То же касается творчества Клемана Маро, крупнейшего поэта, выдвинутого первым этапом развития французского Возрождения, и Франсуа Вийона, написавшего гениальную «Балладу о повешенных», в которой читателя поражают общечеловеческая глубина эмоций и мыслей, простота и лаконизм, с которыми они воплощены и которые придают им неотразимую захватывающую силу.

Вне контекста «Очерков» осталось и имя Пьера Ронсара, поэта, творчество которого безгранично в своем многообразии и спонтанном размахе. Того самого Ронсара, который в полемике с поэтами-гугенотами бросил знаменитую фразу: «Вы отпрыски моего величия». Творчество французских классицистов и поэтов-романтиков было бы невозможным без литературных завоеваний Пьера Ронсара.

Завершается первый, самый объемный по временному охвату том «Очерков» главой «Романтизм и поэзия «мировой скорби»: «Период господства Гете и Шиллера в немецкой литературе завершает собой XVIII век в Германии. В начале XIX века в европейской литературе выделяются особенно отчетливо два направления: романтизм и так называемая «мировая скорбь»… У нас принято считать, что Гете и Шиллер романтики… Это — глубокое недоразумение. Гете и Шиллер не принадлежали к романтической школе и даже становились иногда во враждебные к ней отношения. Правда, у них были точки соприкосновения с романтиками, особенно в период сближения обоих поэтов — интерес к средним векам, к вопросам искусства, но… и Гете, и Шиллера ни в коем случае нельзя считать представителями романтического направления».

Заключительная глава книги как бы обобщает в методологическом ключе содержание первых глав и одновременно намечает перспективы дальнейшего развития истории национальных литератур и ее приближения к духовным запросам последующих поколений.

Второй том «Очерков по истории западно-европейских литератур», как и первый, пронизан стремлением понять и осмыслить историю литературы, начиная с периода 20-х и 30-х годов XIX века, в эпоху начала разрешения тяжелого кризиса, пережитого Европой в связи с бурными социальными и политическими движениями того времени.

Широкий культурный и социальный размах в освещении литературных процессов, понимание огромного значения таких факторов, как развитие материализма, естественных наук и техники, сочувственное изложение естественно-научных взглядов Дарвина, философии Гегеля — все это на фоне историко-литературных исследований тех лет — таков неизменный методологический подход П. С. Когана. «Я имел в виду обрисовать главные литературные направления с начала XIX века вплоть до наших дней, а также выяснить связь между этими направлениями с одной стороны и социальными и научными стремлениями века — с другой», — предуведомляет читателя автор в предисловии к первому изданию второго тома, вышедшего в 1908 году.

Первые же страницы второго тома вводят нас в эпоху, определяющую развитие и взаимодействие различных литературных течений и направлений. Решающим и определяющим фактором в этом процессе выступает разгром французской революции1789 года и наступившая вслед за тем реставрация монархии, борьба за утверждение буржуазного строя, развитие капитализма, рост промышленного пролетариата и социального движения.

Разочаровавшись в идеалах философии энциклопедистов, идейно подготовивших ужасы Французской революции, Европа пыталась найти утешение в романтических представлениях о жизни. «Во Франции Шатобриан, в Италии Леопарди, в Германии Гейне — все эти поэты, скорбящие о несовершенстве видимого порядка… скорбящие о том, что действительность не соответствует требованиям, заложенным в их душу природой. Это — преемники Вертера и Фауста», — утверждает П. С. Коган. И далее, анализируя творчество ярких представителей романтического направления Новалиса и Байрона, он резюмирует принцип школы романтиков: «Эти поиски во времени и пространстве вытекали из романтического универсализма, из его стремления обнять весь мир, превратить действительность в мечту, поставить мечту выше действительности».

Говоря о творчестве Джакомо Леопарди, П. С. Коган отмечает, что этот поэт, потомок старинного дворянского рода, несчастный, меланхоличный аристократ с «гениальными дарованиями и неумением приспосабливать-

ся к жизни… мог судить о современных событиях только с точки зрения древнего римлянина, миросозерцание которого усвоил при изучении классиков». Он был патриотом своей родины, страстно желал ее политической независимости, но более всего боялся утраты «итальянской речи, царицы между всеми живущими языками».

«Разговоры» Леопарди, написанные в форме коротких диалогов, наиболее верно передают настроение и миросозерцание итальянского поэта. Напрочь отвергая прогресс и видя в нем источник зла, Леопарди гордо заявляет: «Я не намерен предметом своих песен делать нужды века… Дело купцов и лавочников заботиться о них».

По утверждению автора «Очерков», Леопарди был «самый последовательный и законченный из поэтов мировой скорби. Он действительно, в противоположность Байрону и Гейне, ни в чем в мире не нашел ни смысла, ни интереса».

Таким настроениям созвучно мироощущение французского поэта Франсуа Рене де Шатобриана, одному из многих «растерявшихся аристократов, поэтические фамильные предания которых так плохо гармонировали с окружающей их будничной обстановкой». Именно он стоит у истоков школы французского романтизма. Обладая незаурядной поэтической фантазией, богатым воображением, недовольный, как и Леопарди, современностью, Шатобриан помещал героев своих произведений либо в далекое прошлое, времена утонченного эллинизма, Древнего Рима, первых христиан, либо уводил их в дальние страны, противопоставляя при этом «законченным стройным формам классицизма… беспорядочность формы и беспорядочность мысли». По словам Ш. Сент-Бева, Шатобриан «…поразил умы при своем появлении… он обращался к чувствам своих современников, к чему-то более осязаемому — и стал громогласным глашатаем той многочисленной партии, которую реакционное движение 1800 года вернуло к воспоминаниям и сожалениям о прошлом — о благолепии религиозных церемоний, о блеске королевского двора. И это сделало имя его достаточно известным в замках, среди духовенства, в лоне благочестивых семейств».

«Он становится одним из рыцарей католицизма, и его знаменитый «Дух христианства» появляется одновременно с восстановлением христианского культа, с заключением конкордата», — отмечает П. С. Коган. Называя Шатобриана «чутким и правдивым лириком», «истинным певцом реакции, истинным романтиком», автор «Очерков» как бы упрекает его в тщетных стараниях возродить порядок жизни и католическую веру в ее былом величии, не принимая во внимание тот простой факт, что поэт не мог поступить иначе. Потомственный аристократ, он до конца оставался сыном своего сословия, верным роялистом, не принявшим ни французскую революцию, ни власть Директории, ни диктатуру Наполеона, и среди политических бурь и жизненных невзгод нашел утешение в религии и литературном труде.

Заслуженно большое место в «Очерках» отводится английскому реализму, и в особенности творчеству Чарльза Диккенса. Не преувеличивая звучание диккенсовского гуманизма, верно определяя классика английской литературы как радикального интеллигента, Коган превосходно вскрывает объективное значение реалистической сатиры Диккенса. «Бичевать порок — первое орудие в руках Диккенса, — пишет П. С. Коган. — Трогать сердца раздирающими сценами несчастья — его второе орудие». Характеризуя Англию как страну великих коммерсантов, страну, раскинувшую «свою торговлю по всему миру», где коммерсанты являются некоронованными монархами, автор «Очерков» подчеркивает растлевающее могущество

денег — главного действующего лица в империи мировой коммерции. «Англия — классическая страна лицемерия, пуританства и внешней благопристойности», — такой вывод делает П. С. Коган, анализируя произведения Диккенса. «Дух наживы, жажда денег, бешеная конкуренция, все эти блага, которые подарило человечеству позолоченное мещанство, — все это находит в Диккенсе и беспощадного обличителя». Особенность мастерства Диккенса обуславливается убедительностью созданных им характеров в высшей степени колоритных. Диалектическая изобразительность — характерная черта произведений Диккенса как представителя социальной и реалистической литературы. Огромная ценность всего творчества Диккенса определяется, прежде всего, блестящим мастерством реалистической типизации. Гениальный художник, Чарльз Диккенс, этот покровитель «всех покинутых, утешитель всех печалей, защитник всех угнетенных, друг всех страждущих», создал такую широкую картину современной ему Англии, какую не создал ни один из его английских современников.

В то же время П. С. Коган отмечает, что юмор Диккенса богат разнообразными оттенками, смех и шутка, комическое изображение людей и событий нередко помогают смягчить эмоциональный накал изображения социального зла. Веселая шутка, даже буффонада и фарс, вносимые порой совершенно неожиданно в самое серьезное и даже трагическое повествование, характерны для творчества Диккенса.

«Диккенс — сатирик, — говорит П. С. Коган. — Его смех так же жесток, как и его слезы. Этот смех наносит такие же беспощадные раны нашему сердцу, как и его рыдания».

В этом же плане анализируется творчество крупнейшего из французских реалистов Оноре де Бальзака, который, «обнаруживая язвы аристократии и буржуазии, сам не сознавая, давал ценный материал» и тем самым «сыграл роль, которая часто выпадает на долю обличителей: они выставляют напоказ зло, но не им принадлежит честь открытия средств против зла».

«Вы отыскиваете человека таким, каким он представляется вашим взорам, а я чувствую в себе призвание изображать его таким, каким хотела бы видеть». Этими словами Жорж Санд, адресованными Оноре де Бальзаку, П. С. Коган открывает главу об авторе «Человеческой комедии». Характеризуя реалистические направления в литературе первой половины XIX века, Коган пишет: «Подобно Корнелю и Расину, писатель-реалист также подавляет свои внутренние порывы, но на этот раз во имя точного и правдивого изображения… Писатель-реалист сначала изучает ад и рай жизни, а уж затем строит выводы, создает свои политические и социальные идеалы… Никогда литература не описывала таких подробностей, как в эту эпоху».

Говоря о Бальзаке как о человеке и писателе, П. С. Коган подмечает, прежде всего, его деловые качества как сына прагматичного века, его поразительную трудоспособность и самодисциплину. «Он не аристократ-белоручка, а рабочий. Его труд — одновременно и его нравственное удовлетворение, и его средство к жизни». В «Человеческой комедии» Бальзака живут и действуют более двух тысяч персонажей — две тысячи историй человеческой жизни созданы писателем. Как и его великий английский современник, Оноре де Бальзак живет в эпоху царства наживы, эгоизма, всесильной власти денег, грубых чувств. Отсюда приземленный, низкий взгляд на природу человека: «Он видит только мрачные стороны капиталистического строя, мрачные стороны свободной конкуренции, превратившей общественную жизнь в сплошную борьбу за существование».

Выход из создавшегося положения Бальзак, как и Шатобриан, видит в

возвращении к прошлому. По политическим убеждениям он был монархистом, но он был «истинный сын мещанской монархии, монархии лавочников и фабрикантов». И автор «Очерков» резюмирует: «Бальзак — плохой историк; ему трудно видеть, что злоупотребления и недостатки, вызывающие его недовольство современной ему Францией, царили еще в большей степени в ее прошлом».

С особым интересом читатель знакомится с очерком, посвященным Жорж Санд. Острая в ту пору проблема борьбы за женское равноправие нашла в лице П. С. Когана своего страстного поборника. Под пером автора «Очерков» жизненный и творческий путь Жорж Санд органически сливается в документ, звучащий как пламенный манифест в защиту освобождения женщины: «Из писательниц ни одной не было суждено так глубоко заглянуть в сердечную жизнь женщины, как Жорж Санд». Вместе с тем анализ «женских» мотивов в творчестве Жорж Санд сопровождается весьма внимательной критикой идейной противоречивости Жорж Санд и столь сильно сказавшегося на творчестве писательницы «страстного стремления к уничтожению социальной неправды». Страстная поборница свободы, идеолог движения за равноправие женщин, идущая всегда в его авангарде, Жорж Санд к концу жизненного пути отказалась от роли проповедницы. «В те дни, когда зло приходит вследствие взаимного непонимания и ненависти между людьми, призвание художника состоит в том, чтобы прославлять кротость, взаимное доверие, дружбу и напомнить людям зачерствелым или павшим духом о том, что чистота нравов, нежность чувств и первобытная справедливость все еще живут и могут жить на свете», — цитирует французскую писательницу автор «Очерков».

С большой симпатией пишет П. С. Коган о родоначальнике французских романтиков Викторе Гюго: «Он — романтик, потому что поэтизирует действительность, любит исторические сюжеты, которые открывают большой простор для идеализации и фантазии. Он — реалист, потому что никогда не отрывается от действительности, всегда стремится осветить ее, хотя освещает резким и причудливым светом». Коган верно подмечает, что, будучи реалистом по существу и романтиком по форме, автор «Собора Парижской Богоматери» и «Отверженных» сумел соединить оба направления в высокую поэзию и был ее «одновременно и создателем, и единственным представителем». Гюго использует романтические приемы в изображении социальных и политических проблем представителей всех социальных слоев французского общества. «Ему безразлично, — утверждает П. С. Коган, — льются ли слезы угнетенных под сводами собора Парижской Богоматери в XV веке, или в темную ночь на улицах современного Парижа. Ему безразлично, облекся ли эгоизм в яркий наряд средневекового рыцаря, или в прозаическое платье современного фабриканта. Социальное зло его времени занимало его как отражение мирового зла, а не как практическая задача, требующая быстрого решения. В человеке он искал прежде всего человека, а не представителя того или иного класса».

Далее автор «Очерков» замечает, что по мере того, как романтизм сходил со сцены литературной жизни, поэтов начала интересовать все более тщательная отделка формы. Этот культ поэтического слова, этот принцип «искусства для искусства», или чистого искусства, нашел своих талантливых представителей, ярчайшим из которых является Бодлер.

Тонким анализом и глубоким проникновением в сущность творчества отмечена в «Очерках» характеристика Бодлера. В отличие от декадентских преемников Бодлера, равно как его безоговорочных хулителей, П. С. Коган рассматривает *внутреннюю* трагедию творца «Цветов зла» с его неутолимой страстью к высоким идеалам общественной справедливости и наряду

с этим погружение в грязь порока на почве бессильного разочарования. «Бодлер — одинокая душа в самой гуще жизни. Бодлер — это Манфред в модном костюме, Чайлд-Гарольд парижского бульвара», — такую характеристику дает поэту П. С. Коган. Он отмечает, что «Цветы зла» Бодлера были встречены бурей негодования. Их «одуряющий аромат», отразивший пороки современного человека в самом неприглядном виде, шокировал французское общество. Однако более дальновидные и чуткие критики «увидели за картинами разврата и неестественных порывов грустное и серьезное лицо поэта… сочетание глубокой чувственности и христианского аскетизма».

С большой симпатией и сочувствием говорит автор «Очерков» о жизни и творчестве великого немецкого поэта Генриха Гейне, воспринявшего с юности всем сердцем «атмосферу универсальных притязаний романтизма». Характеризуя Гейне как поэта, полного «романтического томления и романтических грез», П. С. Коган в то же время отмечает, что он был последним романтиком и «первым вестником новых задач поэзии».

И здесь нельзя согласиться с критикой профессора Я. Металлова, высказанной в предисловии к десятому изданию второго тома «Очерков», вышедшего в государственном издательстве «Советская наука» в 1941 году. Давая в целом положительную оценку работе, он упрекает П. С. Когана в чрезмерно «биографическом» истолковании художественного творчества писателей, в частности, в излишнем «биографическом» акценте на характеристике Г. Гейне, «моральная и политическая «изломанность» которого была явно преувеличена». Однако драматическая, полная трагизма судьба поэта, политические преследования, которые начались с выхода его первого крупного произведения «Путевые картины», травля, организованная его литературными противниками, красноречиво свидетельствует о моральной и политической изломанности Гейне, поэзия которого «была последней яркой вспышкой угасающего романтического пламени, в последний раз озарившего мир причудливым фантастическим светом».

Далее оппонирующий рецензент пишет: «Но при всех достоинствах «Очерков» и добрых стремлениях автора в самой методологии труда есть некоторые недостатки. Прежде всего, читатель не может не отметить с сожалением явную недостаточность в «Очерках» эстетического анализа произведений, их жанровых особенностей, художественных достоинств и недостатков». Здесь, в защиту позиции П. С. Когана будет уместно вспомнить слова Жорж Санд, приведенные автором в первой главе второго тома: «Я люблю, — говорит она, — сперва посмотреть на то, что описываю». Этот принцип в полной мере характерен для автора «Очерков», который относился с большой любовью к своему труду, тщательно изучал свой предмет, все то, о чем говорил так интересно и увлекательно. Анализ произведения того или иного автора иллюстрируется тщательным, всесторонним разбором, подробным пояснением идейной основы произведения, сюжетной линии, его идеологической направленности, эстетической значимости.

Нельзя также согласиться с профессором Я. Металловым в том, что: «На идейный же анализ произведений, как это нетрудно заметить, немалое влияние оказала культурно-историческая школа, вследствие чего такие понятия, как «среда» и «эпоха», нередко трактовались чрезвычайно отвлеченно и обобщенно, без учета той роли, которую данное творчество играло в социальной борьбе в определенной конкретно-исторической обстановке».

Здесь необходимо отметить, что почти каждая глава «Очерков» предваряется детальной и подробной характеристикой той или иной эпохи. Достаточно бросить беглый взгляд на оглавление второго тома: «Главные куль-

турные факторы на заре XIX века», «Промышленный переворот», «Машины», «Капиталистический способ производства», «Рабочий вопрос», «Три стадии в истории борьбы рабочих с предпринимателями», «Феодал и крепостной средних веков, капиталист и рабочий XIX века», «Женский вопрос во время революции», «Дарвинизм», «Закон эволюции» и т. д.

П. С. Коган дает подробную, скрупулезную и детальную картину каждого временного отрезка, в которой действуют герои его «Очерков».

Безосновательными представляются также упреки в том, что в монографии об Ибсене П. С. Коган сделал особый акцент на влиянии природы на творчество великого норвежского драматурга. В частности, профессор Металлов пишет: «…отсюда непомерно большое влияние «природы Скандинавии» на Ибсена, вместо отмеченного Ф. Энгельсом решающего фактора — социально-исторических условий развития Норвегии». В этом замечании прослеживается явное стремление рецензента уложить биографию великого норвежского драматурга в прокрустово ложе марксистской идеологии.

Нельзя также согласиться со следующим абзацем критики: «Порочна тенденция автора «Очерков» представить позитивизм как совершенно реалистическое направление, а натурализм, и в частности творчество Золя, — как подъем реалистического искусства, в то время как натурализм явственно знаменовал собой начало снижения и распада реализма. Чрезмерно выделяя «животные инстинкты» в показе Золя рабочих, автор недооценивает остроты протестантских мотивов, которыми насыщено золяистское изображение пролетариата».

Однако нельзя не согласиться с П. С. Коганом, что ни один писатель, кроме Эмиля Золя, так точно и почти по-журналистски документально не изобразил жизнь рабочих: тяжелые условия труда, ужасающий быт, беспросветное, бездуховное, почти животное существование, и поэтому натурализм в романах Золя только подчеркивает реалистическую картину нелегкой доли французского пролетариата.

«История — лучшая защита против модных увлечений, скороспелых суждений, против обаяния фраз и непродуманной веры в недолговечных учителей и духовных вождей». Этими словами П. С. Коган открывает третий том «Очерков по истории западно-европейских литератур». Оставаясь верным своей методике, автор старается проследить развитие литературных и философских направлений в ходе исторического процесса, выявить их корни в прошлом, определить условия, при которых они возникли, отметить их роль в общем развитии идей. Особый акцент П. С. Коган делает на закономерности исторического процесса, говоря о том, что современная ему европейская литература является логическим продолжением предшествующих литературных течений, которые воплотили духовные ценности прошлого. Продолжая начатое во втором томе исследование творчества Ницше, «певца последних героических усилий господ мира», и Ибсена, «истинного символиста», творца «нового театра, построенного на развитии внутренней драмы», который «переместил центр тяжести из жизни в человеческую душу», П. С. Коган дает широкую и развернутую картину политической, социальной и культурной жизни, на фоне которой формировались идеи их творчества, вызвавшего к жизни новую поэзию и философию. Здесь философия и поэзия переплетаются, дополняя друг друга, обогащая, вытекая одна из другой. «Счастье мужчины: *я хочу.* Счастье женщины: *он хочет*». Это изречение Заратустры может быть поставлено девизом ко всем женским характерам, изображенным в ибсеновских пьесах», — так определяет П. С. Коган взаимодействие и параллели в творчестве Ницше и Ибсена.

Исследование этих параллелей предваряется разбором теории немецкого философа Макса Штирнера, идеолога «внутреннего мира личности», философия которого оказала большое влияние на творчество Ницше и Ибсена. Анализируя книгу «философа индивидуализма» «Единственный и его собственность», которая, по словам автора «Очерков», «в более яркой и оригинальной форме выражает основные идеи ницшеанства», П. С. Коган занимает резко критическую позицию и, обосновывая ее, дает пространный пассаж из труда немецкого философа: «Революция не только не раскрепостила личность, она закрепостила ее такому монарху, которому уже нельзя противопоставить ничего. Прежние монархи считались с привилегиями отдельных лиц. «Нация» взяла себе все… Словом, равенством политических прав оказалось полное обезличение индивидуума перед лицом государства… Политическая свобода означает только, что государство свободно… Никто не смеет нам приказывать. Но перед государством мы рабы… Социализм стремится к еще более тяжкому закабалению личности… Социализм хочет превратить всех в неимущих, в «оборванцев» перед лицом верховного собственника — общества. Теперь гражданин, т.е. безличный раб государства — почетный титул».

Резко критикуя индивидуалистическую философию Штирнера, выразителя «современных порывов индивидуализма», за отсутствие нравственности, любви, чувства долга, готовности к самопожертвованию ради ближнего, ради идеи, и обосновывая критику модными в то время социальными идеями о переустройстве жизни, П. С. Коган утверждает, что «…“Единственный” Штирнера мог появиться только в эпоху всеобщей бешеной конкуренции, что эгоизм, который он возвел в культ, лежит в основе держащегося на нем строе… есть верное отражение капиталистического строя жизни».

Далее проводя некоторые параллели в творчестве Ибсена и Метерлинка, автор «Очерков» утверждает, что их поэзия «вытекает из общего источника: из стремления вернуться к внутреннему миру человека».

«Метерлинк, повторяем, — не только один из даровитейших поэтов символизма. Он — истинный теоретик и философ школы. Его «Сокровище смиренных» — итог дум и стремлений современных мистиков и эстетов. Два мира, два начала человека, тоска по истинной, самостоятельной, внутренней жизни души, по утраченной личности — вот главная тема произведений Метерлинка, угадавшего и отразившего психику современного ему общества. Метерлинк — глубочайший философ этой раздвоенности современной личности… Его эстетическое учение является источником, откуда произошла современная стилизация и метод расположения фигур по барельефам и фрескам и стремление к «театру синтезов». В основе всех этих исканий лежит идея Метерлинка о двух началах в человеке, о самостоятельной жизни души», — резюмирует автор «Очерков». Метерлинк, по мнению П. С. Когана, «пытается примирить старое с новым, веру с наукой, мистическую справедливость с социальной. В этой путанице понятий главная причина его неудачи. Он чувствует, что бессилен овладеть смыслом исторического процесса. Он проповедник равенства и сострадания, тех «духов», которые были ненавистны Штирнеру и Ницше и от которых они не могли вполне избавиться, как не может избавиться и Метерлинк… Как ни далеки друг от друга Ибсен и Метерлинк, но они оба — поэты эпохи кризиса буржуазного общества».

Эти же параллели, рожденные временем и социальными условиями жизни, П. С. Коган находит в творчестве Оскара Уайльда: «Метерлинк создал учение о двух мирах. Он позволил мятущемуся духу уйти от «великой несправедливости» в иной мир. Оскар Уайльд научил общество смотреть

на действительность сквозь призму своего воображения. Он показал миру, как можно вкладывать в видимые явления любое содержание. В эпохи, напоминающие наше время, эстетизм и отчаяние нередко шли рука об руку. Байрон был одновременно и пессимистом, и романтиком. Мир вымыслов и чарующей лжи — естественный выход для бессилия перед жизнью и ее загадками». Источник новой эстетики, — утверждает П. С. Коган, — ненависть к точному исследованию и научному познанию действительности. В основе ее лежит то же стремление, что обусловило индивидуалистическую поэзию Ибсена и дуалистическую философию Метерлинка — стремление отделить личность от мира, возвести в культ ее субъективные представления. Мир, как нечто реальное, совершенно исчезает, а единственно важным становится наше представление о нем. Искусство есть единственная реальность. Оскар Уайльд, по мнению Когана, довел эту идею до ее крайнего выражения: «Литература предупреждает Жизнь. Она не списывает с нее, но переделывает для своих целей. Жизнь держит зеркало перед Искусством и воспроизводит какой-нибудь странный образ, созданный художником или скульптором, или осуществляет в действительности то, что грезилось вымыслу». Не жизнь создает искусство, а Искусство создает Жизнь, — таково эстетическое кредо Оскара Уайльда.

И далее, развивая тему философии современного индивидуализма, П. С. Коган высказывает следующую мысль: «Ницше, Метерлинк и Уайльд указали только три пути, на которых, оставаясь в пределах вкусов и понятий буржуазного общества, личность может осуществить себя вполне. Пшебышевский указывает четвертый. У Ницше — это эгоизм, служение своему «я»», у Метерлинка — мистическая жизнь души, у О. Уайльда — игра воображения, искусство. Пшебышевский присоединяет к ним сладострастие. Штирнеру и Ницше история представлялась вечной борьбой «духов» с эгоизмом нашего «я». О. Уайльд видел в истории борьбу правды с вымыслом. Постепенное освобождение вымысла из-под власти гнетущей человеческой правды. И с радостью указывал в прошлом человечества те моменты, когда оно приближалось к сознанию, что только обман, вымысел является единственной реальностью. Ницше написал «Заратустру», Метерлинк — «Сокровище смиренных», Оскар Уайльд — «Замыслы», Пшебышевский — «Синагогу Сатаны». Эти четыре книги — четыре откровения для современного мятущегося общества… Модернизм завершил свое дело. Он озарил хаос современной жизни феерическим светом… Он указал и пути освобождения устами его величайших представителей…»

По мнению автора «Очерков», идеологи буржуазно-индивидуалистической философии, Ницше и Ибсен утверждают, что путь к освобождению — культ своего «я», равнодушие к страданиям других. Метерлинк признает жестокость человеческого жребия, мистическое уединение, в котором душа может прислушиваться к тайнам бытия. О.Уайльд заявляет, что путь освобождения — это фантазия, эстетический экстаз. Пшебышевский возвел в культ половой экстаз, порок и преступление. Философское кредо Кнута Гамсуна, выраженное в трилогии «Виктория», «Голод», «Пан», — иррациональное, безумное состояния души. Истинных путей освобождения, по мнению Когана, они не знают: «…другого мира, того мира, который несет в себе новую жизнь, они не видят и не увидят, потому что их поэзия — это грустный гимн умирающему, а не радостный привет рождающемуся».

Автор завершает третий том фразой, смысл которой созвучен предисловию к его первому изданию: «Господство новой поэзии будет длиться до тех пор, пока будет длиться начавшаяся уже агония буржуазного мира, потому что эта поэзия есть не что иное, как ее выражение».

Автор «Очерков» был свидетелем и очевидцем этой агонии, но радости не получилось, не получилось и торжественного гимна. Потому что восторжествовал совсем иной индивидуализм, совсем иной культ «я», но не индивидуального, личностного ницшеанского «я», не глубоко отстраненного, внутреннего мира Метерлинка, а того государственного, всепоглощающего, всенивелируещего, жестокого, беспощадного и равнодушного к страданиям других мира, о котором предупреждал Штирнер, о котором писал Дмитрий Мережковский в «Грядущем хаме».

Необходимо отметить, что в «Очерках» прослеживается явная марксистская направленность, отражающая во многом настроения неспокойной и бурной эпохи брожения умов, моду на популярные в то время идеи. Автор как бы между строк требует от литературы обязательной борьбы за социальную справедливость, непрестанно отсылая гневные инвективы в адрес несправедливого мироустройства вообще и современного ему буржуазного общества в частности, не оставляя за литератором права на исключительную индивидуальность, творческую свободу, эстетическую отрешенность, осуждая его за пассивную созерцательность, требуя активного участия в борьбе за переустройство несправедливого общества. Все происходящие в обществе процессы, в том числе и процесс творчества, основанный на самых капризных вдохновениях гения, наитии и особой интуиции, П. С. Коган объясняет чисто экономическими законами. В частности, он утверждает, что: «В эпоху… торжества феодализма… герцоги и графы верили, что понятие «белой кости» — извечное понятие, а не результат известной формы производства».

«Если бы кто-нибудь попытался рассказать бичующемуся фанатику Средних веков, что… его рабский ужас перед непонятными целями всемогущего Бога являлся результатом тогдашних форм хозяйственной жизни…».

«В настоящее время мы знаем, что «абсолютная» красота, стоящая вне времени и пространства, существует только в воображении умов, склонных по примеру теологов и метафизиков наполнять мир силами и духами, легко и просто объясняющими всякую нашу потребность, всякий наш вкус, создавшийся из вполне уловимых реальных условий».

Автор «Очерков» не согласен, что объяснять причины «хода жизни» вне логики и систем, искать у высших сил ответа на мучающие общество вопросы и сомнения присутствием «духов» и тайных сил для литературы куда привлекательней, чем обосновывать их плоскими и скучными экономическими выкладками, лишенными души, эмоций, радостей и надежд.

Однако, несмотря на явный социальный акцент «старательного марксиста», «Очерки» читаются с захватывающим интересом. Широта эрудиции, глубина мысли, прекрасный язык, стройная логика изложения фактов, всесторонний научный подход к предмету, масштабный размах исследований создают впечатление, что читаешь не фундаментальный научный труд, а увлекательный литературно-исторический роман в трех томах.

Успех этого первого труда, а к концу 1913 года было продано более 150 тыс. экземпляров «Очерков», обеспечил П. С. Когану материальную независимость и способствовал осуществлению его желания: после сдачи магистерских экзаменов он утвержден приват-доцентом Петербургского университета с правом читать лекции и одновременно избран профессором Высших женских курсов имени Лесгафта.

Во второй половине 1910-х годов П. С. Коган ездит по России с лекциями: «Литература сегодняшнего дня — А. Блок, И. Бунин, Н. Никандров, И. Сургучев, И. Замятин», «Борьба модернизма и реализма в литературе», «Женщина в поэзии и жизни», «Побеждающая жизнь» и др.

Маршрут ученого пролегал по Центральной и Южной России, Уралу, Поволжью. Как лектор Петр Коган пользовался огромной популярностью: профессиональное владение предметом, прекрасные ораторские данные, личное обаяние собирали на его лекции полные аудитории — они неизменно проходили с аншлагом.

В то же время слушатели нередко отмечали упрощенность его подхода к литературным явлениям, политизированную окраску некоторых выводов. Так, вначале П. С. Коган признавал определенные достижения в декадентстве с его эстетизмом и ницшеанством, т. к. с помощью «призрака красоты и свободы» художники расчищали «авгиевы конюшни жизни». Популярные в интеллектуальных кругах начала XX века идеи ницшеанского индивидуализма и «титанизма», идеология «сверхчеловека» создали культ «аристократической личности» Ницше. П. С. Коган симпатизировал этой новой, эпатажной философии, однако значительно позже он аттестует ницшеанство резко и безапелляционно: «Ницше отнимал у человечества лучшую гарантию культурного существования и превращал землю в арену кровавой борьбы, густой лес, населенный хищными зверями…», а время смелых и эпатажных экспериментов, направлений и течений в литературе он охарактеризует как «…эпоху расцвета реакционного символизма и декадентства».

С той же категоричностью он меняет свое отношение к модернистам, упрекая их в изоляции от общества, углублении в собственные переживания. Окончательно суровую оценку Когана модернизм получил в лекции «Побеждающая жизнь» как явление, порожденное презрением к реальности и духовным бессилием.

Коган придавал большое значение анализу вкусов и эстетических эмоций, определяемых конкретным историческим моментом, считал, что «скоропреходящие сенсации» могут дать современному зрителю больше, «чем создания Эсхила и Фидия».

Понимание П. С. Коганом марксизма как теории, полностью отрицающее «значение личности, исчезающей за реальными интересами класса», привело его к убеждению, что в художественном произведении механически воспринимаются идеи, чувства и настроения, сложившиеся в обществе под влиянием групповых интересов. Индивидуальность, талант, по его мнению, не играют никакой роли, так как художник является «проводником» творческой энергии масс. Он придерживался точки зрения, что художник всегда будет служить «господствующим группам», так как они обеспечивают ему свободу творчества, давая материальную независимость. Но и у демократии, считал он, есть шанс привлечь художника на свою сторону — создать обстановку, открывающую простор творческому духу.

Сформулированные Петром Коганом с особой категоричностью принципы социалистического литературоведения дали основание Б. М. Эйхенбауму назвать его «старательным марксистом», отметив в то же время присущее Петру Когану самолюбование.

В этом смысле интересны взаимоотношения между Петром Коганом и Валерием Брюсовым. Познакомившись на студенческой скамье Московского университета в 1890-е годы, основавшие кружок любителей западноевропейской литературы и ставшие затем идейными противниками, много лет спустя они снова сойдутся, чтобы сотрудничать в Наркомпросе и ВЛХИ. Сохранилось письмо Валерия Брюсова Петру Когану, датированное 8 ноября 1922 года. В частности, он пишет:

*Многоуважаемый Петр Семенович!*

*…Случилось так, что по разным обстоятельствам в нашем институте в этом году замедлилось начало всех курсов по общ.-политическим*

*наукам. Студенты 1-го курса остаются без надлежащего руководства в этой области. Между тем читаются курсы «логики» (М. Григорьев) и историч. поэтика (Якобсон), в которых лекторы, поневоле, касаются вопросов, связанных с историей философии. И Григорьев, и Якобсон, как вы знаете, — не марксисты. Является настоятельная необходимость спешно начать курс, которым студенты 1-го курса были бы определенно введены в круг воззрений исторического материализма.*

*Отсюда ясна моя просьба, и очень-очень убедительная. Не можете ли вы немедленно начать ваш курс ист. материализма? Это, повторяю, крайне необходимо. Если вы не можете в этом триместре вести 2 курса, я предпочел бы, чтобы вы временно отложили «Введение в историю зап. литератур», но прочли бы хотя бы несколько лекций по историч. материализму. Или же, если это противоречит вашему плану этого курса, вы, может быть, нашли бы возможным (хотя бы в ваши часы) прочесть 3—4 отдельных лекций, в которых осветили бы явления философии, особенно теорию познания, с точки зрения марксизма. Для вас это не трудно, соответствующие работы, конечно, у вас под рукой, а институту это чрезвычайно нужно. Итак, еще раз очень и очень прошу вас об этом.*

*Уважающий вас Валерий Брюсов.*

В 1917 году, увлеченный бурными политическими событиями, он работает внештатным корреспондентом газет «Южный край» и «Власть народа», посылая статьи на злободневные политические темы. В это же время Петр Коган занимает позицию, близкую к плехановской, резко критикуя тактику и поведение большевиков, и по идейно-политическим соображениям примыкает к органу меньшевиков «Единство».

После Октября 1917 П. С. Коган принимает участие в ряде мероприятий и организаций в сфере культуры. В 1918 году он назначается на пост профессора и члена правления Смоленского университета, а в период с 1921 по 1930 годы занимает должности профессора 1-го и 2-го МГУ, Всесоюзного литературно-художественного института, Исследовательского института археологии и искусствоведения, председателя Государственного художественного комитета Наркомпроса. Занимая ответственные посты в большевистском правительстве, П. С. Коган всячески старался оказывать поддержку молодым советским писателям. С 1921 года он становится бессменным президентом Государственной академии художественных наук и, по словам Марины Цветаевой, был «ангелом-хранителем» и «ходатаем» по земным делам деятелей литературы и искусства.

Большинство основополагающих научных трудов Петра Когана были опубликованы при жизни автора, ушедшего в мир иной 5 мая 1932 года в Москве. Его фундаментальный классический труд «Очерки по истории западно-европейских литератур» был в последний раз напечатан 10-м изданием в 1941 году издательством «Советская наука» и является теперь большой библиографической редкостью.



Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

# *Пантеон женских сердец*

## Сильвия ПЛАТ
(27 октября 1932 года — 11 февраля 1963 года)

***Люди могут забыть, что вы сказали. Могут забыть, что вы сделали. Но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать.***

Майя ЭНДЖЕЛОУ (1928—2014),
американская поэтесса

Так кто же это такой, американец, задаемся мы иногда резонным вопросом, читая сводки последних новостей, пестрящих сообщениями об этих самых американцах и об их славных и не очень славных деяниях. Кстати, без какой бы то ни было привязки к гендерным различиям. Американец, американка… Какая разница? Не в этом ведь дело! Вопрос в другом. Что за человек создал могучую страну на другом полушарии под названием Соединенные Штаты Америки? Откуда он взялся и как попал туда? Как сумел соорудить на обширных пространствах Нового Света огромный плавильный котел, в котором плавились и продолжают плавиться сотни национальностей и народов, давая на выходе новый тип (а может быть, и генотип) *homo sapiens* под названием «американец»? Вопрос для всех нас, тех, кто, как поется в одной популярной песенке, «был сделан в СССР», отнюдь не самый праздный. Ибо, как это ни обидно, приходится признать очевидное, а именно: грандиозный проект по созданию так называемого *homo soveticus* на просторах нашей некогда необъятной родины успешно провалился. Почему и как, не об этом сейчас речь. Иное дело — американцы! Те пока не спешат расписываться в собственной несостоятельности. Напротив! Уверенно демонстрируют чудеса консолидации нации перед лицом все новых и новых вызовов, которыми полнится история уже нашего времени. И пока успешно, более или менее, справляются со всеми проблемами, с которыми сталкивается их страна. Так в чем секрет? В чем фишка, как любят говорить сегодня молодые.

Неужели правы те, кто на полном серьезе заявляют, что Америку вместе с заселившими ее людьми создал Голливуд и только Голливуд? Неужели именно красочные вестерны, роскошные мюзиклы, крутые детективы в стиле нуар и душераздирающие мелодрамы с обязательным хеппи-эндом воспитали в американцах все те качества, которыми нельзя не восхищаться? Умение работать, работать много и взахлеб, не чураясь при этом никакой работы, умение держать удар (keep smiling, если по-английски) и сопротивляться на ринге жизненных испытаний до последнего, умение подниматься после падения и упрямо продолжать идти вперед, памятуя о том, что, как справедливо заметил в свое время Курцио Малапарте, *«Ничто не потеряно до тех пор, пока не потеряно все»*.

Наверное, все правильно, и Голливуд внес-таки свою лепту, весомую лепту, в формирование американского характера, за что ему честь и хвала. Но далеко не он один! Ведь в реальной жизни все не так однозначно просто и по-киношному красиво. На самом деле процесс становления американской

нации и конкретно каждого американца растянулся на несколько столетий, и процесс этот не прекращается и сегодня. Естественно, первыми приходят на ум переселенцы, так называемые «люди Фронтира», те самые пионеры, которых необыкновенно талантливо и красочно воспел в своих знаменитых романах Фенимор Купер. Помните? Ведь все мы, за самым малым исключением, отдали в детские годы дань этому замечательному романисту, можно сказать, основоположнику современной американской литературы.

Среди разношерстной и разномастной публики первых переселенцев попадались всякие: от откровенных преступников, бродяг «перекати-поле», авантюристов и ссыльных бандитов до добродетельных кальвинистов и прочих диссидентов, бежавших прочь от религиозных притеснений у себя на родине. И весь этот многоликий народ (а иногда и откровенный сброд) пестрой толпой бесстрашно двигался вперед и только вперед. На Запад, туда, где простирались и манили к себе обетованные земли Северной и Южной Дакоты, Канзаса, Небраски, Вайоминга, туда, откуда уже явственно доносился мощный рокот волн Тихого океана. Они шли пешком, ехали на повозках (редкие счастливчики!) долгие недели и месяцы, преодолевая на своем пути массу препятствий и самых головокружительных приключений, во многом уподобляясь любимому герою самого Купера, его Зверобою по имени Натти Бампо. Не все добирались до конечной точки своего путешествия, многие погибали в пути, не выдержав тягот странствий. Иных и вовсе убивали, чтобы не мельтешили понапрасну и не путались под ногами у других, более сильных, более стойких и более приспособленных ко всем испытаниям судьбы. Но несмотря на болезни, голод, опасности, подстерегавшие отважных пионеров буквально на каждом шагу, все они с каким-то поистине мессианским неистовством первых христианских пилигримов, отправившихся по Святым местам, продолжали упорно следовать своим курсом, медленно, но неуклонно сдвигая границы государства, тот самый «фронтир», все дальше и дальше на Запад.

Как известно, освоение западных территорий американского континента продолжалось вплоть до 1890-х годов, а потому «люди Фронтира» оставили глубокий след в истории становления США. Но не менее глубокий оставили и так называемые *self-made men,* то есть те американцы, которые «сделали себя сами», как буквально переводится сие словосочетание на русский язык. Это уже потом они предстали перед нами во всей своей ослепительной красе со страниц романов Скотта Фицджеральда и Теодора Драйзера, это уже потом они завоевали тот самый Голливуд, увенчавший создателей фильмов о *self-made men* многочисленными «Оскарами» и памятными знаками на Аллее Славы. А вначале все эти «герои-любовники по-американски» появились в реальной жизни и с тем же неистовством первых пионеров принялись ковать свои личные состояния, опираясь только на самих себя, впрочем, не брезгуя при этом ничем. В ход пошло все: собственная изворотливость, инициативность, талантливость (если она имелась), беспринципность (почти всегда), всеядность и полное попрание всех цивильных норм на пути к обогащению. Да и то верно! Какие могут быть нормы, когда речь идет о деньгах? Недаром именно в Америке родилось выражение, вдруг странным образом оказавшееся востребованным и в нашей противоречивой действительности и даже ставшее по-своему очень даже популярным в среде уже наших доморощенных *entrepreneurs*, то бишь предпринимателей: *«Извини, приятель! Ничего личного! Только бизнес».*

Но коль скоро есть такие авантажные герои-любовники, то рядом с ними (или где-то поблизости!) обязательно должны быть и героини, не уступающие в своей притягательности мужчинам, добивающимся

их взаимности. Куколки с внешностью Мерилин Монро и железной хваткой Хиллари Клинтон. Впрочем, не только очаровательные «бебе» в стиле куклы Барби или мужеподобные феминистки, пылко ратующие за гендерное равноправие даже на кухне и в чулане собственного дома, составляют золотой генофонд женской половины Соединенных Штатов. Как тут не вспомнить утонченных леди все из тех же — повторюсь! — любимых нами с детства романов Фенимора Купера из цикла о Кожаном Чулке.

Помнится, лет десять тому назад мне довелось переводить серию очерков признанного английского классика Дэйвида Герберта Лоренса, посвященных американской классической литературе. Назывались очерки предельно просто: «Возвращение к началу», и первый из них был посвящен как раз творчеству Фенимора Купера. Захватывающе интересный материал! Очень надеюсь, что он, будучи опубликованным в свое время на страницах журнала «Всемирная литература», не затерялся втуне и нынче хранится где-нибудь в уже оцифрованном виде, пусть и в самых дальних запасниках нашей Национальной библиотеки. Откуда его может, при желании, извлечь любой заинтересованный книгочей. Хотелось бы верить!

Так вот, рассуждая об особенностях творческой манеры Купера, о сюжетах его романов и перипетиях судеб главных героев, Лоренс не без легкой иронии отмечает несомненную тягу Фенимора Купера к мифотворчеству. Как вам, к примеру, вот этот пассаж из эссе, посвященного разбору романа «Зверобой»?

*«Счастливые, беззаботные дни молодости героя. Всегда прекрасная погода, и даже с трудом верится, что в этих местах может быть сыро, холодно, грязно, особенно когда зарядят затяжные дожди. Разве среди этих благословенных красот можно простудиться, промочить ноги или мучиться от зубной боли? Все герои благоухают свежестью, даже если они не моются по неделям. Бог его знает, на кого были похожи женщины, которые путешествовали со своими мужьями по диким просторам Америки, зачастую не имея при себе ни мыла, ни гребенки, ни полотенца. На завтрак, обед и ужин одно и то же дежурное блюдо: большой кусок мяса, если оно еще имелось в наличии.*

*Какова бы ни была правда жизни, но в книгах Купера все героини элегантны, как и положено истинным леди, безупречно одеты и причесаны в любое время дня и ночи. Что, конечно же, очень далеко от реальности. Стоит только постранствовать неделю-другую в допотопном фургоне, чтобы убедиться в этом. Но Купер ведь пишет не реалистический роман, он творит миф. И именно под таким углом зрения следует читать роман: красивый миф, действительность, увиденная писателем сквозь розовые очки».*

Что ж, кое в чем можно согласиться с Лоренсом, а о чем-то можно и подискутировать. Невольно на ум приходит другая точка зрения, озвученная сто с лишним лет тому назад великим соотечественником автора «Любовника леди Чаттерлей». Конечно же, я имею в виду Оскара Уайльда, который с присущей ему тягой к парадоксальности суждений на полном серьезе заявлял в своих философских эссе, объединенных общим названием *'Intentions'* («Замыслы»), что это не жизнь формирует искусство, а именно искусство создает настоящую реальность под названием «жизнь».

И в подтверждение цитата из его эссе «Упадок лжи», которую привожу в собственном переводе.

*«Всю свою жизнь Шопенгауэр посвятил изучению и анализу пессимизма, как основного направления современного мышления, а ведь придумал пессимизм Гамлет. Весь мир погрузился в печаль из-за того, что*

*какая-то марионетка предалась приступу меланхолии. Нигилист, этот странный мученик не от мира сего, ни во что не верящий, готовый взойти на эшафот и умереть за идеалы, которые он не разделяет, есть явление исключительно литературного порядка. Сам характер придумал Тургенев, а потом его развил Достоевский. Робеспьер вошел в реальную жизнь со страниц книг Руссо, а Национальное учредительное собрание является всего лишь побочным продуктом беллетристики. Ибо литература всегда предвосхищает жизнь. Она ни в коем случае не копирует ее, она ее моделирует сообразно собственным целям».*

Вот такие вот парадоксальные мысли высказывал когда-то великий остроумец и блестящий мастер афоризма Оскар Уайльд. А приняв его точку зрения, мы будем вынуждены согласиться и с тем, что тип утонченной американки, как ее описал в своих романах Фенимор Купер, действительно вначале возник на бумаге, а уже потом перекочевал в реальную жизнь и стал стремительно завоевывать не только Новый, но и Старый Свет. В этой связи уместно вспомнить, к примеру, что отец Уинстона Черчилля был женат на американке. А значит, рафинированности в облике юной особы по имени Дженни Джером, дочери богатого фабриканта, было вполне достаточно, чтобы удовлетворить строгие требования семейства герцогов Мальборо. И опять же, деньги! Словом, *«money, money, money»,* как поется в известном голливудском мюзикле «Кабаре».

Но если оставить в стороне всяческие матримониальные и прочие союзы, то скажем так. Как бы то ни было и какими бы извилистыми путями ни шел процесс формирования уже женской половины населения Соединенных Штатов, а на выходе мы имеем тип американки с почти устоявшимся набором качеств, вполне сопоставимых, кстати, с характеристиками одной героини из нашей старой и всеми любимой кинокомедии. Помните? Красавица, отличница, спортсменка… разве что не комсомолка. Зато обязательно, хоть немного и хоть чуть-чуть, но леди! Вот и наша героиня… всех этих качеств у нее, как говорится, с лихвой. Истинная *cover girl,* то есть, если по-русски, то «девушка с обложки». А на обложках иллюстрированных журналов, сами знаете, не помещают фотки «абы кого».

Вот таким неожиданно долгим и, быть может, даже изрядно затянутым получилось у меня вступительное слово, предваряющее начало нашего с вами разговора, глубокоуважаемый читатель, о героине очередного очерка «Пантеона женских сердец». Я имею в виду замечательную американскую поэтессу (точнее, поэта в самом высшем понимании этого слова) Сильвию Плат. Впрочем, без этих предварительных медитаций разговор о великой американке мог бы и вообще не получиться. Однако обо всем по порядку, и как всегда, *ab ovo,* то есть, с самого начала.

С творчеством Сильвии Плат я познакомилась благодаря незабвенному Юрию Михайловичу Сапожкову (царствие небесное этому чудному человеку и прекрасному поэту!). И произошло сие заочное знакомство всего ничего! — каких-то десять лет тому назад. Ибо именно в конце 2005 года Юрий Михайлович предложил мне для перевода документальный роман-исследование Дианы Миддлбрук под названием «Неодинаковые двое», посвященный истории жизни и супружества двух великих поэтов XX века: англичанина Теда Хьюза и американки Сильвии Плат. Надо сказать, что у Юрия Михайловича был необычайно тонкий редакторский нюх на поиск прекрасных материалов, написанных в жанре популярного в те годы нонфикшн. Его выбор всегда отличали безупречный вкус и несомненные литературные достоинства самих переводимых произведений. К слову говоря, очерки Лоренса, опубликованные на страницах «Всемирной литературы» годом ранее, я тоже взялась переводить по наводке Юрия Михайловича.

Само собой, я согласилась на перевод книги с большим удовольствием, частично потому, что на тот момент знала и любила поэзию Хьюза (его, между прочим, очень здорово переводил и сам Сапожков), а частично, потому что Сильвия Плат была для меня абсолютно незнакомым именем. Я ничего не читала из ее поэзии и ничего не знала о ней самой. Что и неудивительно. Книг с ее переводами у нас еще на тот момент не было, первый сборник избранной поэзии Сильвии Плат появился лишь в конце 2008 года в серии «Литературные памятники». Те же переводы, что гуляли по интернету, были настолько корявыми и далекими от совершенства, что отбивали всякую охоту знакомиться с творчеством поэтессы в оригинале. А тут представился такой случай, грех отказываться.

И вот во втором номере журнала «Всемирная литература» за 2006 год появилась публикация книги Дианы Миддлбрук. Разумеется, журнальный вариант, то есть со значительными купюрами и сокращениями. Помнится, именно необходимость кромсать оригинальный текст в сторону его уменьшения стал для меня самой серьезной проблемой в процессе перевода. Уж больно хотелось оставить все! Так интересно и увлекательно была написана сама книга. Это уже потом, много позже, я узнала, что англоязычные литературоведы и критики считают произведение Миддлбрук самым глубоким, самым честным и правдивым исследованием творчества Сильвии Плат и всех печальных и драматичных обстоятельств ее недолгой жизни. И этому есть простое и вполне понятное объяснение. Во-первых, Диана Миддлбрук (1939—2007) сама была поэтом, к тому же, долгие годы она преподавала в Стэндфордском университете (читала курс лекций по проблемам феминизма), то есть имела за плечами солидный опыт того, как именно следует компоновать материал таким образом, чтобы его было интересно читать и слушать. На ее счету несколько литературоведческих книг, и все они востребованы читателями до сих пор, о чем свидетельствует многократное переиздание произведений Миддлбрук в самых разных странах мира.

Вот и книга о Сильвии Плат написана ярко, эмоционально и одновременно с большим тактом и уважением к памяти поэтессы. Невозможно читать без волнения многие главы, повествующие о непростых жизненных коллизиях, которыми было отмечено короткое земное существование Сильвии Плат. Помнится, я даже расплакалась, когда переводила исполненные особого трагизма страницы, посвященные последним дням жизни поэтессы. Хотя — ей же богу! — не принадлежу к чрезмерно чувствительным особам, и крылатая фраза Александра Сергеевича *«Над вымыслом слезами обольюсь»*, она точно не про меня. А слезами залилась, наверное, потому, что нет в книге Миддлбрук ни грана вымысла, и все в ней — правда, только правда и ничего, кроме правды. Пусть всего лишь на уровне изложения фактов, но зато без каких бы то ни было попыток интерпретировать сии факты уже на свой лад.

Чем, кстати, грешат многие другие публикации, посвященные истории жизни Сильвии Плат. И не только книги, но и художественные кинофильмы тоже! Разве же мог Голливуд остаться в стороне и не наброситься на столь лакомый сюжет? Недаром родственники покойной, мать Сильвии, ее муж, а впоследствии и ее дети, относились к подобным творениям весьма критически и даже с откровенным возмущением.

Иное дело Диана Миддлбрук. Открывай любую страницу книги, и поток взволнованных размышлений поэта о судьбе другого поэта (точнее, о судьбах двух гениальных поэтов, волей судьбы ставших мужем и женой) невольно захватывает тебя, и ты уже не можешь оторваться от чтения.

*«Хьюз однажды сказал, что с первой же встречи с Сильвией он понял, что «она — гениальна». То же самое говорила Сильвия Плат о Хьюзе. Она даже записала в дневнике, что когда-нибудь Хьюз «будет поэтом номер*

*один в Англии», а она сама станет «самой великой поэтессой Америки». Когда они поженились, им было по двадцать с небольшим, и они все еще оставались в глубине души студентами. Едва ли они понимали, выбирая себе профессию свободных художников, какие неимоверные трудности подстерегают их на этом пути в будущем».*

Но как справедливо заметил другой великий поэт, «Нам не дано предугадать…». Хотя с какой стороны посмотреть! Возьмем, к примеру, вот эту запись из дневника Сильвии Плат (в подтверждение слов Дианы Миддлбрук, процитированных выше). Запись датирована 20 марта 1957 года.

*«…Думаю, я написала стихи, которые дают мне право быть Поэтессой Америки… Кто мои соперницы? В прошлом: Сапфо, Элизабет Браунинг, Кристина Россетти, Эми Лоуэлл, Эмили Дикенсон, Эдна Сент-Винсент Миллэй — все они мертвы. Сейчас: Эдит Стивелл и Марианна Мур, две стареющие великанши… И еще — Адриенна Рич… но вскоре я заставлю ее потесниться…»*

Вот он, максимализм гения, в полной мере осознающего степень своего дарования! Без тени хвастовства или самолюбования… простая констатация очевидного, правда, на тот момент, очевидного пока еще только самой Сильвии Плат. Да и как могло быть иначе, если при жизни поэтессы был издан всего лишь один (один-единственный!) сборник ее стихов под названием «Колосс» (1960). Выход в свет автобиографического романа *'The Bell Jar'* («Дребезжание колокола», если буквально по-русски) всего лишь за месяц до самоубийства (14 января 1963 года) не в счет. Он был встречен критикой весьма прохладно (многие и вовсе проигнорировали факт его появления), возможно, потому, что роман был опубликован под псевдонимом Виктория Лукас. А в итоге равнодушие публики лишь ускорило трагическую развязку.

Сам роман, на который обрушилась оглушительная посмертная слава, частично потому, что многие стали искать в нем ответ на вопрос, почему жизнь Сильвии Плат сложилась именно так, как сложилась, так вот, этот роман был переведен на русский язык замечательным ленинградским (петербургским) переводчиком Виктором Леонидовичем Топоровым (1946—2013) и издан в Санкт-Петербурге в 1994 году в серии «Женская библиотека» под названием «Под стеклянным колпаком». Именно это название романа и будет далее фигурировать в тексте.

Итак, пройдемся абрисно по основным биографическим вехам жизненного пути Сильвии Плат. Что же до подробностей, то, как по мне, их лучше всего изучать, читая стихи самой Плат, не сильно доверяясь при этом иным ретивым биографам, любящим смаковать всякие жареные подробности земного бытия гениев, не соотнося эти подробности с их творчеством, а то и вовсе забывая о главном предназначении своих героев в этой жизни.

Если вспомнить крылатую фразу Антуана де Сент-Экзюпери, страшно популярного в годы моей студенческой молодости, о том, что все мы родом из детства, то детство будущего классика англоязычной поэзии XX века было не самым радостным и далеко не самым безоблачным. Отец, Отто Эмиль Плат, умер, когда девочке исполнилось всего лишь восемь лет. В свое время он эмигрировал в США из Германии, был явно человеком незаурядным, коль скоро стал профессором этимологии Бостонского университета и признанным специалистом в области пчеловодства (на его счету несколько фундаментальных исследований по данной тематике). Сильвия боготворила своего отца, хотя характер у него был откровенно тяжелым. В семье преобладал авторитарный стиль решения всех проблем. Чему,

косвенно, способствовало и то обстоятельство, что жена Плата Аурелия, в прошлом студентка своего мужа, была на двадцать один год младше его. Она родила Отто двоих детей, дочь Сильвию в 1932 году и сына Уоррена в 1935 году. Мальчик родился очень болезненным, и Аурелия сосредоточила все свое внимание на малыше. Девочка явно была обойдена и любовью, и лаской, и это, несомненно, наложило свой отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь.

Сердце —
По нему я ступаю и знаю,
Что солнечного младенца
Мир убьет и сожрет.

(*19 ноября 1962 года*)

Вскоре после рождения сына здоровье самого Отто Плата стало стремительно ухудшаться. Человек мнительный, он почему-то вообразил, что у него рак, и категорически отказался от каких бы то ни было обследований. К врачам обратились лишь тогда, когда на ноге стал гнить палец и началась обширная гангрена: пришлось ампутировать ногу. Но было уже поздно, и вскоре Отто Плат скончался, как оказалось, от запущенного сахарного диабета, который уже успешно лечился в те годы. Случилось это печальное событие осенью 1940 года, спустя всего лишь две недели после того, как старшей дочери исполнилось восемь лет.

В общем-то нелепая смерть профессора настолько обескуражила его друзей и коллег, что один из них даже не постеснялся откровенно воскликнуть на похоронах, что он отказывается понимать, как мог такой умнейший человек повести себя столь безответственно и глупо.

После смерти мужа Аурелии пришлось нелегко: ведь отныне все заботы о детях легли на ее плечи. Она работала много и на износ, сразу на двух работах (коллеги покойного помогли ей получить должность в самом Бостонском университете, но все равно приходилось еще подрабатывать). Времени на налаживание теплых и доверительных отношений с дочерью не было. Детьми занимались, главным образом, родители Аурелии.

Впрочем, девочка росла, не давая никаких внешних поводов для беспокойства. В школе она все время была звездной ученицей, получая только высшие баллы при переходе из одного класса в другой. Она стала рано печататься, правда, пока только в местной прессе. В 1950 году Сильвия с первой же попытки легко поступает в привилегированный женский Смит-колледж в Нортгемптоне, штат Массачусетс.

Поначалу отношения с преподавателями и однокурсницами складываются непросто. Уж слишком независима была новая студентка, слишком ершиста и умна, чтобы нравиться всем и вся. К тому же, ужасно самостоятельна. *«Терпеть не могу платить людям за то, что прекрасно могу сделать сама, это страшно меня нервирует»,* — признавалась она много позже в своем автобиографическом романе «Под стеклянным колпаком», в котором описаны в том числе и события, связанные с поступлением героини в колледж. А пока же все свои переживания Сильвия изливает в дневниковых записях тех лет (дневники Сильвия Плат стала вести с 1944 года и продолжала делать это вплоть до самых последних дней своей жизни).

*«Никогда не достичь мне совершенства, к которому я стремлюсь всей душой…»* — признается она в одной из таких записей с присущим ей самоедством врожденного перфекциониста. Хотя уже на первых курсах учебы в колледже появляются публикации Плат в общенациональных изданиях.

Но постепенно студенческая жизнь налаживается, продолжаются

интенсивные творческие поиски. После окончания третьего курса Сильвию, как победительницу конкурса, организованного литературным журналом «Мадемуазель», участвуя в котором, она получила первую премию за короткий рассказ, опубликованный на страницах журнала, приглашают на месячную стажировку в редакцию журнала в качестве внештатного редактора (что тоже впоследствии было описано на страницах романа «Под стеклянным колпаком»).

Месяц, проведенный в Нью-Йорке, произвел неизгладимое впечатление на юную девушку, но домой она вернулась не только с ворохом новых впечатлений, но и уставшей донельзя. Можно сказать, на грани нервного истощения. Дома ее тоже поджидали не самые приятные новости. Выяснилось, что на продолжение учебы в дорогом Смит-колледже денег в семье больше нет, нужно переводиться в менее престижное и более дешевое учебное заведение. Сильвия остро переживала произошедшее, у нее началась затяжная депрессия, окончившаяся первой попыткой суицида.

24 августа 1953 года, оставив дома короткую записку *«Ушла на прогулку, буду завтра»,* Сильвия, прихватив с собой одеяло, бутылку воды и флакончик со снотворными таблетками, уединяется в подвале собственного дома. Обнаружив записку, мать сразу же заподозрила худшее и подняла на ноги полицию. Начались крупномасштабные поиски беглянки с привлечением десятков волонтеров, прочесывавших все окрестности городка. Поскольку полиция уже была в курсе того, что из дома исчезло снотворное, то версия самоубийства сразу же стала основной. Подходили к концу уже вторые сутки поисков, делая все более и более призрачными надежды на их успешный исход, но вечером 26 августа Сильвию совершенно случайно обнаружили поисковики. Девушка была без сознания, рядом валялся пузырек, в котором осталось всего лишь восемь таблеток снотворного.

Процесс реабилитации был долгим и мучительным. Возвращение к полноценной жизни состоялось лишь весной 1954 года.

Позднее сама Сильвия Плат так опишет собственные галлюцинации, предшествовавшие полной отключке сознания:

*«Я увидела всю свою жизнь в виде некой телефонной линии, в которой каждый столб означает прожитый мною год. Я насчитала один, два, три... девятнадцать столбов, а затем провод повис в пустом пространстве, и сколько я ни старалась, мне было не разглядеть следующего столба. Их было всего девятнадцать»* («Под стеклянным колпаком», перевод В. Л. Топорова, 1994).

Незадолго до своей вторичной попытки сведения счетов с жизнью Сильвия Плат написала, пожалуй, одно из лучших своих стихотворений. Оно называется «Леди Лазарь» и датировано 23—29 октября 1962 года.

Умирать
Ведь тоже искусство.
Я это делаю блестяще. А?

Жутко, да,
Если по-настоящему?
Наверное, это призвание.

Вот она, трагическая перекличка двух гениев, если вспомнить предсмертные есенинские строки *«В этой жизни умирать не ново...».* Еще одно «странное сближенье», цитируя Пушкина (а в данном случае так просто страшное сближенье), которыми, тем не менее, полнится вся история мирового искусства и литературы.

Но пока жизнь еще продолжалась. Весной 1954 года Сильвия восстанавливается в Смит-колледже, а летом того же года поступает на летний литературный курс в Гарвард. Блестящая защита дипломной работы в колледже на тему *'A Study of the Double in Two Dostoevsky's Novels'* («Исследование темы двойственности в двух романах Достоевского») приносит выпускнице грант по программе Фулбрайта, который открывает перед ней двери Кембриджского университета.

Поначалу Кембридж очаровал Сильвию. Старинный университетский город, Европа, все совсем не так, как на родине. Девушка с головой уходит в бурную студенческую жизнь, много печатается в студенческих журналах и даже позирует в купальнике для одной из обложек. А как же иначе? Ведь она не просто красавица, она американка! Впрочем, позднее ее муж признавался, что ни одна из фотографий не передает и сотой доли того очарования и бьющей через край экспрессии, которыми полнился реальный облик Сильвии. Она была не просто красива. Про таких обычно говорят: «Жизнь била в ней ключом».

Тем поразительнее та ипохондрия, которой пронизаны письма Сильвии домой к матери. Промозглый английский климат, неурядицы на любовном фронте, все раздражает и нагоняет новую волну депрессии. На сей раз спасение приходит в облике Теда Хьюза, знакомство с которым произошло на одной из студенческих вечеринок в 1956 году. Вначале ничто не предвещало судьбоносных перемен в жизни обоих. Как пишет Диана Миддлбрук, *«Тед Хьюз ушел с вечеринки вместе со своей девушкой. Он еще не подозревал о том, что звезды повенчали его с Сильвией».*

К слову говоря, Сильвия тоже ушла с вечеринки не одна: ее сопровождал какой-то случайный кавалер. Так что ни о какой влюбленности в Хьюза с первого взгляда не могло быть и речи. Что не помешало ей вскорости записать в своем дневнике вот такие пророческие слова: *«Однажды я приму смерть от него».* Всего лишь через шесть лет, добавим мы, уже зная, чем закончилась сия повесть, печальнее которой нет ничего на свете.

Впрочем, в те годы Сильвию мало волновали проблемы собственного замужества. *«...Замуж и обзавестись детьми,* — писала она в своем романе, — *это все равно что подвергнуться промыванию мозгов, и твоя участь будет похожа на судьбу немого раба в неком приватном, но тем не мерее тоталитарном царстве».*

Словом, никто не собирался жениться или выходить замуж. И ровно через четыре месяца после той приснопамятной вечеринки они поженились. Теду в то время было 25, Сильвии — 23. Они прожили вместе более 2000 дней, вплоть до окончательного разрыва, произошедшего в октябре 1962 года, родили двоих детей, сына и дочь, наделали кучу ошибок и обзавелись кучей друзей, но оба, и Хьюз, и Плат, за шесть коротких лет успели превратиться в тех, кем их по праву считают сегодня: они стали гордостью культуры своих стран и признанными мэтрами поэзии XX века. Нельзя не согласиться с Дианой Миддлбрук: их брак действительно стал самым плодотворным литературным браком столетия, а вполне возможно, и во всей истории мировой литературы.

Правда, Сильвия познала, если так можно выразиться, вкус истинной славы и настоящего триумфа уже после своей смерти. Весьма типичный случай, не так ли? Спустя два года после смерти жены Тед Хьюз, волей судьбы ставший душеприказчиком покойной и наследником ее литературного архива (ибо Сильвия не оставила после себя никакого завещания), издает в 1965 году второй поэтический сборник стихов Сильвии Плат под названием «Ариэль». Книга производит настоящий фурор и очень скоро

приобретает статус одного из главных бестселлеров англо-американской поэзии XX века. А в 1982 году за поэтический сборник «Избранное» Плат посмертно удостаивается главной литературной награды Америки — Пулитцеровской премии. Сбылась мечта юности! Она заставила-таки потесниться всех остальных на поэтическом Олимпе, предъявив ошеломленным почитателям поэзии горы шедевров.

Вцепляюсь в гриву, — он сделал все что мог:
Простую, единственную мысль оставив мне.
Скачка, скачка —
Над всем случайным,
Над всей землей,
Над копытами, резко бьющими в шар земной…
Я слетела?
Не слетела…
почти слетела,
слетаю — не
слетела…
Пока еще нет…
Страх с пониманием сути смешались во мне,
А все цвета слились в единственный белый цвет!

*(9 июля 1958 года)*

Перечитываю это стихотворение Плат, одно из лучших в ее творческом наследии, и думаю: вот нашелся бы какой-нибудь умник, из числа остепененных, так сказать, специалистов-литературоведов, и объяснил бы мне, рядовому любителю поэзии, один весьма странный феномен. Почему такая, в общем и целом, весьма прагматичная нация, каковой являются в своем подавляющем большинстве американцы, почему она подарила миру такое огромное количество замечательных, а то и просто великих поэтов, причем и мужчин, и женщин? Эдгар По, Уолт Уитмен, та же Эмили Дикенсон… Сильвия Плат, наконец! Так в чем же фишка, снова воскликну я непонимающе и вспомню, как моя бабушка, очень мудрая, хотя и неграмотная женщина, сталкиваясь по жизни с чем-то таким, чего она не в силах была уразуметь или объяснить, всегда в таких случаях восклицала с истинным смирением в голосе: *«Відаць, так трэба было!»*

Действительно, иначе чем Божьим промыслом такое обилие поэтических гениев, взращенных на ниве повального предпринимательства с его духом торгашества и полным отсутствием романтизма и лирики, никак не объяснить!

Но вернемся к нашей героине. И снова вспомним к месту короткие строки из записной книжки Антона Павловича Чехова. Итак, они любили друг друга, поженились и были несчастливы всю свою жизнь. Не совсем так! Поначалу счастье было! И сумасшедшая влюбленность друг в друга тоже. Да и как было не влюбиться в темноволосого красавца, настоящего героя-любовника, каким был в молодости будущий Поэт-лауреат (так именуется в Великобритании должность придворного поэта, в обязанности которого входит, в том числе, и сочинение стихов по особо торжественным случаям, связанным с жизнью королевской семьи. С 2009 года эту весьма, кстати, «хлебную» должность исполняет Кэрол Энн Даффи). Словом, в Теда влюблялись, и он тоже — увы и ах! — часто отвечал взаимностью.

Самое время вспомнить слова одного умного француза по имени Николя Шамфор, который не без юмора заметил однажды, что удачен лишь разумный брак, а вот брак безрассудный увлекателен и только. Что ж, французы, они ведь большие доки по части взаимоотношения полов, а потому приходится верить Шамфору на слово.

Но поначалу все складывалось просто идиллически. Любовь-морковь и все такое… а главное — взаимный интерес к творчеству друг друга. Правда, вечная и порой очень острая нехватка денег. Но скромный быт (типичное явление для всех «свободных художников», пока еще не добившихся признания), постоянные поиски приработка или хоть какой-то возможности заработать немного денег в семейный бюджет, все это никак не охлаждало пылкости взаимных чувств и огромного творческого горения обоих. У Теда поэтические дела шли повеселее, он чаще печатался, постепенно приобретая все большую и большую известность в литературных кругах. И ни капли зависти со стороны жены. Сильвия была в восторге от успехов мужа. Сама же она, обремененная семейными хлопотами, рождением детей, отсутствием денег, снедаемая постоянными невеселыми мыслями о том, что день грядущий им готовит, писала, главным образом, в стол. Вдохновение чаще всего приходило к Сильвии по утрам. Она вставала часа в четыре утра и сразу же начинала писать. Работа прекращалась, как только просыпались дети. И так изо дня в день, из месяца в месяц. И вечная проблема: деньги, деньги…

**Отъезд**

Еще и фиги на деревьях зелены,
И виноградные гроздья и листья,
И лоза, вьющаяся вдоль кирпичной стены,
Да кончились деньги…

Беда никогда не приходит одна,
Отъезд наш — бездарный и беспечальный.
Кукуруза под солнцем так зелена,
И между стеблями кошки играют.

Время пройдет — не пройдет ощущение нищеты:
Луна — грошик, солнце — медяк,
Оловянный мусор всемирной пустоты…
Но все это станет частицей меня…

Трагичные строки! Как тут снова не вспомнить Оскара Уайльда и его сказку «Соловей и роза». Соловей пел свои восхитительные трели, окрашивая розу в пурпурный цвет кровью своего сердца. Вот и Сильвия Плат, как мне кажется, тоже нанизала свое собственное сердце на шип повседневного бытия, и оттуда медленно, капля за каплей, сочилась ее кровь, день за днем, день за днем…

Я бреду, и туман, как вата,
Забивается в рот и в нос,
А потом он меня оставляет,
Всю покрытую бусинками слез.

*(29 сентября 1961 года)*

Чем дальше, тем сильнее тяготил груз семейных проблем, многие из которых уже стали казаться неразрешимыми.

*«Если от человека ничего не ждешь,* — писала она когда-то в своем романе, — *то он не способен разочаровать тебя».*

На свою беду, Сильвия все еще продолжала ждать. И надеяться тоже… Так что? Впору восклицать о том, что любовная лодка разбилась о быт? Не совсем так. Вернее, совсем не так!

Все мы знаем ответ на вопрос, каково это — уживаться двум медведям в одной берлоге. Ну, а двум гениям под одной крышей… им — что?

Проще? Но ведь уживались же! Целых — повторюсь! — 2000 с лишним дней, и каждый прожитый ими совместно день приближал обоих, вместе и порознь, к вершинам бессмертия. Так бывает. Редко, но случается.

А потом наступила роковая осень 1962 года, когда Тед собрал свои вещи и окончательно ушел из дома. Казалось, Сильвия была готова к этому и внутренне, и внешне. В своем стихотворении «Душа ивы», посвященном Рут Файнлайт, написанном почти за полгода до окончательного разрыва (19 апреля 1962 года), она писала:

Я знаю глубину. Я в нее проникла
Корнем. Но ты боишься глубин.
А я не боюсь — я там была, я привыкла.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Любовь — только тень. Ну не плачь по ней!
Послушай: ее копыта все тише,
Она ускакала — табун коней…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бывают очень мелкие повседневные ошибки,
Но они убивают, убивают, убивают…

Не нам судить гениальную женщину за то, что она распорядилась своей жизнью так, как распорядилась, добровольно приняв смерть ранним утром 11 февраля 1963 года, спустя всего лишь три месяца с небольшим после своего тридцатилетия. Да за что судить? Ведь написала же, что искусством умирания она овладела блестяще. Можно лишь догадываться о том, сколько раз Сильвия умирала вот так во сне и наяву. Что косвенно подтверждают и вот эти строки из ее дневника.

*«Я закрываю глаза, и весь мир умирает, я открываю глаза, и все снова оживает».*

В то роковое утро молодая женщина решила закрыть глаза навсегда. Ее право, ее выбор!

Не хочется писать о той шумихе, которая последовала потом. Разумеется, общественное мнение моментально сделало Теда Хьюза виновником случившейся трагедии. Ему пришлось совсем несладко, и это не говоря уже о том, что на руках у поэта оказалось двое маленьких детей. Младшему сыну Николасу на тот момент было чуть больше года. К слову говоря, Николас тоже покончил жизнь самоубийством в 2009 году, что вызвало новый всплеск разговоров о проклятье, якобы довлеющем над семейством Плат.

Но со временем прошло и это, как проходит все на белом свете. К тому же, два главных героя любовно-литературной трагедии, разыгравшейся в середине прошлого века, уже давно на небесах, на том самом Олимпе, который они так отчаянно штурмовали, когда были молоды.

А потому, опуская всю низменную и пошлую бытовуху, скажу так. Что нам за дело до личной жизни гениев? Зачем нам всякие, порой и довольно скабрезные, подробности того, каким именно было их земное существование? Читайте их произведения, глубокоуважаемый читатель. Читайте стихи Сильвии Плат, и вы все поймете про ее жизнь.

Написала последнюю фразу и задумалась. Вдруг вспомнила, сколько чудовищных, нелепых, безграмотных и откровенно ученических переводов ее стихов гуляет по интернету. И при этом некоторые рифмоплеты, даже не удосужившиеся «расколоть» оригинал на уровне хотя бы подстрочника, еще и не боятся ставить свою фамилию под вышедшим из-под их пера творением. Чудны дела Твои, Господи!

Правда, за «Литературные памятники» можно быть спокойными. Почти все стихотворения для этого издания (97 стихотворений) перевел замечательный наш современник, поэт и переводчик, Василий Бетаки — увы! — тоже отошедший в мир иной в 2013 году.

А потому, заканчивая свои медитации о Сильвии Плат, хочу предложить вам, глубокоуважаемые читатели, вот такой эксперимент. Сейчас я приведу английский текст самого своего любимого стихотворения Сильвии Плат. Оно называется «Слова». Как тут не вспомнить к месту знаменитую реплику Гамлета, который на вопрос Офелии, что за книгу он читает, меланхолично роняет: «Слова, слова, слова…» (*'Words, words, words…')*. Следом помещу, пожалуй, лучший вариант перевода этого стихотворения на русский язык, выполненный Василием Бетаки. Кстати, вариантов перевода очень много, в чем сможет убедиться любой, открыв в интернете страничку со стихотворными произведениями Сильвии Плат.

А еще ниже дам свой подстрочный (правильнее, построчный) перевод этого, несомненно, поэтического шедевра. Хотя и очень сложного для понимания, ибо Сильвия Плат — виртуоз образности. Ее метафоры всегда не только яркие и исполненные особого глубинного смысла, но они еще и очень изощренные, что делает их чертовски сложными для перевода. Впрочем, всякую талантливую поэзию переводить сложно, и потери всегда неизбежны. Вопрос лишь о цене этих потерь и о том объеме, который они составляют от общего текста.

Но думаю, что те из вас, кто осилят этот эксперимент до конца и дочитают сей очерк до его финальной точки, наверняка поймут, почему именно Нобелевский комитет по литературным премиям (а с некоторых пор эта уважаемая организация у всех на слуху), так вот, почему «комитетчики» принимают к рассмотрению на соискание Нобелевской премии произведения поэтов, пишущих на самых разных языках, с одним обязательным условием: только в сопровождении подстрочников на английском языке. Заметьте, не рифмованных переводов на английский язык, а подстрочных текстов, выполненных красивой, грамотной прозой.

Итак, начнем, пожалуй!

**Sylvia Plath**

**Words**

Axes
After whose stroke the wood rings,
And the echoes!
Echoes travelling
Off the center like horses.

The sap
Wells like tears, like the
Water starving
To re-establish its mirror
Over the rock

That drops and turns,
A white skull,
Eaten by weedy greens.
Years later I
Encounter them on the road –

Words dry and riderless,
The indefatigable hoof-taps.

While
From the bottom of the pool, fixed stars
Govern a life.

**Слова**

Удары
Топоров, и деревья звенят все сильней
Эхо за эхом —
Разбегается в стороны топот коней.

Сок сосен — как слезы,
Он хлещет уже водопадом,
Чтобы озеро скрыло скалы
И снова зеркалом стало.
А рядом

Белый череп когдашней жизни.
Зелеными сорняками
Его заплетает трава…

Через годы и годы
На дороге встречаю все те же слова.

Но они постарели…
Вроде так же копыта стучат,
И разносится топот, совсем как тогда…
А на самом деле
Эту жизнь направляют
Неподвижные звезды со дна пруда.

*1 февраля 1963 г.*
*Перевод Василия Бетаки.*

И еще пару слов в качестве своеобразного напутствия, прежде чем привести текст своего подстрочника. Дело в том, что по-настоящему литературный подстрочник — это, конечно же, не буквальный перевод каждого английского слова и не та корявая абракадабра, которую порой нам выдают всякие машинные программы по переводу. Само собой, литературный подстрочник включает в себя толкование каждого оригинального слова, но уже на уровне его осмысления в данном конкретном контексте. Плюс надо еще правильно размотать довольно запутанный грамматически-синтаксический клубок английского текста. Не мне вам говорить, глубокоуважаемый читатель, что и английский синтаксис, и английская грамматика существенно отличаются от русской. То, что англичанину понятно на уровне конструкции фразы, порядка слов, знаков препинания и прочее, в подстрочнике должно быть вытащено на поверхность на уровне подтекста, чтобы сделать понятным уже русскоязычному читателю (в том числе и тому человеку, который станет, опираясь на подстрочник, лепить свой стихотворный вариант) основной посыл стихотворения. Конечно же, таким посылом в стихотворении Сильвии Плат является ключевое слово «слова». Оно рефреном звучит в каждой строфе, правда, звучит оно, что говорится, «по умолчанию», но построение самих фраз делает это умолчание предельно понятным. Вот это главное слово я и запустила в свой подстрочник, полагая, что тогда он станет максимально ясным для любого, кто захочет сделать из него уже полноценное стихотворное произведение на русском языке.

Итак:

Сильвия ПЛАТ

**Слова**

(*Подстрочник*)

Слова —
Это топоры, рубящие лес, и деревья звенят в ответ,
И каждый удар отдается эхом!
Эхо все ширится и разбегается
В разные стороны, словно табун лошадей.

Слова —
Это живица, которая сочится
Из свежесрубленного дерева, подобно слезе,
Это — вода, жаждущая
Восстановить свою зеркальную гладь
Над скалой.

А скала то спускается вниз, то изгибается,
И похожа издали на белый череп,
Изъеденный буйной зеленью.
Слова!
Через много лет я встречаю их на дороге.

Они стали сухими (холодными) и бесстрастными.
Но все так же гулко звучат копыта
Этих не знающих устали лошадей без всадников.
Между тем
Как жизнью управляют
Неподвижные звезды, зависшие на дне лужи.

Приятного чтения, мой дорогой читатель! В том числе и поэзии Сильвии Плат. Не сомневаюсь, те чувства, которые пробудят ее стихи, запомнятся, по справедливому замечанию Майи Энджелоу, и навсегда останутся вместе с вами. И кто знает, быть может, они не раз помогут вам в трудную минуту. Ведь настоящая поэзия, она для того и нужна: утешать и помогать жить дальше.

## Хуана Инес де ла КРУС
(12 ноября 1651 года — 17 апреля 1695 года)

***Увы, чтоб душу уберечь***
***от ненасытных глаз,***
***и то нам нужно делать вид,***
***что нет ее у нас.***

Хуана Инес де ла КРУС

Творческое наследие несравненной Сильвии Плат подвигло автора, дорогой читатель, на то, чтобы рискнуть и обратиться к вам с таким вот дерзким предложением. А что, если нам продолжить совместное путешествие по Америке? Как смотрите? Оседлаем, так сказать, поэтическую волну и понесемся на ней вперед, на юг, туда, где раскинулась красивая, я бы даже сказала, экзотически прекрасная страна Мексика.

Помнится, в годы моего далекого детства и отрочества Мексика и все мексиканское были страшно популярны в нашей стране. Редкий сбор-

ный концерт в любом, даже самом заштатном провинциальном городке, каким, к примеру, был Даугавпилс, где тогда жила наша семья, обходился без мексиканской составляющей. Обязательно где-то в середине программы на сцене появлялось вокальное трио в неизменных сомбреро и живописных пончо, которые, аккомпанируя себе на гитарах, темпераментно исполняли что-то там непонятно страстное и сладостно тягучее. Публика, как правило, принимала этих в своем подавляющем большинстве белобрысых и бледнолицых «мексиканцев» на ура, заставляя бисировать, иногда по нескольку раз. Так что в этом смысле эпизод с мексиканской песней, промелькнувший в моем любимом кинофильме «Я шагаю по Москве» (во время концерта в парке культуры и отдыха), не только уместен, но и достоверен на все сто. Он абсолютно точно воспроизводит атмосферу тех лет.

Не менее популярным было у нашего народа и мексиканское кино. Куда оно подевалось ныне, бог весть! Я имею в виду, конечно, не «мыльные» сериалы, которыми нас до отвала накормили в приснопамятные девяностые, а полноценное художественное кино. В шестидесятые оно точно было представлено на наших экранах. Сама помню, раз пять или шесть бегала смотреть историческую мелодраму «Хуана Гальо» (она вышла в наш прокат в начале 1961 года) с волоокой красавицей Марией Феликс в заглавной роли.

А еще редкий номер журнала «Огонёк», ведомого твердой рукой тогдашнего главреда Анатолия Софронова (между прочим, еще один наш земляк; тоже ведь родился в Минске), превратившего журнал в главного популяризатора по-настоящему высокой культуры в нашей стране, так вот, редкий номер не обращался — опять же! — к мексиканской тематике. Цветные репродукции фресок Диего Риверы и Давида Сикейроса (один «Марш человечества» в «Полифоруме» чего стоит!), очерки о мексиканской столице, самом большом городе Земли под названием Мехико, пространные репортажи с выставок современных мексиканских художников, цветные фотографии яркой, жизнерадостно праздничной мексиканской керамики — все это можно было найти на страницах еженедельника, постоянно подпитывавшего интерес читателя к Мексике, к ее культуре и истории.

Чем объяснялось тогдашнее рвение нашего агитпропа на ниве пропаганды всего мексиканского, объяснять не берусь. Вполне возможно, где-то на самом верху искренне полагали, что Мексика подхватит эстафету освободительной борьбы, начатую на «Острове Свободы», и понесет ее, подобно олимпийскому факелу, далее, по всему южноамериканскому континенту, вплоть до самой Огненной Земли. Ведь как-никак, а Мексика стала республикой еще в 1823 году, продемонстрировав всему свету, как Старому, так и Новому, свой солидный революционный потенциал. Впрочем, это всего лишь мои собственные предположения, не более того. Да и история Мексики, сложная, противоречивая, наполненная множеством войн, в том числе и гражданских, известна мне лишь весьма приблизительно, в рамках школьной программы. Но как бы то ни было и что бы ни двигало нашими тогдашними идеологами, а свидетельствую, как очевидец тех лет, что все мексиканское прочно вошло в плоть и кровь советского человека и осталось в памяти людей старшего поколения, думается, навсегда.

Вот и я, к примеру, когда мне в прошлом году предложили перевод романа, сюжет которого тесно завязан на Мексику с ее богатейшим фольклором (речь идет о романе Мэри Элис Монро «Место, где зимуют бабочки», увидевшем свет весной 2016 года в издательстве ЭКСМО), не только с радостью согласилась на участие в этом проекте, но и немедля погрузилась

в приятное ностальгирование о былом. Словом, good-bye, Америка, где я никогда не бывала, как пели наши отечественные рокеры восьмидесятых, и сердце разрывалось от жалости к ним, таким обездоленным и обойденным всеми радостями бытия. Ведь это же такая тоска — не иметь возможности увидеть то, к чему так рвется твоя душа.

А что же до моей героини, то еще буквально пару слов в качестве своеобразного зачина. Дело в том, что я где-то с класса шестого или седьмого веду тетради с записями всяких умных мыслей, почерпнутых из самых разных источников. А если быть абсолютно точной, то первая умная мысль появилась в моей самой первой тетради 19 марта 1962 года. И конечно же, это были строфы из наилюбимейшего моего в те годы Байрона. Словом, я прилежно занималась поиском всего умного и интересного. В полном соответствии с заветом великого Мольера, заметившего однажды, что он берет свое богатство там, где его находит. Даже если оно валяется в буквальном смысле этого слова под ногами.

Вот и я рачительно выписывала все заинтересовавшие меня сведения, будь то отрывки из прозы, целые стихотворения или отдельные строфы из них, афористичные высказывания всяких великих людей и совершенно не известных мне на тот момент личностей, просто любопытные факты или всяческие загадки, которыми полнится мировая история. Информация черпалась отовсюду: из книг, из газет и журналов, из прочей разной периодики, из радиопередач и познавательных программ по телевидению. Но главным образом, конечно же, из книг. За пятьдесят с лишним лет, минувших с момента первой записи, такого интеллектуального богатства накопилось предостаточно — тетрадей шесть или семь. Причем никакие жизненные бури не заставили меня выбросить их вон за ненадобностью. Даже кардинальный слом всей прежней жизни, когда дом, в котором я прожила более полувека, пошел под снос и пришлось переезжать в цивильную квартиру в одном из дальних микрорайонов Минска, ничего не изменили в моих многолетних привычках. Я по-прежнему конспектирую, выписываю и записываю. А все старые тетради благополучно перебрались вместе со мной на новое место жительства. Вот такие вот водятся за мной чудачества. Сейчас их можно с полным основанием назвать «стариковскими».

Впрочем, именно благодаря этим чудачествам я и познакомилась впервые с творчеством великой мексиканской поэтессы Хуаны Инес де ла Крус. Об этом свидетельствуют записи, сделанные, судя по всему, в самом начале семидесятых. Вполне возможно, в 1973 году, когда в издательстве «Художественная литература» повторно вышел в свет сборник стихов де ла Крус под названием «Десятая муза». Скорее всего, мне попалась на глаза рецензия на эту книгу, опубликованная, скажем, в «Литературной газете» или в «Книжном обозрении». Но каков бы ни был первоисточник информации, все стихотворные строфы, принадлежащие перу прославленной мексиканки, были аккуратно выписаны мною в очередную общую тетрадь. В том числе и то четверостишие, которое вынесено в качестве эпиграфа к данной статье. Тогда еще я, правда, не знала, что это завершающая строфа, взятая из «ЭЛЕГИИ, *которая может служить утешением в разочаровании»* (как называется все стихотворение полностью), но строки эти мгновенно врезались в память и вот уже более сорока лет ненавязчиво сопровождают меня по жизни.

Рядом с законспектированными стихами были помечены и годы жизни поэтессы, невольно заставлявшие уважительно призадуматься. Это же надо! Более трех веков тому назад где-то на другом конце света, в далекой-предалекой Мексике (которая, впрочем, тогда именовалась несколько иначе: вице-королевство Новая Испания) жила женщина, которая писала такие прекрасные стихи.

И какое счастье, что они сохранились нетленными и до наших дней, размышляла я, строча очередную запись в свою «умную» тетрадь. По странному стечению обстоятельств, сразу же после стихов де ла Крус у меня расположилась цитата из Платона, и она, если задуматься, где-то на самом глубинном уровне отчетливо перекликается со стихами мексиканки. Вот эта цитата.

*«Блаженны государства, в которых философы повелевают или властители философствуют».*

Конечно, идеалист Платон, с присущей ему тягой ко всему идеальному и возвышенному, многое рисовал себе в неком идеализированном свете, и все же, как ни верти, а при дворе вице-короля Новой Испании нашлось-таки место для чрезвычайно незаурядной женщины-философа, которая по своему уму вполне могла соперничать с такими прославленными интеллектуалками древности, как, скажем, Аспазия и иже с нею. И в подтверждение этих слов один из моих самых любимых сонетов, принадлежащих перу Хуаны Инес де ла Крус.

Надежда! Позолоченный обман!
Отрада нашего существованья,
неясный сон в зеленом одеянье,
неистовых мечтаний ураган!

В живых вливая пагубный дурман,
ты пробуждаешь в немощи желанье,
несчастным ты даруешь обещанье,
а тем, кто счастлив, — счастья талисман.

Все ловят тень твою, алкая света,
и всем в зеленых видится очках
мир, разукрашенный воображеньем…

Моя ж душа лишь разумом согрета,
и я свои глаза держу в руках,
испытывая взгляд прикосновеньем.

Разве что «зеленые очки», если честно, несколько царапают мой слух и глаз, заставляя сожалеть о том, что я не знаю староиспанского, на котором писались эти дивные строки. Все же в современном русском языке прочно укоренилось несколько иное выражение — «розовые очки», и переводчику нужно было покумекать более основательно, чтобы свести воедино зеленое и розовое. Но это так, к слову. В силу своей въедливости, что ли, во всем том, что касается этого самого слова. Впрочем, и сама поэтесса в одном из своих стихотворений верно заметила: «*...А если буква неверна, // То сразу умирает слово…*»

Кстати, полная перекличка с мыслью Апостола Павла, которую он высказал в своем Втором послании к коринфянам: «*Буква убивает, а дух животворит»* (2 Коринф. 3—7).

В том, что в стихах Хуаны Инес де ла Крус дух действительно «животворит», я смогла убедиться очень скоро, когда приобрела в собственное пользование вышеозначенную книжицу «Десятая муза». Простенькое, но изысканно оформленное издание карманного формата в бумажном переплете. Обложка украшена абрисно прорисованными фигурками прекрасных дам и мужественных идальго, словно сошедших со страниц пьес Лопе де Вега, внутри стилизованный портрет самой поэтессы в монашеском облачении. Красавица! Ничего не скажешь.

Из коротенькой аннотации узнаю, что держу в руках второе, дополненное и расширенное издание (первое, как уже отмечалось выше, появилось

в 1966 году), куда вошли не только новые переводы лирики, но и отрывки из прозаических текстов. В частности, фрагменты из знаменитого «Ответа сестре Филотее» (под этим именем, кстати, скрывался сам епископ Пуэблы, дон Мануэл Фернандес де Сантакрус-и-Саагуна; он неоднократно обращался к поэтессе с письменными посланиями, увещевая ее отказаться от всего мирского и всецело сосредоточиться на религии). В ответном послании Хуана Инес де ла Крус не только пытается оправдать собственное увлечение науками и поэзией, но и рассказывает историю своей поистине удивительной жизни.

Из аннотации же узнаю, что книга названа так, как названа, совсем даже не случайно. «Десятой музой» величали современники саму де ла Крус, которая поражала всех знавших ее лично своими необыкновенными дарованиями в сочетании со столь же необыкновенной красотой. А что же до самой поэзии, то, как сказано в аннотации, стихи Хуаны Инес де ла Крус *«сочетают в себе интеллектуальную глубину с изяществом формы, изысканное остроумие с проникновенной простотой и поэтичностью».* И все это постаралась сохранить и донести до русскоязычного читателя как первого, так и второго изданий переводчик Инна Михайловна Чежегова (1929—1990). Вечная ей память за ее вдохновенный и талантливый труд.

По своему обыкновению вначале внимательно читаю предисловие с красивым запоминающимся заглавием «Мексиканская Феникс». Предисловие тоже написано Чежеговой. По всему видно, что она изрядно потрудилась, собрав воедино все самые яркие и запоминающиеся факты, касающиеся жизни поэтессы. А в результате получилось очень информативное и одновременно очень задушевное повествование, которое так и просится, чтобы его экранизировали, превратив в красивый и трогательный сериал, рассчитанный не только на домохозяек, но и на самую широкую аудиторию, включая современных интеллектуалов и любителей поэзии всех возрастов и вкусов. Неужели же сами мексиканские киношники прошли мимо столь лакомого сюжета? И неужели Голливуд до сих пор остался в стороне и не взял на вооружение такой богатейший жизненный материал для очередного сценария очередной костюмированной драмы? Невероятно, если это так.

Впрочем, уже давно кем-то верно подмечено: хорошая, по-настоящему талантливая литература всегда опирается на не менее талантливо прожитую жизнь ее творца. Судите сами! Лев Толстой сражался, защищая Севастополь, самолично прочувствовав на четвертом бастионе Малахова кургана, что такое — умирать на поле боя, Александр Сергеевич бессчетное количество раз дрался на дуэлях и вообще куролесил вовсю, как и положено гению. Федор Михайлович готовился взойти на эшафот, просчитывая минуты, оставшиеся до свершения казни, а Анри Бейль, тот, который Стендаль, если разбавить цепочку русскоязычных имен, скажем, именем француза, сполна испытал все «прелести» отступления из Москвы по Старой Смоленской дороге некогда великой французской армии.

Вот и жизнь нашей героини была талантлива и по-своему уникальна. Ибо была прожита не только вдохновенно, но и в полном соответствии с собственными строками.

Тот, кто живет из страха смерти,
Тот умирает сотни раз…

Что ж, судя по всему, страх смерти был чужд натуре этой удивительной мексиканской Феникс. Она прожила всего ничего, каких-то сорок три года, безраздельно посвятив себя двум стихиям — поэтическому творчеству и изучению наук. А ушла из жизни, как и положено ревностной монахине и просто бесстрашной женщине: заразившись чумой, ухаживая за боль-

ными во время эпидемии 1695 года. Но что значит телесная смерть для гения, каким была Хуана Инес де ла Крус, уже вошедшая в жизнь вечную со своим творчеством? Промелькнувшие три с лишним столетия ничего не убавили в ее всемирной славе. Не потускнела позолота букв, которыми выбито ее имя в «Пантеоне женских сердец», а появившиеся следы патины, как результат промелькнувших столетий, не разрушили очарование ее стихов. Они все так же волнуют и проникают в душу, согревая ее и пробуждая надежды на лучшее. Всегда — на лучшее!

А ведь начало этой короткой жизни было ослепительно прекрасным и обещало только безоблачные и счастливые дни.

«Хариты, Лель тебя венчали и колыбель твою качали», как воскликнул когда-то Александр Сергеевич, правда, адресуя сии вдохновенные строки другой героине.

Хуана Инес де Асбахе-и-Рамирес де Сантильяна (таково было светское имя поэтессы до принятия ею монашеского сана) родилась в богатой и родовитой семье, приближенной ко двору вице-короля. Редкостные способности девочки и ее неуемная тяга к знаниям была замечена взрослыми едва ли не с пеленок. В трехлетнем возрасте малышка самостоятельно выучилась читать, а к шести годам легко освоила все премудрости письма. Во всяком случае, свой первый поэтический опус — Гимн в честь праздника Тела Господня Хуана написала именно в шесть лет.

Прослышав про то, что в Мехико есть университет, маленькая Хуана буквально умоляет свою мать переодеть ее мальчиком и отправить учиться в университет. Поначалу взрослые относились к этим наивным мольбам шестилетней девочки как к невинной шутке, но ребенок днями просиживал в дедовской библиотеке за чтением научных манускриптов и трактатов. Ни уговоры, ни даже наказания не действовали. Родителям пришлось сдаться. В восьмилетнем возрасте Хуана покидает родовое имение, расположенное в шестидесяти километрах от столицы. Ее привозят в Мехико и приглашают домашнего наставника, который начинает заниматься с юной ученицей изучением латыни. Способности ребенка были столь поразительны, что ей понадобилось всего лишь двадцать уроков для того, чтобы овладеть латынью в совершенстве. Она не только свободно изъяснялась на латыни, читала и писала, но и сочиняла стихи, причем с той же легкостью и вдохновением, что и на родном языке.

В своем «Ответе сестре Филотее» сама Хуана так охарактеризовала свою неистовую жажду знаний, владевшую ею всю ее жизнь: *«Едва забрезжил во мне первый луч разума, как вместе с ним пробудилась страсть к познанию, страсть столь пылкая и неодолимая, что ничьи укоры, — а их было множество, — ни мои собственные сомнения, коих тоже было немало, не в силах были принудить меня отступиться от того, чего властно требовала моя натура и что было вложено в меня Богом».*

Очень скоро слух о необыкновенной девочке-вундеркинде докатился и до двора вице-короля Новой Испании. Ее представляют королевской чете; королева, пораженная талантами еще почти ребенка, даже устраивает ей нечто вроде публичного экзамена. В роли экзаменаторов выступили самые блестящие умы тогдашнего вице-королевства — теологи, философы, историки, математики. И конечно, литераторы и поэты. Всего около сорока человек. Хуана Инес блистательно выдержала это испытание. Ее ответы были столь глубоки и исчерпывающи, столь остроумны и находчивы, что многие экзаменаторы были откровенно посрамлены и вынуждены были покинуть поле боя, что говорится, на щите. Слава о талантливой и образованной юной поэтессе распространилась по всей стране.

Хуану жалуют званием придворной дамы, и не просто дамы, а первой дамы мексиканского двора. Необыкновенные дарования в сочетании со столь же необыкновенной красотой юной девушки не только снискали ей любовь и уважение королевской четы. Расположения четырнадцатилетней красавицы добиваются толпы поклонников, представители самых богатых и родовитых семей Новой Испании оспаривают честь пригласить ее на танец или сопровождать на очередное придворное празднество, где она неизменно является главным украшением и центром притяжения. Всего лишь четырнадцать лет! И вся земля, казалось, у ее ног.

А уже в шестнадцать Хуана Инес уходит в монастырь. Невероятно, но факт.

Нет, мне блаженства не вкусить!
Среди душевного ненастья
готова я проклясть за счастье
и за презрение — простить.

Вот такой вот неожиданный разворот в сторону от мирской суеты и прочих радостей жизни. Некоторые биографы Хуаны Инес де ла Крус полагают, что на столь неожиданное, на первый взгляд, решение юной красавицы ее подвигла несчастная любовь. Что ж, наверное, в чем-то они правы. Во всяком случае, во многих сонетах, элегиях, редондильях (это такой род старинных испанских стихотворений, состоящих из строф в 4, 6 и 8 сложных рифмованных строчек), романсах, десимах (десятистишьях), вышедших из-под пера де ла Крус, отчетливо звучит тема неразделенной любви. Взять хотя бы вот эти строки.

…Ты ненавистен мне, но, может быть,
то не тебя — себя я ненавижу
за то, что я могла тебя любить.

А ведь почти полная перекличка со знаменитым поэтическим шедевром древнеримского поэта Катулла под названием *'Odi et amo'* («Ненавижу и люблю»), стихотворением, которое тот посвятил своей возлюбленной Лесбии. Помните?

И ненавижу ее, и люблю. Почему же? — ты спросишь.
Сам я не знаю, но так чувствую я и томлюсь.

Но какие бы параллели мы ни проводили, какие бы догадки ни строили, в любом случае, думается мне, что если безответная любовь и была в жизни этой редкостной красавицы (во что верится с большим трудом), то она стала лишь одним из многих факторов, причем не самым главным, повлиявшим на окончательное решение юной девушки. Собственно, она сама пишет об этом все в том же «Ответе сестре Филотее».

*«Я сделалась монахиней, хотя полагала, что монашество (я говорю не о существе его, но о сторонах побочных) содержит много несовместимого с моей натурою; однако при моем полнейшем неприятии замужества положение монахини представлялось мне более соответственным и достойным в том выборе, с помощью коего жаждала я обрести свое независимое и надежное будущее».*

Иными словами, в основе столь драматичного отказа от всего мирского лежит трагедия человека, в полной мере осмысленная в литературе и искусстве много позже, где-то лишь к середине девятнадцатого века. Я имею в виду метания и терзания так называемых «лишних людей», каждый из которых оказался невостребованным в том времени, в котором

ему было суждено появиться на свет. Если вы помните, то и само понятие «лишнего человека» вошло в обиход лишь после того, как в 1850 году Иван Сергеевич Тургенев опубликовал свой «Дневник лишнего человека», четко обозначив явление, которое до той поры долгие десятилетия и даже столетия оставалось безымянным.

Вот и наша героиня, она ведь тоже на многие столетия опередила свой семнадцатый век. Подумайте сами! Что, в сущности, могла позволить себе женщина, будь то даже первая дама двора, в те далекие годы? Какая участь грозила красавице и умнице Хуане Инес, подчинись она требованиям общества, в котором выросла и вращалась? Естественно, замужество, пусть даже и самая блестящая партия, пусть даже и по самой пылкой и взаимной любви. Но брак тут же ставил жирный крест на всем том, что составляло смысл существования поэтессы и философа. Едва ли даже самый любящий и самый терпеливый муж снисходительно отнесся бы к столь неподобающим забавам: чтение всяких умных книг днями напролет или сочинение собственных стихов о тончайших переливах чувств, переполняющих душу его незаурядной жены. Помилуйте! А дом? А дети? А привычный уклад жизни, в котором замужняя женщина — это прежде всего мать и хозяйка дома, а потом уже все остальное. И то, при условии, если позволит супруг или если останется свободное время на всякие интеллектуальные увеселения и излишества.

Вот таков был расклад, который ясно увидела перед собой Хуана Инес. Увидела и невольно внутренне содрогнулась от столь невеселых перспектив. А потому — прочь от мира! В затвор! Разумеется, она и не помышляла о том, чтобы похоронить себя заживо за монастырскими стенами. Напротив! Ведь именно монастыри, расположенные на территории Новой Испании, с их гораздо более либеральным укладом жизни по сравнению с монастырями в самой Испании, открывали Хуане, по ее убеждению, путь к невозможному. Точнее, они почти гарантировали ей возможность заниматься тем, чего так алкала ее душа: творчеством и постижением наук. По словам историков, тогдашние мексиканские монастыри и правда можно было с полным основанием назвать очагами культуры и самыми настоящими образовательными центрами. Как правило, при каждом монастыре имелась огромная библиотека. В фондах некоторых таких библиотек хранились поистине уникальные издания, первые образчики книгопечатания, инкунабулы и раритеты эпохи раннего и позднего Средневековья, бесценные арабские манускрипты. Просветительская деятельность монастырей Новой Испании, впрочем, не ограничивалась только библиотеками. Были ведь еще и школы для малоимущих слоев населения, которые функционировали практически при каждом монастыре. А число их было огромно. Только в самом Мехико с его стотысячным населением действовало на тот момент 29 мужских и 22 женских монастыря.

Однако понятие «монастырской свободы», которую якобы гарантировало пострижение в монахи или монахини, оно тоже было весьма относительным. Впрочем, как и все в этом мире. А потому первый поход поэтессы в монастырскую жизнь оказался неудачным. Монастырь Босоногих Кармелиток, под своды которого 14 августа 1667 года ступила юная Хуана, отличался особой строгостью устава, согласно которому всяческие мирские занятия, в том числе и постижение наук вкупе с сочинительством, считались несовместимыми с религиозными обязанностями монахинь. Девушка моментально почувствовала себя обманутой в своих надеждах, что не замедлило сказаться на состоянии ее здоровья. Спустя три месяца после приезда в монастырь она тяжело заболевает, и родители вынуждены забрать ее домой. Но спустя год с небольшим, в феврале 1669 года, Хуана все же принимает монашеский сан, правда, уже в другом монастыре. Там, в монастыре Сан-Херонимо, она про-

ведет последующие двадцать шесть лет своей жизни уже как Хуана Инес де ла Крус — имя, которое было ей дано при постриге.

Как пишет Чежегова в своем вступительном слове:

*«Здесь, в келье, заполненной книгами (библиотека Хуаны Инес к концу ее жизни достигла четырех тысяч томов, причем многие из книг были подарены ей их авторами), заваленной географическими картами и чертежами, заставленной музыкальными инструментами и приборами для опытов, она вкусила, наконец, в полной мере радость познания. Ее увлекало все: философия, риторика, литература, физика, математика, история. Многие часы были отданы музыке».*

Воистину, наконец-то эта женщина получила возможность зажить по законам совсем иных времен, освободившись от пут условностей и предрассудков, которыми полнился такой тесный для нее и такой душный семнадцатый век. Наконец-то она выстроила свою жизнь так, как ей всегда мечталось, непостижимым образом объединив в ней тягу к научным опытам с неистовой жаждой литературного творчества. Казалось бы, уже все сказано, уже все доказано и известно… Но!

Недоказуемого жаждет
твой дерзкий разум все равно:
ведь все, что доказать возможно,
уже доказано давно.

И вот уже тончайшие оттенки любовных переживаний, испытанные некогда, превращаются под ее вдохновенным пером в отточенные и исполненные особого смысла афоризмы.

Любовь — как соль, и ей всегда вредит
как недостаточность, так и чрезмерность.

Или вот этот:

Ужель конец любви столь нестерпим,
что ты возненавидел и начало?

Или вот эти строфы из «Сонета, *в котором любовь ищет защиты от любовных мук»:*

Ни разлюбить не в силах, ни простить,
не в силах ни уйти я, ни остаться;
есть множество причин, чтоб нам расстаться,
одна причина есть, чтоб вместе быть.

Впрочем, цитировать лирические стихи Хуаны Инес де ла Крус можно до бесконечности, и всякая очередная десима или элегия, сонет или романс — лишний повод восхититься высоким благородством ее души, целомудренной сдержанностью в выражении своих чувств, виртуозной способностью передавать всю гамму настроений своей лирической героини. И конечно, талантом! Бесспорно, талантом, точнее даже, гениальностью великой мексиканской поэтессы, имя которой, вопреки всем зигзагам личной судьбы и непростой судьбы ее родины, не затерялось в анналах истории, а ее творчество оказалось востребованным и сегодня. Быть может, сегодня оно востребовано даже много более, чем в те годы, когда слагались стихи. И недаром современные композиторы так часто пишут музыку на ее романсы и элегии. Право же, это совсем не трудно! Ведь стихи де ла Крус буквально напоены музыкой и так и просятся на нотный стан.

Ох, уж эта злосчастная «страсть к сочинительству стихов», по собственному выражению Хуаны Инес де ла Крус. Вот еще одна цитата из ее «Ответа», можно сказать, в тему.

*«Сколь многочисленные нарекания она на меня навлекла и еще навлечет! Не скрою от вас, моя сеньора, что порой я склоняюсь к мысли, что тот, кто выделяется среди прочих, или, вернее сказать, тот, кто выделен Богом, ибо один Бог в том властен, — тот, увы, становится всеобщим врагом, поелику всем другим представляется, что он похищает похвалы, коих заслуживают они сами, и препятствует изъявлению восторгов, коих они жаждут, — и потому они делаются его гонителями».*

Таких гонителей в жизни самой Хуаны Инес де ла Крус было предостаточно. Разумеется, монастырское начальство, да и местный епископат (еще раз повторюсь, что под псевдонимом сестры Филотеи скрывался сам епископ Пуэблы, и его попытка наставить поэтессу, что говорится, на путь истинный очень огорчила и даже обидела Хуану своими несправедливыми и незаслуженными нареканиями), так вот, религиозные верхи косо смотрели на то, как келья монахини, пусть и такой знаменитой, и такой обласканной двором, постепенно превращается в своеобразный интеллектуальный клуб, известный, как в Новой, так и в старой Испании. Ведь поэтесса не только поддерживала связь со всеми наиболее яркими представителями литературных и ученых кругов Мексики, но и состояла в постоянной переписке с виднейшими учеными, теологами и поэтами метрополии. Не сомневаюсь, что эта переписка, будучи когда-нибудь обнародованной, сулит еще множество самых неожиданных открытий, которые позволят расширить наши представления об этой поистине уникальной женщине.

А пока же мелочные придирки настоятельницы, недовольство остальных сестер-монахинь, ропщущих за ее спиной, что вот, дескать, монахиня, а уклоняется от своих прямых обязанностей, проводя время в праздных и никому не нужных занятиях. Ну да, богатым ведь все позволено! Обидные нарекания! Ведь доподлинно известно, что Хуана строго соблюдала все положения устава монастыря Сан-Херонимо, в котором провела — повторюсь! — последние двадцать шесть лет своей жизни.

Впрочем, у каждого смертного, как известно, своя Голгофа и свой крестный путь. Недаром верующие говорят, что Бог дает каждому из нас только тот крест, который мы в силах донести до конца. Вот и Хуана Инес де ла Крус безропотно донесла свой крест до самого смертного часа (недаром в ее монашеском имени, принятом после пострига, присутствует это понятие «крест — Крус»).

Когда в 1695 году в столице вспыхивает эпидемия чумы, монахиня де ла Крус самоотверженно ухаживает сутками напролет за больными в монастырском лазарете. А в результате тоже заражается чумой и умирает 17 апреля 1695 года, всего лишь на сорок четвертом году жизни. Ах, как же много счастья обещали ей те хариты, которые качали ее колыбель в детстве! Но не сложилось. Не сбылось.

Зато остались стихи, прозрачные, чистые, искренние, поражающие и искушенных ценителей поэзии уже XXI века своей незамутненной простотой и бесхитростностью (каким-то детским простодушием, сказала бы я, вспомнив известный наказ Иисуса Христа о том, что всем нам стоит стремиться к тому, чтобы быть похожими на невинных детей, коим, как известно, и принадлежит Царствие Божие).

И как же берут за душу слова, пробившиеся к нам сквозь толщу веков, которые великая мексиканская поэтесса Хуана Инес де ла Крус некогда адресовала своему читателю. То есть можно сказать, и нам тоже, далеким потомкам и почитателям ее поэзии. Вы только вчитайтесь в эти строки!

Читатель мой, мои стихи
столь далеки от идеала…
Одно достоинство у них —
что я сама ценю их мало.

Я не хочу их ни бранить,
ни проявлять к ним снисхожденья,
дабы никто не возомнил,
что я им придаю значенье.

Не почитателя я тщусь
найти в тебе, мой добрый гений,
но беспристрастного судью
моих бесхитростных творений.

Ну, а мы, ее благодарные читатели, памятуя о том, что «Не судите, да не судимы будете», воздержимся от строгих оценок. Ведь их, в конце концов, дало уже само время, которое, как известно, все и всегда расставляет по своим местам.

И последнее! Совсем последнее. Как же можно обойтись без восхищенных возгласов благодарности в адрес той, которая сделала доступными любому рядовому читателю, не владеющему испанским или, тем более, староиспанским, стихи, написанные на этом самом староиспанском более трех веков тому назад? Конечно же, переводческий труд Инны Михайловны Чежеговой просто бесценен. Воистину, это тот редкий случай, когда можно с полным основанием повторить слова известного русского поэта XVIII века (и кстати, переводчика тоже) Василия Тредиаковского, заметившего однажды, что переводчик от творца только именем рознится. Уверяю вас, глубокоуважаемый читатель, лишь немногие переводчики могут удостоиться (и достойны!) столь высокой похвалы. Вот уж об этом я могу судить вполне профессионально, то есть знаю, о чем говорю. Ибо хороших, по-настоящему хороших переводчиков можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. Ну, или обеих, в лучшем случае, имея в виду прежде всего тех, кто переводит прозу. А уж тех, безо всякого преувеличения, героев (суперстарз, если по-нынешнему), кто отваживается на перевод поэтических текстов, и не просто отваживается, но и делает это так, что, как говорится, комар носа не подточит, тех и вовсе единицы. И среди них, бесспорно, яркой, я бы даже сказала, наияркайшей звездой горит имя представительницы так называемой «Ленинградской переводческой школы» Инны Михайловны Чежеговой (1929—1990). Попутно замечу, что она была женой и, можно сказать, музой одного из самых прославленных ленинградских поэтов-переводчиков Михаила Донского.

Сама же Инна Михайловна всю свою жизнь переводила испанскую и португальскую поэзию XVII века, относящуюся к так называемой эпохе «Позднего барокко» (по отзывам коллег, ее переводы со старопортугальского были не менее блестящими, чем и со староиспанского, что — опять же! — удается лишь единицам).

Но самой знаменитой и самой востребованной работой Чежеговой стала ее книга «Десятая муза», первый сборник поэзии Хуаны Инес де ла Крус на русском языке. Книга не только выдержала два издания, по сути, открыв новое имя для русскоязычной публики; переводческая работа Чежеговой получила восторженные рецензии в прессе, и что особенно важно, самые высокие и лестные оценки от коллег-переводчиков. А такие оценки со стороны представителей профессионального переводческого цеха дорогого стоят.

Прошло уже полвека с момента выхода в свет первого издания «Десятой музы». Стихи Хуаны Инес де ла Крус уже давно разошлись на цитаты, став полноценным фактором отечественной культуры. Однако и по сей день планка качества переводов Чежеговой остается недосягаемой для тех, кто осмеливается обращаться к творчеству великой мексиканки.

И в подтверждение своих слов приведу вот такой наглядный пример. В апреле 1995 года, в канун трехсотлетия со дня смерти Хуаны Инес де ла Крус, «Литературная газета» опубликовала пять сонетов поэтессы в новом переводе, выполненном Владимиром Резниченко.

Ниже даны оба варианта переводов одного из сонетов: тот, который взят из книги «Десятая муза», и тот, который появился на страницах означенной «Литературной газеты». Вам, дорогой читатель, вершить свой «переводческий» суд. Итак, перевод Инны Михайловны Чежеговой.

Сонет, в котором поэтесса опровергает восхваления, расточаемые ею портрету пристрастной лестью.

Портрет мой не хвали — он непохож:
здесь чванного искусства ухищренья
и красок хитроумное сплетенье
глазам внушают вкрадчивую ложь.

Не льсти мне, лесть, ведь все равно ты лжешь:
неумолимо времени теченье,
непобедимы старость и забвенье,
от них, как ни надейся, не уйдешь.

И твоему усердью я не рада:
ты — слабый ветер в мертвых парусах,
от рока ненадежная ограда,

блуждающее в немощных мечтах
желание. И беспристрастье взгляда
здесь обнаружит призрак, тленье, прах.

И этот же самый сонет, но уже в интерпретации Владимира Резниченко.

Опровержение обращенных к портрету поэтессы справедливых похвал, которые, по ее мнению, продиктованы страстью.

Образчик тонкой лести — мой портрет,
из хитроумных сочетаний краски
сплетающий несбыточные сказки
и лгущий смыслу здравому во вред,

что вечен нежной молодости цвет,
что дни считать должна я без опаски,
не думая о роковой развязке,
что смерти и забвенья вовсе нет;

бесплодный вымысел любви горячей,
попытка тщетная развеять страх,
трюк, не способный принести удачи,

прекрасная мечта, чья участь — крах,
картина эта, говоря иначе —
химера, призрак, дым, зола и прах.

Что ж, поступлю так, как поступают всякие искушенные в политике люди: воздержусь от комментариев. А вместо них завершу свое повествование несколькими строфами из моего любимого Романса, в котором, как это ни «непривычно» для романсовой лирики, *«осуждается чрезмерная ученость, почитаемая бесполезной и даже пагубной для жизни»*. Грустно!

О, притворись, мой ум печальный,
что счастлива моя судьба,
вдруг я на миг поверю в счастье,
хоть знаю, что несчастна я.

Но, верно, правы те, кто видит
в самом сознанье корень бед…
Так сделай же меня счастливой —
внуши мне, что несчастья нет!

И пусть на миг успокоенье
я в мысли радостной найду,
и хоть на миг с усталым сердцем
рассудок будет мой в ладу…

Как обидно, думаю я, отстукивая на клавиатуре последние строки, что никто из композиторов еще не переложил эти дивные стихи на музыку. Какой бы замечательный романс мог получиться! Но почему мог? Вполне возможно, что и получился! И его уже давно поют.

Закрываю глаза и явственно вижу, как на главной площади затерянного где-то в глубинах Мексики небольшого городка в выходной день, сразу же после воскресной мессы, прямо напротив здания местной ратуши и католического храма, собирается группа уличных музыкантов в своих огромных сомбреро и нарядных пончо. И так легко представить себе все дальнейшее. Пусть это будет, скажем, крохотный городок Мичоакан, укрывшийся высоко в горах, тот самый, что описан в переведенном мною романе, в заповедных окрестностях которого зимуют миллиарды и миллиарды прекрасных бабочек-данаид (их еще в просторечье именуют просто «монархами»), слетающихся сюда со всех концов Америки, как Северной, так и Южной.

Но вот один из музыкантов осторожно трогает струны своей гитары, и нежная, тягуче-сладостная мелодия романса на слова великой Хуаны Инес де ла Крус льется, парит над городом, над его пыльными улочками, вымощенными камнем, над раскрашенными в веселые цвета фасадами домов и лавок, над вознесшимся ввысь шпилем собора, над горами, вершины которых теряются в синеватой дымке. А там, высоко-высоко, среди реликтовых лесов и рощ, в тех местах, где собираются на свой Священный Круг древние боги этой древней земли, мириады бабочек, облепивших все ветки деревьев и уже готовых впасть в зимнюю спячку, внемлют этим божественным звукам. Красота! Вот оно, блаженство!

Ах, какая все же жалость, что в нашей современной жизни так мало мексиканского! Какая жалость…





Сильвия ПЛАТ

# *С ее лица начнется новый день*

## Мертворожденные

Стихи мертвы: диагноз так печален.
У них уже и пальцы выросли,
И головы у них сформировались.
Но никогда ходить они не смогут,
Не оттого, что мать их не любила.

Ах, мне не объяснить, что с ними стало!
Все правильно, и формы, и размеры.
Красиво смотрятся они в формальдегиде!
Мне снова, снова, снова улыбаясь.
Но нет дыханья, и не бьется сердце их.

Они не рыба и не мясо, хоть похожи
На поросят и рыб.
Да, им бы жить — но умерли. От горя
Их мать едва жива.
Они же смотрят глупо и молчат.

## Зеркало

Я беспристрастно — серебро и точность.
Что вижу я — немедленно глотаю.
Не разбирая, не любя, без отвращенья.
Я не жестоко — я правдиво:
Глаз мелкого божка, четырехгранный.
Всегда смотрю на стену перед собой.
На розовую, в крапинку. Так долго
Смотрю, что кажется, стена — часть сердца моего.
Стена вдруг исчезает.
Нас снова разделяют тьма и лица.
Теперь я озеро. И женщина, склонившись,
Себя в моих глубинах ищет.

А после вновь глядит на лживый свет
Луны или свечи.
Я ее честно отражаю спину.
А от нее мне слезы, рук волненье.
Я для нее важно. Она уходит
И ко мне приходит снова.

С ее лица начнется новый день.
Во мне когда-то юной утонула,
Но отраженье с каждым днем
Страшней.
Старуха с рыбьей мордой
День ото дня навстречу ей встает.

## Лягушки осенью

Мать равнодушная — стареющее лето.
Все меньше насекомых.
Только мы в домах болотных
Квакаем и чахнем.

За утром утро тает в полудреме.
Восходит солнце поздно
В камышах. Не стало даже мух.
Топь высыхает.

Мороз прогнал и паука.
Здесь больше не может искать
Изобилие. Все меньше,
Меньше остается нас.

## Доброта

Доброта плывет по дому моему.
О как же леди Доброта мила!
Ее перстней рубины и сапфиры
Дымятся в окнах, в зеркалах
Улыбок больше.

Что может быть живее крика детского?
Так дико кролики кричат, но в крике
Нет души.
Все лечит сахар, молвит Доброта.
Сахар, он нам необходим,

Его кристаллы как компрессы.
О Доброта, о Доброта,
Как нежно собираешь по частям!

Японский шелк и бабочек отчаянных
— их на булавку, под анестезией.
И вот ты входишь с чашкой чаю,
Окутана паром.
Поэзия течет, как кровь,
Ее не остановишь.
Ты мне вручаешь двух детей, две розы.
ПОСЛЕ
Притянуты магнитом катастрофы,
Слоняется она вокруг, бесцельно пялясь
На пепелище, словно то сгорел их дом,
И словно ждет, что вместе с дымом тайна
Позорная наружу вырвется.
Охотники до горя
Чужого, забрызганные кровью
Чужих трагедий, после себя не оставляют
Ни ран, ни смерти, ни увечий.

Медея-мать, в зеленом одеянье,
Как у простой домохозяйки,
Потерянно среди руин бредет.
Неся тряпье, обугленную обувь.

Но погребальный догорел костер.
Толпа, допив слезу
Ее последнюю, уходит.

***Перевод с английского Валерии САРОТНИК.***



Оксана РЮХИНА

# *Мама, отец, мать**

## 5. Поездка в Колу, конец лета 1940

### *Второй арест отца. Ссылка семьи*

Но прежде чем обосноваться здесь, мы должны были снова ехать. На этот раз на Север. Когда потом в жизни мне приходилось вспоминать, где же я побывала в нашей огромной стране, то я вспоминала эту поездку, но потом, с годами, как-то о ней забыла. И только начав эти записки, вспомнила. Мы ехали в Колу летом 1940 года, видимо, потому что получили письмо от тети Сони. Но мама ничего о цели поездки мне не говорила, а рассказала что-то о карликовых полярных березках, о полярной ночи. Пока мы были в Сенной Губе, прославились папанинцы и челюскинцы, о них я читала еще в Сенной Губе. Говорили, что Папанин приезжал в Петрозаводск, и мальчишки бегали за ним. Заполярье вошло в моду. Кола оказалась довольно обыкновенным поселком с глубокой речкой, с большими, а не карликовыми деревьями. Мы остановились у тети Сони с Юрой. Она рассказывала о своей жизни, о проделках Юры, в разговоре присутствовал Андрей, но самого его я не видела. Однажды взрослые уехали в Мурманск, на один или два дня. Мы оставались с Юрой одни. Где была Наташа, я не помню, ей еще не было и года. Наверно, брали с собой. Все мое внимание поглощено было Юрой. У него была книжка А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Я ее тоже начала читать, смеялась при этом, особенно когда Юра начал петь стишки из этой книжки: «Сидела птичка на лугу, подкралась к ней корова, ухватила за ногу: птичка, будь здорова!» Голос у него был звонкий, мотив сам придумал залихватский. Книжку я всю не прочла, но отдельные моменты запомнила навсегда: такой эпизод у корабля «Победа», капитаном которого был Врунгель. «По» стерлось, и жители какой-то страны, увидев корабль, закричали: «Да здравствует “Беда”!» Я от души хохотала над этими страницами, не зная о той страшной беде, которая опять произошла в наших семьях.

На самом деле все было хуже некуда. Как я узнала спустя несколько лет, в июне 1940 года отец был арестован во второй раз и два месяца провел под следствием в Мурманске[1]. Мама и тетя Соня ездили к нему в Мурманск, но видели его или нет, не знаю. Нам они ничего не говорили.

Но уже в октябре 1940 года тетя Соня с Юрой и маленькой Наташей приехали к нам в Петрозаводск, гостить им пришлось недолго, надо было ехать дальше, куда, неизвестно. Много позже я узнала, что как члены семьи «врага народа», они по распоряжению НКВД были высланы из Колы (пограничной полосы), имея 24 часа на сборы. Юра был очень возбужден, мы с ним не ладили, но почему, я

---

[1] 6 См.: Шашалевич А. А. Другу трудящихся Иосифу Виссарионовичу Сталину // KP_02489_21.

* *Окончание. Начало в № 11 за 2016 г.*

не помню, может быть, и он сказал мне то же, что говорила тетя Шура какой-то соседке. Видимо, я постаралась об этом забыть. У Наташи болел животик, поэтому «понянчить» ее мне не пришлось.

На обратном пути из Колы мы, по-видимому, побывали в Ленинграде. По крайней мере, я помню, что у Эрнов Регина уже умела говорить, и бабушка учила ее молиться, причем на немецком языке: стоя в кроватке, она складывала руки и произносила что-то вроде «Im Himmel du, bleibe mir…»[2]. Мне это казалось очень интересным. Маленькие дети вообще мне нравились, но почему-то Наташу в это время я не запомнила.

Видимо, были и в Сестрорецке, а там с тетей Досей ездили за черной смородиной на какую-то станцию, которая недавно была финской территорией. Мне черная смородина не понравилась. А то, что мы на границе, — волновало.

## 6. В первый класс!

Когда мы вернулись из своего путешествия, то застали в нашей комнатке печника финна Пекку: он заканчивал делать печку-плиту. Мне вспомнился наш кот Пекка, который, как говорила мама, исчез после того, как «взяли» дядю Колю. В то время люди не говорили «арестовали», а слово это заменяли на «взяли», «забрали».

Началась у нас «новая» жизнь в Петрозаводске. Я пошла в первый класс 9-й железнодорожной школы, где мама преподавала немецкий язык. В сентябре мне исполнилось 8 лет. 1 сентября уроков не было, мы просто познакомились с учительницей. Ее звали Софья Ивановна Благовещенская. Строгая, пожилая. Мне кажется, что она даже носила что-то вроде железнодорожной формы. Мне нужно было, как всем первоклассникам, шить кассу для букв, готовить палочки для счета, шить перочистку из тряпочек, чтобы перо было чистым. Писали стальным пером № 86, кажется. Я уже читала романы, а тут… — детский сад! Но ко всему приходилось относиться очень серьезно. Кассу шила мама, да и перочистку тоже. Дела в школе шли нормально. Кое-что даже очень нравилось. Например, большая перемена, во время которой кто-то садился за пианино (а может быть, это был рояль), и мы парами ходили под музыку, делая какие-то фигуры. Скоро нам предложили сшить халатики, носить салфеточки для завтрака.

Я долго помнила почти всех детей из моего первого класса. Например, отличницу Люцию Саперову. Девочки с именем Люция я больше не встречала. Некоторых детей я узнавала после войны, но Люции среди них не было. Видимо, в первом классе нас приняли в октябрята, у нас появилась вожатая, класс был разбит на звездочки, и я была вожатой первой из них. В чем состояло мое руководство, не помню. Помню, что однажды, когда мы оказались в пионерской комнате, мое внимание привлекла книга, которая называлась «Евгений Онегин». Я открыла место, посвященное Татьяне и Ольге. Ольга мне больше понравилась. Я об этом романе слышала от Бекреневых, вот и зачиталась…

Учиться было легко, но однажды я допустила две ошибки, за которые меня очень ругала Софья Ивановна. Я написала «столб» с буквой «п» и, кажется, «река» с буквой «и». Больше я ошибок не делала, так хорошо меня вовремя отругали. Но я обиделась.

Дома я продолжала читать и детские, и взрослые книги. Очень интересной показалась книга Ванды Василевской «Комната на чердаке». Мы-то с мамой тоже жили на «чердаке». Герои книги — дети, оставшиеся без родителей, — семья. Они «выживали» в Польше, и в конце концов даже встречали Новый год с елкой, сами сделали игрушки, и все у них налаживалось. В предисловии говорилось, что

---

[1] «Отче наш, иже еси на небесех…»

жили дети в буржуазной Польше, их родители умерли, так как простому народу при капитализме плохо. А вот теперь к нам присоединилась та часть, где жили белорусы, и «жить стало лучше, стало веселее». Смысл был такой.

Интересно то, что в первом классе я болела только один раз. Это была «свинка». Мама принесла мне из школы «Маугли» Р. Киплинга. Но книга эта мне не понравилась. Видимо, я очень плохо себя чувствовала. Пришлось маме идти за книгами к Виктору Яковлевичу. Тот дал «Калевалу». Я читала, но удивлялась многому: странным фамилиям и проч. Рано было мне читать эту книгу, да еще без комментариев. Если не было детских книг, я брала то, что читала мама. Например, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго. Конечно, я не читала все подряд, а только то, что было мне интересно, например, историю Эсмеральды. Мама даже решила побеседовать со мною об этой книге и успокоилась, найдя, что ничего плохого я там не усвоила.

В первом классе мы довольно близко подружились с моей соседкой Сусанной Богдановой. Это была смуглая, черноглазая девочка, очень живая, умная. Она училась во втором классе, но в 6-й школе, которая была совсем рядом с домом. Братья и сестра в ее семье были где-то далеко, взрослые… А мама портниха, почти не могла ходить. И Сусанна делала огромную работу, ездила зимой за водой, относила работу мамы заказчикам, вероятно, занималась уборкой и прочими домашними делами, при этом успевала читать, гулять. Иногда, придя к ней, я зачитывалась какой-нибудь книжкой (например, не помню, кто был автор, но что-то о жизни крошечных существ — фантастика). Сусанна же звала меня на улицу. Лыж у нее не было, и мы катались на моих — каждая на одной лыже. Не очень удобно, но это лучше, чем в одиночестве на нормальных лыжах. Вообще Сусанна была очень непростая девочка. Неизвестно откуда у нее была какая-то тяга к шалостям, граничащим с хулиганством. Мне довольно трудно было с ней соглашаться, когда она, например, дразнила прохожих. Тем удивительнее было для меня, когда после войны я ее увидела: это была сверхскромная девочка, со мной она дружбу не продолжила.

Жизнь в школе шла своим чередом. В январе во время зимних каникул я была приглашена на елку «отличников», которая проводилась в 6-й школе. Детей было много, значит, учились прекрасно многие ребятишки в этот предвоенный год. Запомнилось, что нам предложили отгадать имя очень красивой куклы. Тот, кто отгадает, получит ее в подарок. Была и подсказка: имя старинное, русское. Я в это время в куклы уже не играла, но игра заинтересовала. Одна из девочек, на вид очень обыкновенная, скромная, назвала имя Марфа и получила куклу. Кроме этой елки, я была на празднике в Управлении Кировской дороги (школа у нас была железнодорожная). Была и в театре на балетах П. И. Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Заходили мы с мамой и во Дворец пионеров, где на парадной лестнице стояло чучело огромного медведя на задних лапах с подносом в передних. Дворец находился на набережной (ныне Пушкинская улица). Все здания, стоявшие здесь, были взорваны во время войны.

Надо сказать, что я очень любила в этот предвоенный год ходить в баню на Красную улицу, так как после бани мы обычно заходили к маминой приятельнице Марии Ивановне Зотиковой, которая переехала в новый дом на улице Ленина в квартиру на первом этаже. У Зотиковых было две комнаты, большая и поменьше, но вот дýша или ванной не было. Что меня здесь так привлекало, так это огромная куча старых «Нив». Выходившие ежемесячно дореволюционные журналы были переплетены по годам. Я погружалась в эти сокровища, читала рассказы с «Ъ» и «Ѣ (Ять)», рассматривала иллюстрации, портреты царя и его семьи, репродукции с известных картин. Наслаждалась этим богатством.

Однажды, когда маме показалось, что у меня температура, она даже оставила меня там ночевать, а потом Толя показывал мне диапозитивы. Галя, уже старшеклассница, с удовольствием со мной возилась. Так мы и жили.

У Евсеевых подрастал внук Толя. Дедушка Яков Васильевич любил качать его на ноге, сидя в качалке, напевая, кажется, «Марш Черномора». Сам Толя еще не говорил, любил поесть и при этом говорил «ням-ням». Мы с Сусанной иногда играли с Толей, как с живой куклой.

## 7. Свидание в Медгоре весной 1941. Планы на лето

### *Начало войны*

Ближе к весне мама куда-то уезжала ненадолго. Как потом оказалось, она была в Медвежьей Горе, где встречалась с братом — моим отцом. Приехав, она кому-то из друзей читала письмо отца к Сталину. Странно, что я при этом присутствовала и почти все поняла. Особенно мне запомнились ее слова: «Андрей держится бодро, но у него выбиты все зубы (якобы бревном)». Он сказал, что пытают там, что не дают спать и все время, круглые сутки, светят в глаза. Видимо, эти пытки он выдержал, судя по протоколам допросов во время второго ареста, которые мы с Наташей много лет спустя читали в его следственном деле. На вопрос следователя о знакомых, сослуживцах, друзьях он отвечал коротко: «В Мурманской области никого не имею»[1].

Кому мама читала «Письмо к Другу трудящихся» — для меня загадка. Может быть, тете Рите, ведь она приезжала в Петрозаводск весной 1941 года. Мы с Региной с удовольствием играли в снегу, таскали его в каких-то ящиках, прятали в сарай, чтобы потом летом делать мороженое. Вот какая я была наивная, хотя давно читала серьезные книги.

Год я закончила отличницей, даже попала в газету «Кировская магистраль». Как нас снимали, я не помню, а вот как ребята принесли газету в класс и громко называли мою фамилию, которую корреспондент исказил: «Шамалевич», — помню. Конечно, дело было не во мне. Отличников было много, особенно в нашем большом классе, никак человек девять. Просто нужно было показать нашу учительницу — отличницу. Конечно, в классе учились и очень «слабые» дети. С одной девочкой мне мама предложила позаниматься после уроков. Моя ученица просто заснула.

Видимо, через какое-то время после отъезда тети Риты с Региной мы получили письмо от Регининого дедушки Альфреда с приглашением приехать к ним на дачу в Мельничий Ручей (ст. Всеволожская). Письмо было очень интересное, остроумное, в нем дедушка нарисовал план, как найти дачу, которую он назвал «Кинь-грусть». Не знаю точно, какого числа мы выехали, но думаю, что где-то недели за две до войны. Мама говорила, что мы едем в Воронеж «на вишни», хотя в Воронеже у нас не было знакомых. Ясно, что она планировала заехать в Москву, чтобы как-то понадежнее отправить письмо «Другу трудящихся». Мне эта идея — ехать в Воронеж, где нет знакомых, не нравилась, но я об этом молчала.

Бабушка Эрн встретила нас радостно, она приготовила нам подарок и со словами: «Вот, Ксеночка, нашла небьющуюся вещь, а то все мои подарки либо разбиваются, либо их крадут», — вручила маме оранжевую пластмассовую салатницу (пластмасса входила в моду). Сама бабушка побежала на кухню, а я немедленно подбросила салатницу, но поймать не сумела, и край ее отбился. Мама спрятала ее, чтобы не огорчать Августину Георгиевну. А надо мной часто посмеивалась: «Это ж надо суметь!» Так эта надбитая вещь путешествовала потом с нами в эвакуацию. Пыталась мама подклеить, но тщетно. В гостях у Эрнов мне всегда было интересно. Тетя Рита преподавала в школе музыку (она закончила Московскую консерваторию). Ставила с детьми спектакли, сочиняла к ним музыку. Мне запомнились слова и мелодия к сказке «Теремок»:

---

[1] Протокол допроса подозреваемого Шашалевича Андрея Антоновича от 15 июня 1940 г. // ЦАКГБ РБ. Д. № 10194-С. Л. 19.

Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Мышка-норушка там горох толчет,
А лягушка-попрыгушка пироги печет.
Пироги у них капустные,
Очень жирные да вкусные.

Тетя Рита часто писала стихи. Мне они очень нравились. При этом она всегда следила за детской литературой. Видимо, в этот приезд я услышала, как она прочитала в газете довольно длинное и очень мне понравившееся стихотворение, по-видимому, С. Михалкова, которое я запомнила с одного раза на всю жизнь. Удивительно, что такая же история произошла с моей университетской подругой Риммой Троицкой. Она тоже всего один раз слышала его на каком-то самодеятельном концерте и запомнила еще лучше меня. Об этом мы случайно разговорились уже будучи пенсионерками.

Дни шли, приближались трагические для всего народа события, а мы и не подозревали ничего. Регина очень заботилась о том, чтобы ее новые лакированные сандалеты не запачкались, и при этом уже ездила на велосипеде по лесным тропинкам на даче, я качалась на качелях, подвешенных между елями, и в гамаке. Взрослые заботились о том, чтобы получше нас накормить, ходили за молоком к соседям, у которых был погреб и, кажется, даже пасека. И вдруг весть о том, что началась война. Мы, дети, совершенно не понимали того, что нас ждет, и даже радовались, что в Ленинграде была воздушная тревога и «наши отбили немчиков».

## 8. В эвакуации, 1941—1943

Почти сразу же мама решила, что надо ехать обратно, домой. В Петрозаводске оказалось, что здесь уже был налет на город, сброшены фугасные бомбы. Одна из них не взорвалась, а только пробила потолок и крышу и ушла в подвал. Якобы кто-то видел, что к бомбе была подвешена записка: «Чем можем, тем поможем». Так, мол, действовал рабочий класс в Германии. Но я думаю, что это фантазия. Еще какие-то бомбы были сброшены на железную дорогу. Во дворе евсеевского дома, вернее, в огороде, где земля была довольно легкая, песчаная, дядя Яша вырыл «убежище», похожее на окоп, но с крышей. Довольно скоро мы его «обновили». Однажды белой ночью мы с мамой как-то неожиданно проснулись, вскочили и, посмотрев в окно, увидели и услышали взрыв на Шоссе 1 мая, в том месте, где был поворот к вокзалу (теперь это товарная станция). Послышался гул самолетов, какое-то завывание, и по радио объявили «воздушную тревогу». Мы схватили пальто и бросились в убежище, построенное Яковом Васильевичем. Там постепенно оказались все обитатели дома, кроме Дарьи Сысоевны, хозяйки. Она сказала, что если уж умирать, так в своей постели. Но все-таки она смотрела в окно и видела, как бомбы падали на шоссе перед домом и загорались дома некоторых соседей. Люди были совсем не готовы и не знали, что бомбы надо брать щипцами и опускать в бочку с водой или засыпать песком. В каком-то доме бомба упала прямо на кровать. Меня все время, пока шла эта тревога, трясло как в лихорадке, наверное, даже зубы стучали. В результате этой бомбежки сгорели дома нескольких наших соседей. Дом Сусанны остался целым, а сама Сусанна рассказывала, что у них в уборной валяется газета, где Сталин и Гитлер сфотографированы рядом.

Моя мама довольно неожиданно прореагировала на события. Она сложила наши вещи в чемоданы, выставила их на улицу под крышей балкончика, который был построен год назад. Так пролежали эти вещи там около месяца. В городе шла мобилизация. Из нашей комнатушки мы проводили на фронт одного человека: Гри-

гория Антоновича Сипливца. Мама дружила с его женой. Он — учитель физики, она географ. Красивая молодая пара. Свои же мужчины у нас были «в лагерях».



*К. А. Шашалевич, Оксана и Н. Прушинская в 1947 г.*

Заговорили об эвакуации. Дети все новое часто встречают с радостью, особенно я, любившая путешествовать. Услышав, что мы будем ехать на барже, я спросила, а будет ли там стеклянная крыша. Настал день отъезда. Пришлось где-то искать подводу, так как вещи в руках было не унести до пристани. Автобусов тогда не было, а уж троллейбусов и подавно. Провожал нас Игорь Евсеев, наш верный помощник. Он, видимо, вез велосипед. Еще в Сенной Губе мама на выигрыш по облигации купила дамский велосипед, а кататься на нем так и не научилась. Мы опаздывали на баржу, подъехали, когда уже снимали трап, и мама решила оставить велосипед (потом Игорь увез его обратно).

Баржа оказалась далека от моих представлений. Очень примитивная. Даже крыши над головой не было. На полу трюма на своих вещах сидела довольно большая группа людей. Вот и все. Особенно страшно было, когда мы попали на середину Онеги: берегов было не видно, как в настоящем море, к тому же — огромные волны, качка, ветер, дождь. Мы и наши вещи промокли. Пассажиры говорили о том, что буксир, тянувший наши две баржи, сломался и ушел куда-то на починку, а две баржи крутились на волнах, ударяясь одна о другую. Нас мучили качка, холод. Это длилось трое суток. Затем выглянуло солнце, ветер стих и, наконец, появился буксир, который потащил нас на Вытегру. Помню, что высадившись там, мы даже навестили брата Марии Ивановны.

Путешествовали мы не вдвоем. С нами оказалась Лидия Ивановна Хурскайнен, наша соседка по евсеевскому чердаку. Эта старая женщина почти не говорила по-русски. (Она, видно, как-то позвала меня к себе в свою комнатку, красиво обставленную — вещи были какие-то невиданные, белый складной стол, расписной комод.) Старушке было 60 или 70 лет, я об этом не задумывалась. Она показывала мне фотографии своих взрослых дочерей, которые умерли. Как она оказалась в Карелии, не знаю. В Петрозаводске было довольно много финнов, с которыми ей можно было общаться. А мы с мамой — увы! — финского языка не знали. Я всегда с любопытством прислушивалась к чужой речи. Слушая, как Лидия Ивановна часто говорит своим знакомым «niin, niin!», я думала, что это означает «нет» — на самом деле, наоборот: «да, да!». Мама надеялась, что мы поживем в Вытегре, пока не прекратятся бомбежки. Все были уверены, что наши разобьют врага и мы быстро вернемся. Напуганная бомбежками старушка, наверное, думала так же. А я была рада «пополнению» в семействе и училась понимать Лидию Ивановну. Скоро я стала посредницей между ней и мамой.

Из Вытегры мы поехали в одну из деревень под названием Зеленино. Поселились временно у одинокой пожилой женщины. Я пошла в школу, мама на работу — тоже в школу. Помню, как мы собирали колоски, ходили в лес за клюквой. Пришлось переехать на другую, учительскую квартиру. И если мы не понравились пожилой женщине, то не понравились и учительнице, которая жила в «другой» половине дома. Прежде чем затопить печь, надо было идти открывать трубу к соседке. Меня это очень угнетало. Через месяц после нашего приезда

пришло распоряжение: приехавших «карелов» увозить дальше, так как фронт приближался.

Собрался целый караван из 12 барж, который должны были тащить два буксира по Мариинской системе до Волги. Точного пункта нашего назначения, по-видимому, не было, а у К. А. был план: доехать до Сталинграда, а затем в Северный Казахстан, к тете Мане, это сестра тети Доси. Обе они родные сестры, двоюродные для Хрисанфовых и Евсеевых. Матери дяди Коли и ее братьев родные сестры. Когда мама и дядя Коля учились в с/х техникуме и в университете, то тете Мане они как-то даже помогали.

### *На барже, осень 1941*

И вот началось наше месячное путешествие на барже. Поначалу оно было очень медленным. Мы проходили по каналу, стояли в шлюзах или около. Во время одной такой стоянки мы неожиданно встретили семью Забродиных. Их мама работала на одном из шлюзов, мы даже ночевали у них одну ночь, рады были видеть Нину, Валю, Шурика. А затем снова поплыли на барже. Она была уже более пригодна для длительного жилья. У нас была неплохая крыша и нары в три этажа. В одном квадрате этих нар на первом этаже поместились я, Лидия Ивановна и мама. Застлали свои постели, тут мы ели и спали. На корме была кирпичная плита, на которой можно было что-то сварить. Сколько нас поместилось в баржу, я не знаю, никто об этом не говорил. Но, видимо, не все три этажа были заняты. Точно помню своих соседей напротив: Запольские (папа, мама, Лена, Дима и их бабушка) и Поляковы — из Петрозаводска. С ними мы подружились. Леночка — очень красивая, умная девочка, постарше меня, с прекрасными косами, а брат ее Дима был мой ровесник. Из других пассажиров запомнилась молодая женщина с грудным ребенком, которая жила на третьем этаже. Ребенок совсем маленький. У матери от перенесенных ужасов пропало молоко, малыш поплакал, поплакал и умер.

Теперь я думаю, что баржа эта, видимо, была сделана для перевозки заключенных, которых было так много у нас перед войной. Время от времени к нашему каравану подходили катера, где было какое-то продовольствие, хлеб для наших пассажиров. Однажды удалось купить даже мясо (свинину), и его жарили на плите. Не будь войны, такое путешествие могло быть очень интересным. Чего мы только не видели за этот месяц! Белое озеро, река Шексна, новые города, река Волга, Ярославль, Кострома и др. Когда мы плыли по Белому озеру, то вдруг увидели церкви, стоящие прямо в воде, полузатопленные или затопленные по самую маковку. Тогда никто мне не ответил на вопрос, почему они оказались в воде, да, может быть, я и не спрашивала. Видимо, инстинктивно чувствовала, о чем спрашивать не надо.

Меж тем жизнь на барже шла своим ходом, а трагедии военного времени случались и здесь — казалось, далеко от войны. На нашей барже умерло несколько человек (видимо, в большинстве люди пожилые). Однажды, устав сидеть в темном трюме, я вышла наверх и перелезла на соседнюю баржу. Ничего особенного я там не увидела, но когда вернулась, то мама меня поругала и запретила посещать другие баржи, сказав, что там есть больные люди (эпидемия: то ли тиф, то ли еще что-то — не помню).

В тех условиях, в которых мы оказались, важно было всегда иметь кипяченую воду. Это нам всегда было доступно, т. к. мама взяла с собой самовар. Мы не только сами пили чай, но и соседей угощали.

Моя мама, пережившая гражданскую войну, хорошо подготовилась к поездке. Мы везли утюг — духовой; щипцы для завивки — теперь им доставали угли из печи; швейную машинку «Зингер», ручную. Все это очень пригодилось, но

было тяжелым грузом. Денег, продуктов, вещей, которые мы могли бы менять на продукты, у нас не было.

Взяли с собой две книжки: «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе; учебник французского языка для 5 класса. Иногда, сидя на нарах, я их читала (учебник, конечно, только перелистывала). Мама стала чувствовать себя лучше, у нее прошли те ужасные головные боли, о которых она говорила в Сенной Губе. Сейчас я думаю, что это случилось, как ни странно, оттого, что она увидела страдания многих. Раньше, может быть, ей казалось, что только ей досталась столь горькая доля. А теперь кругом много людей, бежавших от войны, испытавших много бед. Что-то на барже люди рассказывали.

Сколько времени плыли наши 12 барж — наверное, около месяца. Вот мы уже и на Волге. И однажды, проснувшись утром и выйдя на палубу, мы увидели, что вокруг баржи лед. Волга стала. А мы оказались у старинного русского города Кинешма. До Сталинграда, к счастью, еще далеко. Плохо помню сам город. Старинные, облупленные, толстостенные дома, много церквей. Может быть, мы не очень-то и видели город, потому что за нами, как нас теперь стали называть, эвакуированными, скоро приехали подводы и стали развозить нас по деревням.

## В Заглядках, осень–зима 1941

### *Уход Л. И. Хурскайнен*

Как потом говорили, на барже мы ехали месяц. Что-то рановато пришла сюда зима (если сравнивать с нынешними временами). Все трое: мама, я, Лидия Ивановна — оказались в деревне с поэтическим названием Заглядки. А Запольские, как мы узнали потом, были в Закусихине, где взрослые стали работать на сапоговаляльном заводе. Как и следовало ожидать, судя по названию, в Заглядках мы задержались ненадолго: там совершенно негде было работать маме. Да и есть было совсем нечего.

Привезли нас к одной солдатке-колхознице. Муж в армии, на фронте, двое маленьких детей. От двух до четырех лет. С самого утра мать их возилась у печи, а когда просыпались дети, то начинали ныть: «По-исть бы, попить бы». А мы тут в уголке — чужие, посторонние люди. (Горько скитаться, не имея своего угла.) Мать, видно, куда-то их отводила, а сама шла работать «в бригаду».

Я даже успела поучиться в школе, пока мы здесь жили. Школа была в трех километрах, в деревне Зеленино. Погода стояла холодная, ясная, кругом снег. Мама напялила на меня все что было. Все бы ничего, но особенно мне не понравилось то, что поверх пальто, которое когда-то было прислано отцом и тетей Соней (демисезонное), она надела мне на шею свою «лису», настоящую рыжую лису с хвостом и «глазами». Маленькие ребятишки начинали плакать, увидев это «чудовище». И я думала, что меня начнут дразнить, да и запросто могли начать дергать «лису» за хвост и т. д.

К счастью, ничего этого не случилось. Наоборот, мне понравились и дорога, и школа. Красивый сосновый лес, чистый воздух, снег, школа в лесу. Она была, как я потом поняла, поступив в педучилище, «двухкомплектная». То есть, я занималась в классе, где с одной стороны сидели второклассники, а с другой — 4-й класс. Первых было немного, и, дав нам какое-нибудь задание, учительница шла в 4-й класс и вела там обычный урок. Мне это даже понравилось: с заданием я справлялась быстро и слушала, что там преподают в 4-м классе. Даже жалко было покидать такую необычную школу. Но выхода не было.

Чем мы питались в Заглядках, не помню. Продуктов, видно, совсем не было, купить негде и не на что. Мама сказала Лидии Ивановне, что ей надо как-то найти себе работу. Однажды, когда я была в школе, Лидия Ивановна исчезла. Мне, по

правде, было очень грустно. Я уже ее понимала. Она была очень аккуратная старушка. Что-то рассказывала про свою жизнь. Например: «Мою мать было тридцать коров, — меня двадцать». Не унывала, называла какие-то предметы, и я их запоминала. Показывала свое драповое, очень симпатичное пальто и говорила, сколько ему лет. Даже какую-то финскую детскую песню пела, и я ее запомнила. Словом, с Лидией Ивановной было веселее. Меня она называла «Сеньюшка», а маму «Сеня Антона».

## «Отче наш». В Батманах, зима 1941 — август 1943

### *Письма из лагеря*

Однажды мама ушла в город Кинешму искать работу — за 25 км пешком. Вот тут-то я и вспомнила молитву «Отче наш». Эту молитву я прочитала в какой-то иностранной пьесе (кажется, немецкой). Удивительно, что я ее запомнила, и молилась, когда мне было страшно одной в Заглядках. На столе лежала, как мне показалось, одна конфета (круглая), и так ее хотелось съесть, но получше посмотрела — увидела луковку.

Когда мама вернулась, то оказалось, что мы уезжаем в другую деревню, Батманы. Там была школа-семилетка. И нашлась работа для мамы — учительницы биологии-химии. Преподавать немецкий язык она не пыталась во время войны. И правильно сделала. Запомнилось, что в Батмановской школе учился мальчик по имени Адольф. Беднягу задразнили. Его мать преподавала здесь русский язык и звала сына Долик. Но это не помешало ребятам вымещать свою злость на Гитлера на ни в чем не повинном мальчишке.

Пока нам не нашли жилье, нас приютила уборщица школы, у молодой женщины был ребенок-дошкольник. Потом я услышала, что женщину посадили в тюрьму за то, что она выкопала килограмм колхозной картошки. Скоро мы перешли в довольно большой деревенский дом, совершенно пустой. Почему-то мне никогда не приходило в голову спросить, а куда же девались его хозяева. Дом обыкновенный, не лучше других, никаких вещей, только стены, кое-где обклеенные газетами. Вообще-то в Ивановской области я не видела домов, где были бы обои на стенах. Везде голые бревенчатые стены. Кстати, их к Пасхе мыли. Большая кухня с русской печью. Две небольшие комнатки. И совершенно пустой сарай, где, видимо, когда-то был скот. Никакой уборной, никакого огорода. Пусто и страшновато, да и дров никаких. Не успели мы здесь поселиться, как нас обворовали. Украли мамину зеленую крепдешиновую блузку, в которой она уезжала из Сенной Губы, и еще что-то из белья: простыни и т. д. Почему-то плохо помню уроки в школе, да и учительницу смутно. Как видно, учение мало меня интересовало. Съехала на «хорошо». Помню, что со мной во втором классе училась Валя Кокуркина, дочь директора школы, и Ася — фамилию не помню. Почему я запомнила именно эту девочку? Мама ее, Александра Ивановна, была учительницей русского языка, муж ее работал где-то в Кинешме. Однажды она пригласила нас с мамой к себе в гости и угостила обедом. Там был хороший обед: зеленые щи с настоящим мясом. Казалось, в этом доме царит благополучие. Но увы! Я сначала не могла понять, что же отвечает Ася на уроках. Ее мама рассказала, что она родилась с волчьей пастью и заячьей губой. У Аси во рту не было нёба. Нужна была операция (какую-то часть работы врачи сделали, а остальную — нет, из-за войны). Мама сшила к Новому году очень красивые платьица для Аси и ее младшей сестренки Люси. Но я им не завидовала.

Главной проблемой для нас была проблема еды. Магазина здесь не было, иногда мы где-то получали немного муки, но испечь хлеб не могли: печь была, но не было дров. Собирали какие-то щепки — моя задача их найти. Мама зажи-

гала огонь — и варила «загусту» — довольно невкусная еда. Да и нерационально это. Зимой и летом одно и то же. В мирное время учителей, как видно, снабжали дровами, но не во время войны. Иногда маме удавалось сшить тем, у кого были дрова и хлеб, но нечасто. Хорошо, что я не очень-то любила поесть до войны, какие бы это были муки!

Зато интересных книг всегда оказывалось много. Я прочитала «Тихий Дон» Шолохова. Мама взяла его в роман-газете для себя. Многое из русской поэзии: Лермонтова, Некрасова — словом, то, что было в школьной библиотеке. Читала и книги об ученых, например, «Враг под микроскопом» о Мечникове. Иногда заглядывала и в газеты. Удивительно, что, несмотря на голод и холод, я болела в Батманах всего один раз: простудилась, и мне давали стрептоцид.

Зима 1941—1942-го в Батманах прошла довольно быстро, т. к. часть ее мы провели в других местах. Пришла весна 1942-го, и самое хорошее, что было весной, — это качели. Странно, но я почему-то совсем не запомнила деревенских девочек: ни лиц, ни имен. А ведь это они позвали меня в освободившийся от сена сарай, где были подвешены качели. И я не боялась, когда они чуть ли не перелетали через бревна, к которым были привязаны.

Однажды я чуть ли не поймала налима. Недалеко от дома, на задворках улицы, был ручей, который сильно разлился, и вода быстро бежала в нем куда-то. Я подошла к камню на берегу и присела на корточки. И вдруг появилась рыбья голова, я даже схватила ее, но не тут-то было, ловкостью рук я никогда не отличалась. Зато в другой раз мне просто повезло, без всяких усилий. Чья-то курочка снесла яичко в прошлогоднюю траву.

Видимо, весной 1942-го мама стала получать письма от дяди Васи и моего отца. Дядя Вася был где-то в Горьковской области, на станции, название которой я навсегда запомнила — Сухобезводная. Мама старалась как-то поддержать братьев. Собрала посылки. Помню, что там были очень сухие сырники (чтоб не испортились, она специально сильно высушила) и что-то из одежды, еще табак — чтобы они могли выменять его на продукты.

Летом она, как правило, работала где-то в колхозе, со старшими школьниками. Мне же она сказала, чтобы я делала то, что и все девочки моего возраста: я с ними сушила сено, переворачивала его граблями, сгребала. Если ребята шли в лес за грибами, то и я шла с ними. Частенько, когда мы возвращались из леса, собиралась гроза, и было страшновато. Однако все, что я ни приносила, шло в дело. Летом легче было найти какие-то щепочки в самой деревне, и мама разводила огонь, чтоб приготовить грибы.

Однажды она сшила мне очень симпатичное платье из ситца, который был предназначен для одеяла. Она придумала интересный фасон: рукава с буфами, воротничок в тон расцветки украсила красивыми пуговицами. Я в нем вышла на улицу, как «модель», и тут поступили заказы: сшить такое же платье. Может быть, мама и то платье, которое я поносила, продала, т. к. я не помню, чтобы оно у меня было.

## В гостях в Закусихино летом 1942

### *Гадание*

Летом мы побывали «в гостях» в деревне, которая оказалась в пяти километрах от Батманов — в Закусихино. Дорога туда шла через лес — очень красивый, светлый. Вообще, здесь, в центре России, мне очень нравилось, и маме тоже. Запольские жили в одной большой комнате, чисто прибранной и какой-то уютной. Накормили нас обедом (суп был из конины и мне показался вкусным). Все взрослые работали, что-то делали, а Леночка шила куклы. Тут я вспомнила свою, оставленную в Петрозаводске — красавицу с закрывающимися глазами. У Лены

были более скромные куклы, т. к. из-за войны у многих детей совсем ничего не было, и куклы, сшитые Леной, тоже могли быть детям дороги.

Больше всего нас всех волновал вопрос, когда же, наконец, кончится эта ужасная война. Запольские говорили, что люди гадают с помощью блюдца и задают вопросы примерно так: «Товарищ Пушкин (или: Дух Некрасов), выйди со мной поговорить». И далее вопрос: когда же кончится война?

Мы смеялись, но тоже попробовали поставить блюдце — у нас ничего не получилось. Блюдце не крутилось, хотя мы упорно нагревали его своими руками. Оставалось только терпеть и ждать конца этой бесконечной войны.

Мы смеялись, шутили, вспоминали Петрозаводск и поездку на барже, делились своими наблюдениями о здешней жизни. Мама через Нину Федоровну сумела здесь купить мне новые валенки, черные, что было просто замечательно. Я эти валенки и плюс те, которые мне прислали в Сенную Губу из Колы родители, носила вплоть до 7-го класса.

Когда Запольские вскоре навестили нас в Батманах, то я от неожиданности вместо того, чтобы сказать, что мама обрадуется, сказала, что мама «испугается». Мы над этим потом много смеялись, но доля правды в этом была: а чем угощать? Все равно в любом случае это было здорово. Когда мы в 1942-м были у Запольских, отец их еще работал на фабрике, но потом его взяли в армию.

### *Зайчик*

Вскоре у нас в доме появился новый «жилец». Это была для меня большая радость. Во время сенокоса женщина нашла двух маленьких зайчат. Одного оставила себе, а за другого мама сшила ей платье. Зайчонок был чудесный, кормила я его травой, особенно хорошо он ел подорожники. Жил у нас в кухне, под печкой. Я убирала за ним его «горошины» и вытирала лужицы, поначалу не очень большие. Хоть я и прочитала к этому времени довольно много серьезных и умных книг, но еще оставалась ребенком. Однажды решила пойти с зайчиком погулять. Где-то на задворках нашего дома зайчик, увидев зеленую травку, резво рванулся у меня из рук и исчез где-то среди грядок. У меня, наверно, успели появиться слезы на глазах. К счастью, моя мама не была такой растяпой, как я. Быстро поняв, в чем дело, она схватила тюбетейку у стоявшего рядом мальчишки и накрыла ею нашего зайчика. Больше я уже с ним не гуляла.

Были летом и приятные дни. Созрела в лесу малина, и мама оказалась как-то раз свободной от работы. Мы пошли в лес вместе с ее ученицей, красивой кареглазой девочкой, и ее братом Мишей, который перешел в 6-й класс. Малины было много, но особенно вкусна была желтая, или «белая» малина. Мама говорила, что в Белоруссии у них тоже встречалась такая. Мол, бабушка, Ефросинья Фоминична, варила из нее варенье, которое берегла для самых дорогих гостей. Еще здесь иногда встречались ягодки как бы сросшиеся, и тогда Миша бежал с ними ко мне — ведь это означало «счастье».

И еще одно у меня есть воспоминание о Батманах, о людях этой деревни. Не помню, кто именно из детей, даже не помню почему-то их лиц, — но кто-то же позвал меня на дальний конец села, где у ребят была «будка», домик, сооруженный детьми из досок, здесь они собирались и играли. И именно в тот день, когда я туда пришла, кто-то из взрослых дал всем детям по куску домашнего круглого хлеба, намазанного медом. Для меня это было совершенно неожиданно и, конечно, радостно.

Внезапно жизнь в Батманах закончилась. Мама сказала, что мы уезжаем в другое село. Не знаю, как далеко мы уехали, почему-то об этом я не спрашивала, но за день добрались на лошади, запряженной в телегу, до села Решма, которое было побольше, чем Батманы, и находилось на берегу Волги, в 25 км от города

Кинешма. Конечно, это было нелегко, но мама мне заранее ничего не говорила про свои хлопоты. Ведь даже повозку, лошадь было нелегко найти, да и, наверное, дорого. Но я-то ни о чем таком тогда не задумывалась, а от поездки ждала только хорошего. Был конец августа, погода отличная, без грозы, дождя. Деревни, через которые мы проезжали, казались даже нарядными. Мы везли с собою нашего зайчонка в корзинке. Все было хорошо, кругом красота, особенно леса.

## Решма, конец августа 1942

### *Семья Кузнецовых-Пузыни*

И вот Решма. Наше жилье на высоком берегу Волги. Конечно, не так, как сейчас на даче, где озеро видно из окна, как будто мы на корабле, в каюте. Но кусок Волги был виден из нашего окна. Теперь я считаю, что нам крупно повезло, здесь оказалось больше шансов выжить. Само село было больше, чем Батманы, со школой-десятилеткой, сюда приходили дети из окрестных деревень. У мамы появилось больше работы, она преподавала биологию и химию, на ее зарплату можно было купить 200 г сливочного масла. Каждый день мы имели по 500 г хлеба — рабочая карточка у мамы — и 200 г у меня, как у детей. Ничего больше, конечно, не выдавали, но и это было достижение, особенно по сравнению с Батманами.

А еще вокруг оказались очень хорошие люди. Особенно повезло мне — у меня появилась настоящая подруга. (Правда, это я поняла, увы, довольно поздно.)

Поселились мы в большом — по тем временам — доме. Нам предоставили комнату с тремя окнами, два из них в сторону Волги, а одно выходило в сторону детского дома. Когда-то здесь был монастырь. Церковь, видимо, разрушили: из окна были видны невысокие развалины, а дальше виднелся детский дом: его кухня-столовая и здания, где жили дети.

В нашем доме, не совсем обычном для здешних мест, кухня была совсем маленькая, но с русской печью. Кроме нас в доме жила семья Кузнецовых и Пузыни — 7 человек; как и мы с мамой, они были из числа эвакуированных, приехали из Новосокольников (теперь Тверская область). Патриархом семейства была Елена Анастасьевна Кузнецова, мать пятерых детей, еще довольно молодая женщина. Муж ее (имени не помню) и зять Тимофей Филимонович Пузыня (ученики придумали называть его Патефон Телефонович) находились на фронте. Ее замужняя дочь Валентина Пузыня работала учительницей русского языка и литературы, одновременно и библиотекарем. У Валентины была дочурка Нина трех лет, очень симпатичная девчушка. Еще трое детей Елены Анастасьевны были: десятиклассница Галя, пятиклассница Лида и Игорь четырех лет. Таким образом, четырехлетний Игорь был дядей для трехлетней Нины. И дядя, и племянница ходили в один садик. Ребята просто редкостные. Никаких капризов, драк, шума.

Еще один член семьи Кузнецовых: сын Елены Анастасьевны — жил в Кинешме, учился в ремесленном училище и работал на заводе. У Кузнецовых я видела необычную ложку, совершенно круглую, сделанную им. Как строго было во время войны! При мне, за два года, он ни разу не приезжал к матери. Однако этот подросток был причиной несчастья в семье, произошедшего еще до нашего приезда в Решму… Мальчишки всегда любят баловаться с огнем, патронами, порохом! Все Кузнецовы были голубоглазые и очень симпатичные блондины. Только у Лиды лицо, обожженное порохом, было усеяно синими точками, со шрамом, уродующим ее рот и подбородок. Ей требовалась косметическая операция, и думаю, что после войны операцию сделали. Но сейчас она несколько лет, как и Ася в Батманах, родившаяся с патологией «волчьей пасти», должна была ждать и терпеть.

С Лидой мы подружились уже в первый день знакомства. Наша дружба началась с того, что она принесла огромную кипу книг из библиотеки, которой заведовала ее сестра. Как и я, Лида тоже очень любила читать, но читала медленнее, чем я. Вряд ли это было моим преимуществом, но Лиду это очень удивило. Вообще, она относилась ко мне как к равной, хотя физически была сильнее и, конечно, умнее. Разница в возрасте нам не мешала. Помимо книг она принесла с собой сладкие белые сухарики — остатки прежней роскоши, — вкус которых я почти забыла. Никогда мы с Кузнецовыми не спорили, не ссорились, помню о них только хорошее.

У нас жил заяц, за которым по мере его роста все труднее становилось ухаживать. А Кузнецовы привезли с собой замечательную собаку Пуську: белая-белая, только нос и глаза черные — помесь шпица и лайки. Хвост колесом. Собака очень злая. Если кто-то чужой появлялся в доме, приходилось ее убирать на веранду или в комнаты. А в обычные дни ее было не видно и не слышно. Так что воры нам были не страшны, хотя, правду сказать, и красть-то было нечего.

### *Наш быт*

В Батманах огорода мы не имели. А здесь с одной стороны мы имели немного земли у Кузнецовых, а с другой — у нас. Немного картошки мы с мамой «заработали»: недалеко от школы колхозная картошка росла, и если выкопаешь определенное число мешков — кажется, десять, — то небольшую часть получаешь себе. Меня поразило, что между картошкой, как сорняки, росли белые маки, по виду похожие на красные, но никто их не собирал.

Что мне не нравилось в местных жителях, так это привычка жевать «серу». При этом они легко отдавали часть, вытаскивали изо рта и угощали других. Хоть и часто хотелось есть, но ни разу я не соблазнилась пожевать эту «серку». Говорили, что она чистит зубы, тем и полезна.

Расскажу немного про наш весьма скудный быт. В нашей комнате стояла примитивная плита, без конфорок. Наша железная кровать была застлана досками, мы спали на матрасе, набитом соломой. Стол, скамейки. Наш самовар, всегда нас выручавший, стоял на столе. Обычно на него было надето мое старое пальтишко — «рыжулька» — и шапочка. И казалось, что какой-то ребенок сидит на столе. Многих это веселило, но на самом деле в этом был серьезный смысл. Вода в самоваре довольно долго оставалась горячей. Ни электричества, ни радио в Решме, также как и в Батманах, не было. Вечером, когда стемнеет, зажигали «коптилку» — маленькую баночку с керосином, в которую был опущен крохотный фитилек (керосин достать было очень трудно). При этом не было и спичек. Чуть шевельнешься или неловко повернешься, вздохнешь — коптилка гаснет. Но и тут мы с Лидой находили выход. Брали с собой наш духовой утюг и шли на кухню в детский дом. Там нам всегда давали горячий «уголек». Мы дома все разогревали и получали огонь.

При коптилке мама шила, часто строчила на машинке «Зингер», чем испортила свои глаза. Чего ей только не приходилось шить: и ватные брюки, и фуфайки, и платья и т. д.

Не было мыла, соли, бани. Голову промывали щелоком, сделанным из золы.

### *В третьем классе. Таня и Люся*

Еще до начала занятий я познакомилась с двумя будущими одноклассницами: Таней Князевой и Люсей Власовой. Школа оказалась близко от нашего дома, и мы познакомились на улице где-то около нее. Таня была очень хорошенькой девчушкой, с карими глазами и кудрявыми волосами. Люся — блондинка с голубыми

глазами. Девочки стали мне рассказывать, что были или бывали в Кремле в «сарафанчиках-раздуванчиках» и даже видели Сталина. Я им почему-то не поверила, но промолчала. Оказалось, что Люся живет с дедушкой и бабушкой и с их дочерьми — очень молоденькими девушками, — а мама у нее умерла. Как и отчего, она не говорила, а я не спрашивала. Про отца она тоже ничего не сказала. Как-то раз она пригласила меня к себе в дом, находившийся на краю оврага. Это был крошечный домик — по сравнению с тем, в котором мы жили. Кажется, у них была одна комната, где царили чистота и порядок, хотя дедушка Люды был сапожник.

Таня тоже жила в очень небольшом домике, принадлежавшем ее бабушке. Домик стоял на высоком берегу Волги, тоже недалеко от того оврага, по которому шла дорога к Волге. Мать Тани работала в решемской школе. Кажется, у них были еще две дочери, младше Тани, очень красивые дети. Может быть, семья приехала из Москвы к бабушке. В доме у них я бывала очень редко.

### *Посылки на фронт. Письма от знакомых*

В школе нас призывали посылать посылки на фронт, с рукавицами, в которых были бы два пальца для стрельбы, с кисетами. Но я, увы, никому ничего не слала, так как вязать не умела, да и не из чего было вязать. Ваты, из которой вязали другие девочки, у меня не было. Да и шить я не умела. Весточку с фронта мы все-таки получили от Игоря Евсеева. Письмо было очень короткое, но хорошее: Игорь даже ухитрился как-то оригинально сложить конверт. К этому времени мама через Бугуруслан нашла наших многих знакомых. Например, мы получали письма от тети Маргариты из Малошуйки Вологодской области. Несмотря на то, что у них было очень голодно, она писала стихами. Прислала свою фотографию с Региной, с надписью «Смотри, как выросли дети, как состарились “отцы”».

Дедушка Регины — тот, который написал нам остроумное приглашение на дачу, умер в Грибанихе от голода, бабушка Августина Георгиевна прислала маме письмо, где жаловалась, что «Маргарита не кормит» их. Мама только горестно вздохнула, сказав, что наверняка ей нечем их кормить. Старикам карточек не выдавали. Откуда могла взять еду тетя Рита? Может быть, Николай Михайлович что-то присылал? Не знаю. Но многие наши знакомые умерли в эвакуации. Так и семья тети Риты, уехав из Питера от блокады, испытала ее ужасы в глубоком тылу — в Архангельской области.

О тете Соне с Юрой и Наташей ничего не было слышно. В разговоре о них мама сказала, что у меня есть еще брат Артур, нежный и добрый мальчик. Я этому обрадовалась и, взяв чистый листок, написала все имена в «столбик»:

Юрий Андреевич
Артур Андреевич
Оксана Андреевна
Наталья Андреевна —

и была очень довольна, что у меня есть братья и сестра. Мама всегда говорила: «Одно дитя — это не дитя, это несчастье, а не дитя». Она рассказывала про свою большую семью Шашалевичей и про Зыковых — семью тети Сони, тоже большую.

## Попытки улучшить питание

### *Посылка в лагерь зимой–весной 1943*

Мама моя была очень находчивой в том, чтобы спасти нас от голодной смерти. Шила, например, за картошку. Услышав, что некоторые хозяева коров «брезгуют» молозивом, просила это молозиво и из него готовила в печке подобие творожной запеканки. Оно выглядело красиво, а я, глупая, еще и

выпендривалась, думая, что тут есть какой-то подвох, мне вкус не очень понравился.

Надо сказать, что за годы эвакуации мы, т. е. я несколько раз, может быть, раза два за три года, ели конфеты. В честь Октябрьской годовщины в Батманах и, кажется, один раз в Решме — какие-то конфеты, не помню, в честь чего, может быть, просто под Новый год.

И горько, и смешно вспоминать те усилия, которые мама предпринимала, чтобы как-то улучшить наше питание. Речь идет о нашем любимце — зайце, который превратился в настоящего красавца. По ночам он вскакивал на окно и лапами отбивал «зорю». Был ручным, подходил ко мне и просил кусочек хлеба. Испортил мое пальто, расцарапав рукав. Его прыжки становились все длиннее, и однажды он оставил чернильное пятно на стене (бревенчатой). Как ему это удалось, просто не понимаю. Через некоторое время мама поняла, что это зайчиха, и поэтому, услышав, что у одной ученицы из заволжской деревни дома тоже есть заяц, решила завести зайчат.

Примерно после зимних каникул наша «зайчиха» вернулась из путешествия за Волгу. Вид у нее был прекрасный, но, внимательно осмотрев ее, мама обнаружила, что это вовсе не зайчиха, а заяц-русак. Имени он не имел у нас — просто «заяц». По-прежнему ходил за мной. Вставал на задние лапы и передними стучал по ногам, прося кусочек хлеба. Бил «зорю», барабаня по окну, прыгал в длину комнаты, не подозревая, что участь его решена.

Письма от отца были такого содержания, что надо было срочно его как-то подкормить. Мама закоптила заячье мясо, прибавила еще чего-то съедобного и отослала отцу в лагерь, находившийся где-то в Коми АССР.

Она помогала ему чем могла. В нашем огородике в Решме был посажен табак — она его снова послала с той же целью, что и в 1942-м: чтобы отец мог выменять его на продукты.

Увы, ничего из этих затей не получилось. Хотя посылка должна была идти там, где не шли военные действия, не бомбили, но кто-то попросту ее присвоил — скорее всего, уголовники.

Отец писал, что так плох, что его обещают выпустить. Мы ждали его весной и летом 1943 года. Мама говорила, что он все умеет делать, много чем мог бы помочь в огороде. Она надеялась, мы все ходили на пристань встречать пароходы — напрасно… Письма от отца перестали приходить, и мама написала в лагерь запрос, а оттуда, кажется, ответили, что он выбыл в Кинешемский район Ивановской области.

Отцовские открытки — печальная память — хранились у мамы много лет. Наконец, около 1967 года, когда мы доживали последние дни в евсеевском доме, назначенном на снос, она сожгла их, приговаривая: «Нет, такая боль не должна существовать!»

## Жизнь в мире культуры

### *Прошлое и настоящее*

Несмотря на то, что в Решме отсутствовало радио, мы были в курсе того, что происходит в мире культуры. Например, мы ходили в кино. Довольно много фильмов посмотрели, самые свежие: фильм «Радуга» по книге Ванды Василевской, оставивший очень сильное впечатление (недавно я снова посмотрела его по телевизору); «Секретарь райкома»; «Александр Невский»; «Три мушкетера»; «Свинарка и пастух» и др. Лида и я знали и пели многие создававшиеся во время войны песни: «Огонек», «Темная ночь», «Катюша».

Третий класс мы с Таней закончили круглыми отличницами, хотя, как мне кажется, я совершенно не интересовалась школьными делами. Однако со школой у меня связано одно очень приятное воспоминание. В военные годы было принято по ночам во всех организациях дежурить у телефона. Существовало такое дежурство и в нашей школе, и когда дежурить была мамина очередь, она брала меня с собой; мне это очень нравилось. Просторная учительская казалась очень уютной, теплой. По всей школе топились печи, а в учительской стоял диван; на нем можно было окунуться в мир периодики. Особенно мне нравилось читать пионерские журналы. Там я познакомилась с повестью Л. И. Лагина «Старик Хоттабыч» и другими произведениями советской художественной литературы для детей.

Чтение в Решме было для нас с Лидой настоящей отдушиной во все время нашей полуголодной жизни. Чего мы только не прочитали! Среди прочитанных книг была «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу в двух изданиях: дореволюционном и советского времени. Книга мне понравилась, но я не могла не заметить, что текст ее подвергся «редактированию» с советских позиций. Ева, героиня книги, в дореволюционном издании очень верующая, как и Том, совсем другая в советском издании. Дореволюционная книга была с прекрасными иллюстрациями, в отличие от советского, в котором были лишь какие-то небрежные рисунки.

Откуда, от кого Лида приносила такие «старинные» книги, не знаю, я тогда об этом не задумывалась. Но помню, что как-то раз, по какому-то поводу, я побывала в одном старинном доме, где обстановка была «дореволюционная»: горка, бокал, на котором изображен царь Александр II, и на нем надпись: «Царю-освободителю». От Лиды я узнала, что Решма, по рассказам жителей, до революции была торговым селом, здесь жили богатые купцы: встречая своих гостей с пароходов, они устилали лестницы коврами. Здесь были одна или даже две церкви — как и в Сенной Губе в Карелии, — и большой монастырь, в советское время разрушенный.

Школа при нас размещалась в двух двухэтажных зданиях. Одно, в котором я училась в 3-м классе, было с большими окнами, более современное, чем второе, которое стояло у соснового леса, похожего на парк, совершенно чистого, без хвороста. Мы туда бегали за шишками для самовара. Занятие вроде бы легкое, но для меня неприятное. Ведь в лес приходилось ходить босиком, отчего ноги бывали поцарапаны и разбиты иногда до крови.

## В четвертом классе, осень 1943 — весна 1944

### *Уроки французского*

В четвертом классе я училась в более старом, мрачноватом здании. Но если мы шли по дороге через лес, то нам попадались и довольно красивые дома, такие же почти, какие я видела из окон вагона, когда мы ездили под Ленинградом в Мельничий ручей к Эрнам или в Сестрорецк к Синицыным. В одном из этих домов жил директор школы по фамилии Беккер (по-видимому, поволжский немец). Потом его призвали в армию. Его жена заведовала больницей, у них был сын-семиклассник, который зимой пролетал на своих красивых лыжах мимо нас с Лидой, смешно одетых, в валенках, тащившихся на школьных лыжах. Социальное неравенство — да оно всегда было!

Обстановка в поселке, да и в школе, в новом учебном году была более мрачной, чем в предыдущем. В соседнем от нас доме (двухэтажном) умерла от туберкулеза молодая девушка. Почему-то совершенно изменилась Таня Князева, со мной совсем не общалась, и голоса ее не было слышно. Может быть, дома у нее возникли большие трудности или об отце ничего не было слышно, а ведь у нее в семье были ребятишки младше нее. Никаких пионерских мероприятий у нас не было в 4-м классе. Появилось много новых «детдомовцев».

Первые уроки проходили в полумраке — не было освещения. Зато после уроков учительница читала нам очень интересные книги: «Белеет парус одинокий» В. Катаева и другие.

Мы с Лидой ходили в лес за дровами. Искали сухое дерево, распиливали его на несколько частей и несли, закинув на плечо, домой. Лида говорила, что надо обязательно искать подальше от Волги.

Дома у меня произошло совершенно невероятное событие: я начала изучать французский язык. Под предлогом, что мне он нужен, мама привела к нам однажды Евгению Павловну Бейер, эвакуированную из блокадного Ленинграда. В свое время Евгения Павловна окончила Институт благородных девиц, находившийся в Смольном. Я спросила: а зачем мне нужен французский язык? Евгения Павловна ответила: «Для того, чтобы читать французскую литературу в подлиннике». Мама быстро напекла какие-то особенно красивые и вкусные картофельные котлетки. Она потом говорила, что Евгения Павловна очень многое знает, но в реальной жизни беспомощна, несмотря на то, что в Институте благородных девиц учили абсолютно всему, в том числе и готовить пищу. Слушать Евгению Павловну было интересно. Она подробно рассказала о жизни в блокадном Ленинграде. И мы со своими 500 и 400 граммами и прибавками в виде квашеной капусты и собранных сушеных грибов и ягод, а также получаемой иногда за мамино шитье картошки, казались себе вполне благополучными по сравнению с блокадниками.

С Евгенией Павловной мы прочитали тот учебник для 5-го класса, который привезли с собой, и я совсем не ожидала, что все эти знания мне когда-нибудь пригодятся. Но так оно и случилось, когда я стала учиться в университете: удивительно, но многое я помнила. А в военное время я, конечно, никому не говорила, что дома занимаюсь французским языком с репетитором, как какая-то дворянская дочь. Мама-то хотела просто подкормить Евгению Павловну, не обижая при этом.

### *Шитье. Болезни. Жестокая хозяйка коровы*

Начались зимние каникулы, и мама решила их по-своему использовать. Договорились через ученицу старших классов о работе в одной из деревень — в качестве портнихи. И мы с мамой отправились в какую-то деревню пешком. Все было бы нормально, если бы не наша сомнительная обувь, из-за которой мы провалились в какую-то яму на дороге. Хорошо, что недалеко оказалась деревня, где нас пустила в чуть теплую баню, и мы просушились. На мне были резиновые боты, в которых я сфотографирована в пятилетнем возрасте.

Потом мы пошли дальше и добрались до места, где мама стала шить. Мне было интересно, что в избе бегал маленький поросенок, жили куры. Нас, не помню, чем кормили, и даже пообещали угостить «кокурками», по виду напоминавшими кексы. Это слово было мне незнакомо, но в Батманах директором школы был Кокуркин.

Поход имел для меня последствия нехорошие. У меня заболел зуб, опухла щека, так что и глаз не было видно. Было очень больно. Пришлось лечь в больницу. Диагноз врачей — воспаление надкостницы от зуба. Назначили операцию, но делать ее не стали, так как нарыв сам прорвался утром того дня, на который была назначена операция. В больнице я пробыла неделю, читала там «Поднятую целину» М. Шолохова, особенно мне понравился дед Щукарь. Потом мы ходили с мамой удалять мой зуб — шестерку, кажется. Никакие щипцы не подходили, пришлось ломать. Я, конечно, все терпела, а маме было, видно, хуже, чем мне.

Чтобы укрепить мое здоровье, мама попросила хозяйку красивого дома и прекрасной коровы (холмогорской породы, кажется) продать пол-литра молока. Та отказала, сказав: «Все равно твоя дочь умрет…» Наверное, у той солдатки, к которой я ходила за молоком, корова не доилась. Я плохо знала ту жестокую

старуху Новикову, но красавицу корову ее я часто видела — это что-то фантастическое. Говорили, что она давала по 25—30 литров молока в день. Не знаю, какова была семья Новиковых, но их невестка работала в школе, и я думала, что она, видимо, очень несчастливая — у нее всегда были синяки под глазами.

Из-за болезни я месяц не ходила в школу. Однако никаких пробелов в учебе никто не заметил.

Через некоторое время — наверное, в воскресенье — мама опять ушла шить в деревню. Мы с Лидой лежали у нас в комнате на кровати и по очереди читали вслух. Когда моя очередь читать закончилась, и я посмотрела на Лиду, то поняла: что-то с ней не так. Дотронулась до нее и поняла, что Лида вся горит, у нее жар. Оказалось, что она заболела брюшным тифом. Может быть, выпила сырой воды или съела что-то опасное. Ее лечили в больнице больше месяца. Вернулась бледная, стриженая под ноль, как я в 3-м классе.

Между тем пришла весна, надо было работать в огороде. Осматривая прошлогодние грядки, мы с Лидой нашли что-то съедобное, как нам показалось. Ночью у меня страшно заболел живот. Пришлось разбудить маму. Она встала, подошла к печке, достала уголек и, раздавив его, дала мне проглотить и запить водой. Все прошло, боль как рукой сняло.

## *Мамин портфель*

Приближались экзамены, в том числе и в нашем 4-м классе. Ни о каких билетах нам не говорили, да и не показывали ученикам, даже в 5-м классе нам они были неизвестны. (Это потом, спустя много лет, билеты печатались отдельной брошюрой.) И вот однажды пришли ко мне домой две десятиклассницы и попросили показать им билеты по химии, хранившиеся, как они полагали, у мамы в портфеле. Я в этом ничего плохого не увидела, достала билеты (тетрадь) и показала им. Они полистали тетрадь недолго и ушли.

До этого я как-то вообще не интересовалась содержимым маминого портфеля, а теперь обнаружила то, что мне было интересно почитать самой.

Во-первых, письмо отца. Я слышала его в мамином чтении в Петрозаводске, но одно дело — слышать, а другое — самой читать. Все становилось на свои места. Дойдя до слов: «…жена моя после ареста осталась с 3-мя малыми детьми и не могла иметь самостоятельный заработок»[1], — я поняла суть и ужас случившегося с нами, помощь и выручку женщины, назвавшейся моей мамой. Я не осуждала ее святую ложь — напротив, испытывала глубокую благодарность, желание низко поклониться ей в ноги за свое спасение и воспитание.

Во-вторых, я прочитала свои документы. Прочитала свидетельство о рождении на белорусском языке, где было написано, что мой «бацька Шашалевіч Андрэй Антонавіч... маці — Зыкова Софья Андрэеўна». Софья Андрэеўна? Стало ясно то, о чем я раньше думать не хотела. «Тетя Соня» — Софья Андреевна Зыкова — моя родная мать… Она помнила обо мне, присылала игрушки… Потом отец приезжал к нам с моим братом Юрой… Отец и мать вместе прислали мне одежду, обувь, сладости…

Мои родители! Я полнее ощутила их общую заботу, увидела единство, испытала чувство семьи...

Было тревожно: шла жестокая война; отец, отпущенный из лагеря, так и не приехал; судьба матери тоже была неизвестна. Может, ни родителей, ни сестры, ни братьев уже не было в живых.

[1] KP_002489_7.

Прочитала я и заявление, присланное отцом из лагеря: он соглашался на удочерение. Видимо, до войны такого документа у мамы не было, а теперь меня вписали в ее паспорт. Иначе могли быть придирки.

В Решме мы решили, что меня будут звать Оксаной, а не Ксеней, как звали в детстве, т. к. я училась в той же школе, где работала мама. Идея была мамина, а то, что названа я была по имени героини рассказа Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством», уже было мне известно.

О своей находке я маме ничего не сказала. Через несколько лет, уже после эвакуации, в Петрозаводске, она спросила, знаю ли я свою судьбу; я ответила коротко: да. В то время я закончила 7-й класс и поступила в педучилище; с нами жила Наташа, посещавшая детский сад: о муках нашего отца она тогда, в сущности, еще ничего не знала.

## *Лето 1944 года в Решме*

Наступившие экзамены не оставили никакого впечатления. То, что все было сдано на «5», меня даже не радовало, похвальной грамоты я не получила, т. к. их просто не было (из-за трудностей с бумагой).

Летом мы с Лидой были все время чем-то заняты. Во-первых — огород. Мама принесла рассаду помидоров, достала семена огурцов. Мы с нею посадили картофель на участке, который нам выделили в поле. За водой для полива огорода я ходила на пруд, находившийся около школы. Спасала посаженное от нахальных коз, бог знает как залезавших в огород через довольно высокий забор. Иногда даже и в бригаде старших школьников, которой руководила мама, снопы таскала. С Лидой и с соседскими детьми мы ходили в лес за ягодами, грибами и на обратном пути волокли дрова, чаще сухие стволы ивы, а другие дети с нашей улицы несли еще и веники, если у них были козы.

Были у нас и приятные, чисто детские забавы: ближе к осени — валяться и прыгать в огромных кучах соломы. Ходили мы собирать горох (колхозный, оставшийся после уборки). Больше мне никогда не приходилось есть такой поджаренный горох, он становился мягким и вкусным.

Однажды, когда мама была в бригаде со школьниками, мы с Лидой совершили настоящее путешествие за Волгу. Ее пригласили взрослые женщины за малиной за 25 км от Решмы. Надо было переплывать Волгу на лодке. Женщины договорились о перевозе, а Лида сказала им, что хочет взять и меня. Те стали сомневаться, выдержу ли я такую дорогу. Но Лида была уверена, что да. И мы отправились. Еды, правда, не было, взять было нечего — пару огурцов и соль я с собой несла. Ночевали ли мы там? — не помню, видимо, нет. Ягод было много, и очень вкусные. Главное — я выдержала и даже что-то собрала. Когда мама не обнаружила меня дома и поняла, что мне нечего было взять с собой, то расстроилась, но приготовила мне в глиняном горшочке тушеные морковь и картошку, удивительно вкусные, закутанные в подушки.

За лето 1944 года я, наконец, научилась плавать. Одним из самых приятных занятий было купание. И Лида, и ее сестра Галя очень хотели научить меня плавать. Воды я уже не боялась и отваживалась даже плыть на мель, держась за Галю и Лиду, но плавать самостоятельно еще не умела.

И вот однажды произошло чудо. Я была на берегу Волги одна, с разбега влетела в воду и поняла, что вода меня держит, я плыву! Ура! Теперь мне не нужны никакие наволочки, с которыми очень трудно плавать, ведь они сдуваются быстро. Правда, я понимала, что для уверенности нужна какая-то поддержка, и старалась отыскать доску, чтоб она была недалеко на всякий случай.

## Сборы в Петрозаводск

### *Возвращение Лидии Ивановны*

Тем же летом пришла, наконец, очень радостная весть: наш Петрозаводск освобожден! И еще я была очень рада, что к нам вернулась Лидия Ивановна. Странно, что я даже не спросила, как же ей удалось нас найти. До сих пор этого не знаю.

Евгения Павловна стала собираться в Ленинград. Она до войны жила в Ораниенбауме и решила туда вернуться. Мама тоже поехала с ней на разведку. Она подумывала о том, что, может быть, ей стоит переехать куда-нибудь в Ленинградскую область. Меня оставила с Лидией Ивановной, предварительно устроив ее на работу в детский дом. Лидия Ивановна на маминой машинке приводила в порядок одежду ребятишек, за это ей давали детдомовский обед. Я поставляла овощи с огорода, и мы с ней жили припеваючи. Детдомовцев кормили неплохо, но, по словам Лидиной мамы, среди детей были бедные «кулябки». Кулябко — это была фамилия одного мальчика, ставшая символом тех ребят, у кого старшие, наглые парни отбирали еду. То есть это была «дедовщина», как назвали такое явление в наше время.

Между тем время шло, и мама вернулась из поездки. О том, что видела и что пережила, не распространялась. Но она твердо решила, что мы возвращаемся в Петрозаводск.

Начались приятные сборы. Мы продали нашу, еще на корню, картошку — за 800 руб., кажется. Потом Лида писала, что купившие собрали хороший урожай. Между прочим, оказалось, что мы могли бы «сдать» ее и получить в Петрозаводске, но знать этого тогда не могли. Стали упаковывать наши пожитки. Некоторые вещи были тяжелыми (самовар, машинка), а теперь еще прибавились «сундук» с помидорами, которые я вырастила. Они были довольно крупные и тяжелые, еще зеленые. У мамы были еще довоенные представления о том, что багаж приходит одновременно с прибытием пассажиров. Увы! Помидоры нам очень пригодились бы в дороге. Путь оказался гораздо более длинным, чем мама себе это представляла. Не помню, провожал ли нас кто и как носили мы все эти вещи на пристань.

Маме дали рейсовые карточки, по которым она получила муку. Напекла в дорогу вкусных пирогов. Получила подъемные, и мы без приключений доехали на небольшом пароходике до Кинешмы, а там пересели на поезд.

### *В дороге. Кража*

Все шло прекрасно. Едем, но с пересадками. Вот тут-то и произошло нечто ужасное. На одной из станций мы должны были пересесть на другой поезд. (Кстати, мы не одни ехали в сторону Карелии, вместе с нами отправились и незнакомые нам «карелы».) Пришлось ночевать на этой станции. Утром должен был прийти наш поезд.

Вечером мама отправила меня и Лидию Ивановну в здание вокзала, мы там где-то пристроились не спать, но хоть посидеть, а рано утром, часов в 6, я вышла из вокзала и пошла по перрону к маме. Она сидела на скамеечке среди наших вещей, держа под мышкой свой портфель. Я попросила ее достать мне расческу. Она открыла портфель и обнаружила, что в нем нет ее сумочки, в которой хранилось все главное: документы, вызов, карточки (талоны на хлеб), паспорта ее и Лидии Ивановны. Это был страшный удар! В годы, последовавшие после гражданской войны, маму столько раз обворовывали! А теперь она совсем забыла об этом. Даже о том, что существуют особые правила, как избежать такого

ужаса. Хотя бы самое простое: не держать в одном и том же месте то, что могут украсть.

Мама немедленно побежала в милицию, оставила там заявление, а потом села на первый же поезд и уехала в Кинешму восстанавливать документы. Например, вызов. Мы с Лидией Ивановной остались сидеть на вещах. Через некоторое время подошел поезд, на котором мы должны были ехать в сторону Карелии, и в него садились «карелы».

Вдруг откуда-то со стороны леса прибежала маленькая седая женщина со своими пожитками и начала кричать: «Кто же мне поможет?» Не помню, нашелся ли кто — как видно, нашелся. Но я не тронулась с места, продолжала сидеть у вещей. И тут мне пришла в голову странная мысль. Я отчетливо и сейчас вижу, как эта маленькая седая женщина подходила к нам вечером, когда мы сидели на вещах, а мама что-то вышивала. Старушка даже показала, как можно вышивать стилем «кордоне». Наматываешь нитку на иголку, протыкаешь ею материю, и получается лепесток розочки. Мама угостила ее пирогами. Поговорили о чем-то…

Когда мама вернулась из Кинешмы, из милиции сообщили, что ее сумочку нашли где-то около леса. Она была разорвана пополам. В оставшейся половине лежал паспорт мамы, а вот паспорта Лидии Ивановны не было. Конечно, все остальное: карточки, деньги, вызов, некоторые документы — исчезли. И хотя я не читала тогда детективов, но подумала, что именно эта женщина и могла совершить такое злодейство. Иначе — кому из преступников мужского пола мог быть нужен паспорт старенькой финки?

Нам пришлось сделать еще несколько пересадок, мы оказались даже в Вологде. Не помню, на какой станции мама продала мои белые парусиновые туфли, ставшие мне уже тесными, и купила сколько-то хлеба.

Запомнилась станция Тихвин. Здесь произошло необычайное приключение, даже страшноватое. Нас сняли с поезда из-за того, что у Лидии Ивановны не было паспорта. Наша троица вызвала подозрения: «Шпионы!» Безумно уставшая и убитая горем женщина 44 лет, старушка и девчонка, босоногая, 11 лет. Август 1944 года. Мы долго сидели в милиции, мама пыталась послать телеграмму в Петрозаводск, а здесь еще спорили, освобожден ли наш город. Наконец пришел какой-то начальник и решил нас отпустить.

Дальше мы ехали без приключений.



Татьяна ШАМЯКИНА

# Истоки символизма: птицы

*Фольклорно-литературно-культурологическое эссе*

## От мифа к искусству

Самые большие патриоты в мире — птицы. Дело не только в том, что многие из них каждую весну возвращаются к тем гнездовьям, где родились. Большинство животных вообще неотделимы от их «вмещающих ландшафтов», хотя есть виды, живущие почти повсеместно, расселившиеся практически по всем материкам. И все же адаптационный механизм, привязанность к определенной локальной местности действует. И лишь птицы, кроме южной, как правило, родины, имеют внутри себя вторую родину, куда и летят весной уже на протяжении тысяч лет из теплых, благодатных стран. Нынешняя родина, память о которой так мощно закреплена генетически, неприветлива, холодна и вовсе не приспособлена для выращивания птенцов. Это Север, берега островов Северного Ледовитого океана. Но память о золотом веке существования своих прапредков настолько сильна, что вынуждает многие виды птиц преодолевать любые невзгоды, трудности пути и сложную жизнь в течение нескольких летних месяцев среди голых скал и снегов.

Первая книга замечательного мастера прозы Михаила Пришвина, написанная им после путешествия по Северу, называлась «В краю непуганых птиц». Птицы сегодня — самое многочисленное население Арктики. Всего на три месяца сюда прилетают: жаворонки рогатые, коньки, трясогузки, пуночки, чайки, гагары, кулики, утки, гуси, глупыши, кайры, носатые топорики и другие удивительные птицы, о которых большинству людей, возможно, и слышать не приходилось. Они поселяются на обрывистых берегах северных морей, образуя так называемые «птичьи базары». Шумное, неугомонное, крикливое торжище. О них мало пишут. Ученые не акцентируют внимание на загадочной приверженности многих пород к суровой земле, так как объяснить сей факт официозная наука не в состоянии.

Ежегодные перелеты птиц, как и многотрудные странствия угрей, в том числе в белорусские водоемы, — лучшее доказательство того, что когда-то Земля была иной, континенты и моря имели другие очертания. В частности, на макушке планеты существовал большой материк, названный античными греками Гипербореей, а в сказаниях славян фигурировавший как Арктида, или Ариана.

Миф о Гиперборее, давно, казалось, забытой, реанимировали российские ученые-романтики в 1990-х годах. Среди них — наиболее известен доктор философских наук Валерий Демин, недавно умерший.

В. Н. Демин, сумевший объединить вокруг себя энтузиастов-единомышленников, предпринял несколько достаточно успешных экспедиций на север России — в Карелию и на острова Белого и Баренцева морей. Ему удалось провести уникальные исследования, собрать удивительные артефакты, зафиксировать загадочные то ли искусственные, то ли природные объекты, что позволило ученому говорить о найденной Гиперборее.

Эта земля, известная в источниках со времен Античности, представлена и на древних, еще времен Александра Македонского, картах, сохранявшихся в Алек-

сандрийской библиотеке, а после ее разгрома захватчиками-арабами — в тайных эзотерических обществах, в частности, у масонов. Древние прототипы послужили основой для самой известной карты лучшего картографа XVI в. Герхарда Меркатора, не скрывавшего заимствований, — сейчас она широко, во многих современных изданиях публикуется и демонстрируется по телевидению. Именно на ней отображен неизвестный архипелаг там, где ныне Северный Полюс, при этом прекрасно узнаются и близлежащие территории — Скандинавия, полуостров Ямал, Гренландия.

На карту Меркатора и на некоторые другие, не верить которым нельзя, ссылается В. Демин в своих многочисленных научно-популярных книгах: «Тайны русского народа», «Тайны земли русской», «Тайны Севера», «Тайны Урала и Сибири» и др. Его доказательная база кроме найденных артефактов и сооружений довольно обширна: это и свидетельства истории (Екатерина II, по совету М. Ломоносова, дважды посылала адмирала Д. Чичагова искать Гиперборею), и мифология, фольклор, эпос северных народов.

Изыскания В. Демина и его последователей имеют не только академическое, сугубо научно-теоретическое, но и практическое значение. В 2013 году я писала: «Интерес экспедиций В. Демина не столько научный (хотя и научный, конечно), сколько политический и экономический, учитывая совсем недавние (2010 г.) некоторые символические акции властей РФ, например, опускание с Северного полюса на дно Ледовитого океана титанового государственного флажка России. Что сей странный факт означает? На самом деле вовсе не странный, если помнить некоторые исторические аналогии: конкистадоры, завоевывая новые земли, ставили на берегу моря крест как знак своего овладения данной территорией. А в наше время несколько стран, территория которых выходит за Полярный круг, начали, без преувеличения, жесточайшую, яростную, бескомпромиссную борьбу за овладение Арктикой, акваторией Северного Ледовитого океана, островами, где найдены до трети мировых запасов нефти и многие другие природные богатства. Россия *символическим* актом опускания флажка заявила свои права на шельф, доказывая, что хребет Ломоносова, находящийся под полюсом, является продолжением материка в той его части, которая примыкает к РФ. Вот почему тема Гипербореи, которая, может быть, как раз и является тем самым хребтом Ломоносова и от которой остались, как доказывают российские исследователи, также и Кольский полуостров, и Новосибирские острова, и Ямал, и Новая Земля, далеко не исчерпана. Символическое действо — опускание флажка, — конечно, ничего не решает. Необходимы научные доказательства. Ими и были призваны стать экспедиции В. Демина, авторитетного, в том числе в академических кругах, ученого и известного писателя, публициста, активного популяризатора науки».

По прошествии трех лет стало очевидно, что борьба за Арктику между шестью прилегающими к ней странами приобрела еще более ожесточенный характер. В настоящее время Россия утверждает свое, прежде всего, военное присутствие в спорном регионе. Достаточно сказать, что только в 2015 году по северному побережью РФ было построено 13 новых аэродромов и основано несколько военных баз.

Конечно, восстановить советскую инфраструктуру, то, что создано в течение десятилетий и преступно разбазарено в 1990-е годы, будет нелегко. Один из самых ныне известных российских исследователей Арктики (именно он опускал на дно тот самый титановый флажок) Артур Чилингаров рассказывает о советском периоде в освоении Севера: «Это была логика государственного подхода, когда не просто живут текущим днем и плывут по течению, а работают на будущее, на перспективу, думая и о молодом поколении, которое придет на смену». Знаменитый исследователь полагает, что рыночные механизмы нужно было сочетать с государственным регулированием и внедрять очень осторожно, а не крушить все огулом, как это произошло при Егоре Гайдаре и его таких же либеральных

последователях: «…фактически полностью сломали в целом эффективно работавшую систему, бросив арктические регионы на произвол рыночной стихии. Губительные не только для Севера и Арктики, но и для всей страны последствия безголового реформирования приходится преодолевать до сих пор».

И добавлю от себя: придется преодолевать еще очень долго. Ломать вообще намного легче, чем строить… Пример с Арктикой очень показателен. Можно то же отнести к другим сферам, которые, несомненно, *придется*, но с большим трудом, восстанавливать. Скажем, классическое образование, сегодня уничтожаемое на корню.

Что же касается Арктики, то в борьбе за нее России важными окажутся и гуманитарные изыскания В. Демина, все то собранное им интеллектуальное богатство, которым соперники РФ не обладают — не «подсуетились» в свое время.

Одним из наиболее увлекательных моментов в открытиях В. Демина является его версия о «птичьей цивилизации» в Гиперборее. Вернее, это была цивилизация летунов, людей, умевших летать, создававших летательные аппараты тяжелее воздуха и именно по этой причине обожествлявших птиц. В. Демин пишет: «Описания «механизма» полетов во множестве сохранились в памяти северных народов в виде устойчивых фольклорных образов, бережно передаваемых из поколения в поколение». И приводит многочисленные устные и письменные свидетельства.

Добавлю к ним и собственное наблюдение относительно птицепочитания, но только из области материальной. В книгах В. Демина приведены рисунки представителей народов Севера, которые носили шкурки птиц в качестве своеобразных шляп. В расположенной гораздо южнее древней Корее существовало большое количество головных уборов, в основном мужских, самой причудливой, иногда просто нелепой формы. Например, очень распространенная шапка дворян представляла собой замысловатое сооружение с распростертыми лопастями по обе стороны и высокой поднятой задней частью. Как представляется, это фактически модель-стилизация той самой птичьей шкурки с крылышками, с поднятым хвостовым оперением. Происхождение других удивительных головных уборов, как в Корее, так и в соседних восточных странах, не поддается расшифровке, хотя, безусловно, они не могли возникнуть на голом месте, а обязательно имели некие прототипы, являлись материализованной памятью об общей для многих народов Евразии прародине. Птицам здесь принадлежит одно из почетных мест.

Стилизованные изображения птиц широко представлены на вышивках разных народов, в том числе славянских, в украшениях, посуде. Но образы пернатых вошли и в устное народное творчество. Сошлюсь на примеры, не упомянутые В. Деминым.

В мифах большинства народов птица так или иначе участвует в акте сотворения мира. В одном из пяти египетских вариантов мифа мир создал Гусь-Гоготун. У славян уточка, селезень или гусь поднимают со дна первичного океана горстку земли, с которой и начинается собственно суша. В самом древнем греческом мифе Эвринома, богиня всего сущего, восстала из Хаоса, отделила небо от моря и поймала северный ветер, превратившийся в змея Борея, который стал ее мужем. Затем она обернулась голубкой, села, подобно наседке, на волны и по прошествии определенного времени снесла Мировое Яйцо. Этот миф содержит осколки каких-то чрезвычайно архаических представлений, для нас сегодня недоступных. Факт то, что богиня могла превращаться в птицу. Факт и то, что происхождение мира, даже Вселенной, из Мирового Яйца является одним из самых древних, притом достаточно распространенных, мифов творения.

Широко представлены в мифологии девы-птицы, которые также, видимо, имели божественное происхождение, как и Эвринома: Сирин, Алконост, Гамаюн, Рух, Гаруда, дожившие в фольклорных и даже в литературных текстах до XX века. У популярного фольклорного персонажа Бабы-Яги костяная нога — воз-

можно, птичья, и длинный, как клюв, нос. Некоторые боги в религии Древнего Египта — полуптицы, скажем, Тот, Гор.

Создавая календари, без которых невозможно существование цивилизации, многие народы брали для того или иного года, основной единицы времени, животного или птичьего покровителя-тотема, который давал своим подопечным поддержку, а также определял своим характером особенности года. Так, по славянскому языческому календарю 2016 год — год гуся (селезня). 2017 год по восточному календарю — год петуха.

Птицы также и тотемы многих племен, народов. Индейцы Америки в приключенческих книгах Фенимора Купера, любимых в нашем отрочестве и абсолютно неизвестных современным подросткам, часто называют своими тотемами орла, кондора, филина, ворона. Среди геоглифов плато Наска в Перу можно видеть изображение кондора длиной в 180 метров. На таинственном острове Пасхи обряд «человек-птица» сохранился почти до нашего времени, несмотря на то, что там поменялся этнос. Ворон — тотем очень многих племен не только Америки, но и Сибири, особенно на севере. Впрочем, ворон нередко встречается также в славянском сказочном эпосе, являясь существом порубежья — связным между реальным миром и миром потусторонним: скажем, приносит оттуда живую воду для оживления героя.

То же относится к сороке. Одна из самых удивительных, загадочных новелл в книге Яна Барщевского «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» посвящена Белой Сороке. Царь-уж, русалки, оборотни — широко известные на территории Беларуси фольклорные образы. Они часто упоминаются у писателей-романтиков — Яна Чечота, Адама Мицкевича, у самого Яна Барщевского. Но образ белой сороки не зафиксирован мифологами, хотя собственно сорока в фольклорных произведениях встречается довольно часто. Например, в некоторых устойчивых выражениях о слухах, которые «сорока на хвосте принесла». Одной из первых игр родителей с еще грудными детьми является загибание маленьких пальчиков с такими словами: «Сорока-ворона кашку варила, деток кормила, этому дала, этому дала…» Данное присловье включил Максим Богданович в одно из своих стихотворений. В русской сказке «Белая утица» именно сорока приносит живую воду для героини, а значит, сорока здесь — положительный персонаж. Авторы энциклопедии «Беларуская міфалогія» утверждают: «Сорока является разносчицей новостей, ее стрекотанье обещает прибытие гостей, смену погоды на дождливое, предсказывает какое-то событие и даже смерть». Барщевский использует некоторые известные в народе, чаще амбивалентные, представления о сороке, но в то же время создает образ оригинальный, во всем неповторимый и абсолютно таинственный.

Сорока и ворон у наших соседей украинцев — черные, зловещие птицы, принадлежащие иномиру. Так, сорока, как считают украинцы, создана чертом и носит его по воздуху. В сорок превращались ведьмы. Такое же верование характерно и для белорусов. В то же время к сороке сохранилось почтительное отношение, при том, что она явно птица смерти. Особенно обращает на себя внимание то, что цвет сороки — черно-белый: это самая характерная ее биологическая особенность. Белая же сорока, как у Барщевского, — диво. Птицы-альбиносы — вообще явление необычное.

Можно полагать, что сорока в мифологии находилась на рубеже миров. Еще в зороастрийской религии, которая сохранила наиболее древние верования арийцев, сорока — птица-вестник, связная между мирами, причем мудрая и остроумная (а зороастризм наиболее ценил остроумие). Так что даже в названии, в самом обращении писателя к птице с богатой мифологической родословной кроется явная загадка

Белая Сорока в новелле Я. Барщевского необычайно красива, живет во дворце, духи по ее приказу добывают клады из земли и моря, ей служат дикие медведи. Они сильнее всех чернокнижников. «Только иногда наряжается в перья

белой птицы, когда желает увидеть своих приверженцев, и их награждает, делает счастливыми». По этому описанию, данному одним из служителей Белой Сороки, и из сюжета рассказа вытекает, что она искушает шляхту на Беларуси богатством, а главное, своим обаянием и красивыми речами. Некоторые белорусские исследователи полагают, что данный образ указывает на русскую императрицу Екатерину II. Действительно, идея возникла не на пустом месте, если помнить, что русская царица вместе с императором Австрии и королем Пруссии участвовала в разделах Речи Посполитой, чего Я. Барщевский и все польские интеллигенты простить ей, конечно, не могли. Потому писатель и вывел ее в демоническом обличье, хотя и красивой внешне.

И все же нет оснований трактовать персонаж только исходя из исторических реалий. В том и таинственность, и значимость, и даже злободневность произведения Я. Барщевского, что образ Белой Сороки многослойный. Да и сам писатель, как бы негативно ни относился к русской властительнице, не мог идти на прямой обман, утверждая, что она вредила крестьянам. Наоборот, до разделов Польши белорусские крестьяне были абсолютно бесправны, потому что при легитимно слабом польском короле, не имевшем фактической власти, каждый магнат и даже эконом, управитель у магната мог делать с крестьянами что угодно. Документы свидетельствуют, что как раз после присоединения к России крестьяне почувствовали себя под защитой высшей силы, стали слать царице многочисленные петиции-жалобы. Да и самому Барщевскому русские власти никак не помешали учиться, причем в иезуитской, значит, католической академии, и делать карьеру в столице православной империи.

Белая Сорока все время говорит о добре и просто очаровывает белорусскую шляхту своей красотой и мудростью. Но простые люди и животные, сама окружающая природа ощущают присутствие мощной демонической силы. В том и кошмар этой неизвестной личности или сущности, что она выступает в прекрасном обличье и говорит совершенно правильные вещи, потому-то почувствовать в ней инфернальную суть дворяне белорусского края не смогли.

Таким образом, Белая Сорока — явление, которое невозможно рассмотреть и понять сразу, да и не каждый сможет — для этого нужно сначала освободиться от сильного *суггестивного воздействия*.

А вот Александр Герцен «Сорокой-воровкой» назвал повесть о трагической судьбе русской женщины.

Вообще птицы — мифологические персонажи — стали также и образами фольклора, художественной литературы, искусства. Праотец Ной из ковчега сначала выпустил ворона, затем голубку. В притчах, аллегорических рассказах, баснях птицы представлены очень широко и практически у всех народов. «Ворона и лисица» одного из первых баснописцев грека Эзопа прошла через тысячелетия и была повторена на разных языках многими авторами. Басня «Кукушка и Петух» Ивана Крылова также широко известна, актуальна до сего дня. То же можно сказать о басне белоруса Кондрата Крапивы «Сова, Осел и Солнце», хотя она и написана по конкретному политическому поводу.

Путь трансформации мифологического образа в басенный обычно вызывает умственные затруднения у литературоведов, и они стараются вообще обходить этот момент. Мне же процесс видится следующим образом. Основа его — также тотемизм, рассказывание жрецом о тотемном предке младшему поколению племени во время инициации подростков. Либо же повествование шамана о том, что он видит в своем «блуждании» по иным мирам. Такие рассказы с течением времени органически переросли в сказки и басни. Впрочем, необходим был и острый ум Эзопа и подобных ему гениев, умевших видеть во многих явлениях жизни лукавую аналогию.

В дальнейшем птицы очень часто становились персонажами значительных, буквально культовых произведений. У Гавриила Державина:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

У Александра Пушкина оптимистичнее:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Обычай весной выпускать птиц на волю был очень распространен у русских. Даже в годы моего детства я знала таких любителей. Кроме того, «весна птиц» (по М. Пришвину) обязательно присутствовала в мероприятиях советских пионеров. На весенних каникулах, которые приходились на последнюю неделю марта, мы делали скворечники и развешивали их, подновляли старые; нередко проводили и утренники, посвященные прилету птиц. Вообще в нашей школе в каждый сезон организовывались вечера поэзии, воспевающей ту или иную пору года.

Весна неотделима от прилетов птиц, их пения, строительства гнезд, выведения птенцов — всех этих удивительных, таких радостных проявлений жизни. У Афанасия Фета пробудившийся лес «каждой птицей встрепенулся // И весенней полон жаждой».

Впрочем, с птицами связаны и иные стороны действительности, нередко трагические. У современника А. Пушкина американского писателя Эдгара По стихотворение «Ворон» известно всем любителям поэзии, являясь классикой мирового уровня. По словам самого автора, ворон здесь — символ «горестного и нескончаемого воспоминания»: он, вестник смерти, посещает убитого горем поэта, потерявшего любимую.

Еще у одного современника упомянутых выше поэтов — француза Шарля Бодлера — самым знаменитым стало стихотворение «Альбатрос». Оно, как и «Ворон», включено во все антологии мировой поэзии, его часто цитируют. Произведение буквально насыщено символами и имеет множество трактовок, хотя невелико по объему. Альбатрос способен очень долго, без устали, летать, а значит, символизирует бескрайность и свободу. Однако в стихотворении неумные матросы убивают гордых птиц, уничтожая, таким образом, красоту. Правда, во многих странах суеверные моряки, в отличие от не знавших традиций персонажей Бодлера, были уверены в способности альбатроса стать вместилищем души умершего морехода, потому крайне опасно убивать птицу, которая может принести несчастье.

Произведений с птицами-персонажами еще больше создано в XX веке.

У основателя жанра фэнтези Джона Толкина в его знаменитой эпопее «Властелин колец» именно птицы — орлы — спасают главных героев, являясь, таким образом, главными двигателями сюжета.

В годы Первой русской революции (1905—1907) чрезвычайно популярными оказались романтические стихотворения в прозе Максима Горького «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике». М. Горького даже называли «Буревестником революции». О победоносной социальной революции тогда мечтали многие, в том числе и белорусские классики. Но когда она в 1917 году произошла, то от ее кровавых проявлений отшатнулся даже М. Горький.

Что же касается «Песни о Соколе», где противопоставляется мораль пламенного Сокола и Ужа-обывателя, то, хотя сюжет автором и актуализирован, но он

чрезвычайно архаичен: во всех мифологиях птица (часто на вершине Мирового Древа) и змея (у его корней) символизируют солнечные божества и силы ада, вечную борьбу света и тьмы.

Птица — непременный элемент поэтики многих авторов. У Сергея Есенина, в наибольшей степени воплотившего русский менталитет и народное представление о прекрасном, птицы, по моим наблюдениям, появляются в каждом пятом произведении. Чаще всего он вспоминает соловья, отождествляя себя с певчей птахой. Нередки также: воробей, глухарь, лебедь, журавль, грач, гусь, утка, коростель, петух, чибис, кулик, кукушка, канарейка, синица, голубь. Впрочем, интересны не упоминания конкретных птиц, а их авторские названия, чаще всего с уменьшительно-ласкательными суффиксами (соловушка, воробышек), а также тропика, образованная от этих названий: «голубиный дух от Бога», «голубиные облака», «не звенит лебяжьей шеей рожь». Все связанное с птицами символизирует непреходящее, вечное, небесное, божественное, душевное, поэтическое: «О Русь, взмахни крылами», «Как птицы, свищут версты», «пламя красных крыл», «пойте в чаще, птахи, я вам подпою». Характерно, что у Есенина практически не упоминаются хищные птицы, кроме, пожалуй, совы. Это, видимо, связано с тем, что действие многих произведений происходит ночью, потому и представлено любимое всеми романтиками время суток ночной птицей.

У такого же молодого романтика Максима Богдановича птицы встречаются реже, чем у С. Есенина, однако их набор не меньший. В его произведениях упоминаются: соловей, ласточка, жаворонок, малиновка, ворона, сорока, лебедь, перепелка, дятел, бусел (аист), дрозд, чиж, воробей, синица, цапля. Но, правда, белорусский классик не обходит вниманием и хищных птиц — ястреба, филина, коршуна: его мысль охватывала все сферы бытия, противоречия жизни, где хищники — совсем не редкость. Очень часто, как и С. Есенин, М. Богданович упоминает просто птиц — символы свободы и полеты духа, вдохновения и связи с Небом.

Во время Великой Отечественной войны птицы воплощали все то, что оставлено в мирной жизни: любовь, романтику, счастье. Бессмертны «Соловьи» Алексея Фатьянова:

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят!..
Но что война для соловья —
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомня дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Птицы вызывают глубокие философские размышления. У замечательного русского поэта Александра Яшина:

Не верю, что звери не говорят,
Что думать не могут певчие птицы…

А у Николая Рубцова, лучшего представителя «тихой лирики», улетающие журавли вызывают тонкие душевные переживания:

Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.

У белорусских авторов тоже есть немало стихотворений, посвященных журавлям. У незаслуженно забытого Пилипа Пестрака (правда, он больше известен как прозаик) журавли — символ романтических порывов:

Ляціце, родныя! І я б хацеў мець вашы крыллі,
Аб чым у цяжкі час не раз душой згараў.
Мне і цяпер к палёту мары не астылі…

К полету мечты не остыли…, а человек провел одиннадцать лет в одиночной камере польской тюрьмы в 1930-х годах.

Реальность жизни западных белорусов под властью буржуазной Польши прекрасно показал классик белорусской литературы Максим Танк в культовом стихотворении «Песня куликов».

У еще одного классика — Петруся Бровки — образы птиц органически входят в систему тропики произведений: «…клёкат буслоў — ручаёў перамовы». Или же любимый белорусами образ: «Сонца за борам жар-птушкай садзіцца».

Язеп Пуща выразил общее мироощущение белорусских поэтов:

Лепш вольным птахам рэзаць шыр нябёсаў
І супраць ветру размахнуць крыламі.

С птицами неизменно ассоциируется образ Родины.

У Алеся Ставера:

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць,
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Или у Владимира Короткевича в стихотворении «Снегирь»:

О радзіма, мой светач цудоўны, адзіны,
Явар мой, мой агністы снягір на сасне.

Более того, птицы вызывают размышления о процессах глобальных, цивилизационных. У Алеся Письменкова, так рано ушедшего от нас, всеми любимого, прекрасного человека и поэта:

Мы апошнія з нашага роду,
Каму сняцца вясковыя сны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы з табой пералётныя птахі,
Якім не вярнуцца назад.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Птицы очень широко представлены не только в народном декоративном искусстве, в фольклоре и литературе, но и в геральдике. Эта традиция идет от древних царств, где знамена, гербы, штандарты зафиксировали древние тотемистические, мифологические представления. На первым месте среди животного мира в мировой иконографии находится орел (наряду со львом). Приведу только один пример «орлиного» государственного герба, истинные корни которого почему-то мало известны. Двуглавый орел пришел в Россию и в Австрию (существовал здесь до 1918 года, до момента распада Австро-Венгерской империи) из Византии, которая, в свою очередь (и это как раз никогда не вспоминается), восприняла традицию от Персии, а Персия — от древней хеттской державы, существовавшей во II тыс. до н. э. на территории теперешней Турции, в то время населенной индоевропейцами. Как с удивлением отмечают археологи, у хеттов было чрезвычайно развито изображение двухголовых существ — богов, людей, животных. Орел во всех традициях — символ богов Солнца, а двуглавый орел, как представляется, символ богов-близнецов. А значит, корни образа, как мне кажется, в очень далекой древности — эре Близнецов, когда, благодаря *пре-*

*цессии*, главному космическому закону движения небесных тел, точка весеннего равноденствия находилась в созвездии Близнецов — по времени это где-то VI—IV тыс. до н. э. Близнецы — олицетворение двойственности, соединения тех начал, которые не могут существовать друг без друга, собственно, символ дуализма — универсального закона Вселенной.

Уже в последующие эпохи двуглавый орел стал олицетворением всезнания, а в современной России трактуется как размещение РФ на двух континентах — Европе и Азии, как ориентация государства на Запад и на Восток. Правда, черный двуглавый орел размещен и на государственном флаге маленькой Албании, пока не претендующей на имперскость, хотя, впрочем, не без территориальных мечтаний.

Герб России (до 1917 года и с 1993 года) — яркий пример интернациональности в символике, и кроме того, способности образа проходить через века, сохраняя мысли и мечты поколений. Любой символ не может быть понят без его культурного, мифологического, религиозного контекста.

## В год Петуха — о петухе

Люди издавна обожествляли птиц, поскольку наблюдали их преимущественно над собой, в воздушной стихии, в небе, всегда связанном с богами, с ангельским присутствием (потому ангелы с крыльями), с высшими духовными идеалами. Скорость и свобода перемещения, при том, что по ориентации в пространстве птицам нет равных среди живых наземных существ, давали и дают им большое преимущество. Человек издревле мечтал быть свободным, как птица. Именно в процессе наблюдения за птицами у людей возникла идея отделения духовного, идеального начала от земного, материального. Вот почему и душа человеческая в Древнем Египте, в Индии, в Персии, у европейских народов всегда воплощалась в образе птицы. Кроме того, птица символизирует дух воздуха, знак божественного проявления, возможность контактировать с богами и подняться над обыденностью, всей жизненной суетой.

Но птицы не могли не удивлять наших предков и по другим причинам. Позвоночные, как и звери, птицы имеют по две ноги, чем принципиально отличаются от животных и насекомых. У них развиты мозг и органы чувств, особенно зрение и слух, — для людей также необычайно важные. Некоторые птицы даже умеют говорить (попугаи, вороны, скворцы), и как сегодня замечено, говорить сознательно, а не просто повторять механически; у них зафиксирована склонность к счету, что свидетельствует о развитии левого — аналитического — полушария коры головного мозга.

По скорости передвижения и преодоления больших пространств птицы стоят на первом месте среди позвоночных существ. Это всегда вызывало зависть у человека и, в конце концов, тоже подняло его в небо с помощью придуманных технических устройств, внешне похожих на птиц (самолеты), но, конечно же, далеко не таких совершенных. Сложность различных явлений, связанных с размножением, исключительно своеобразное при этом поведение («аристократизм» ухаживания, брачные танцы, самоотверженная забота о птенцах) тоже не могли не вызвать удивления, восхищения, а возможно, даже и людского подражания. Для птиц характерны и сложные формы группового поведения, групповой ориентации и сигнализации, что обеспечивает им высокую эффективность размножения, успешное добывание еды и защиту от врагов. Это еще один судьбоносный для человека как социального существа пример. Тем более что высокая экологическая пластичность птиц облегчает им контакты с человеком — они легко приручаются.

Птицы, с одной стороны, чудесно приспособились к экологическим изменениям: например, понижение температуры, ухудшение климата вызывает их

быстрое перемещение — перелеты или перекочевки; с другой стороны, птицы чрезвычайно консервативны в отношении местонахождения: жизнь каждой из них тесно и неразрывно связана с той относительно небольшой территорией, где птица появилась на свет. Иначе говоря, белорусское понятие «родны кут» имеет прямое и непосредственное отношение к птицам, учит и людей патриотизму, любви к родному дому.

Один из крупнейших философов Античной Греции Демокрит считал, что птицы научили человека также и некоторым видам художественной деятельности: строить дома, петь, танцевать.

Не случайно в мифологии птица — центральный персонаж. В многочисленных космогонических мифах птицы играли важную роль в сотворении мира или управляли природными стихиями. Птица-змея Кетцалькоатль у индейцев майя соединяла в себе небесную и земную власть. Однако в мифах большинства народов Земли небесная и земная сферы разделены, и широко представленная в изобразительном искусстве борьба птицы и змеи отражает фундаментальный конфликт между светом и тьмой, силами солярными и хтоническими. Как раз петух в многочисленных мифологических системах — воплощение солярного божества.

В восточной культуре петух — единственная из птиц — включен в звездный зодиак, входит в число существ китайского народного календаря. И это при том, что претендовать на воплощение Солнца, на космическую роль могли бы многие другие птицы: даже в семье тех же куриных есть более красивые, нарядные, блестящие — павлин, фазан, цесарка. Но китайцы выбрали петуха. Значит, их выбор был обусловлен и иными факторами, чем всего только внешний облик.

Все куриные происходят из Юго-Восточной Азии. Причем, по мнению авторов энциклопедии «Жизнь животных», приручение кур в Индокитае шло не ради яиц, а в спортивных целях, из-за бойцовских качеств птицы. Версия, как мне кажется, спорная. Но в миграциях птиц, их приручении, появлении на территории Европы вообще много загадочного, непонятного, даже таинственного. Специалисты-орнитологи лукаво обходят многие проблемы. Потому приходится выстраивать собственные версии, которые принципиально отличаются от данных официозной науки.

Логика подсказывает, что чем более оседлая (то есть не перелетная) птица и чем более она приучена к человеку, тем раньше она появилась в определенном регионе. Обычные домашние куры распространены практически по всему миру. Можно предполагать, что на территорию современной Беларуси, шире — Восточной Европы, кур принесли еще *бореалы*, аборигены Европы, которые шли на север вслед за отходящим ледником. Значит, непосредственно у нас куры могли появиться практически сразу после Потопа (ясно, что ледник оставлял после себя массы воды, так что и на нашей территории Потоп был). Однако приручили куриных, как кажется, намного раньше — это совершили люди допотопной цивилизации, суперцивилизации.

После катастрофы ее население в небольшом количестве уцелело на территории Индии, в Гималаях, на других высоких горах. Какие факты свидетельствуют в пользу данной гипотезы? Чем дальше изучаешь мифологию народов мира, тем более начинаешь верить, что мифы в зашифрованном виде рассказывают о действительных исторических событиях — кстати, это еще знаменитый Конфуций, пророк китайского народа, утверждал. Возможно, человечество возникло очень рано и эволюционизировало в своей истории не однажды, не раз создавало высокую культуру, цивилизацию, но почти полностью гибло в результате очередного крупного планетарного катаклизма. Наиболее древние предания, дошедшие до нас, рассказывают о периодических уничтожениях человечества через определенные промежутки времени, возможно, связанные с прохождением Солнечной системы в опасных зонах Галактики. Так, в индийских Ведах, в которых изложе-

ны, как предполагают многие ученые, самые архаические мифы человечества, говорится о неисчислимых веках существования людей. Самая маленькая единица времени Кали-Юга в человеческой цивилизации, согласно Ведам, равна периоду в 4 320 000 лет. Если исходить из такого продолжительного существования культуры, то ясно, что и домашние животные рядом с людьми жили издавна и были, скорее всего, не приручены, а выведены с помощью генетики.

Пусть речь идет даже не о миллионах лет, а всего только о тысячах, все равно кур можно считать едва ли не самыми первыми поселенцами людских усадеб. Об этом свидетельствует не археология, поскольку куриные косточки не могут сохраняться в земле тысячи лет, а, как ни парадоксально, фольклор, в частности так называемые кумулятивные сказки.

Данные произведения, глубокий архаизм которых очевиден, построены по принципу присоединения одного к другому действий, персонажей, предметов, примет, проще говоря, последовательности перечисления, описательного способа показа (типа «Колобок», «Теремок», «Репка»).

Петушок и курочка являются типичными героями кумулятивных сказок, причем, как мне кажется, самых древних. Встречаются они у всех народов Европы. Так, в «Сказках братьев Гримм» есть несколько рассказов о путешествии петушка вместе с курочкой на тележке. Сюжеты — разнообразные: ясно, что немецкие исследователи поместили в сборнике несколько наиболее характерных произведений, и при этом с оригинальными фабулами. В одной из сказок («Компания оборванцев») Петух мастерит возок из ореховой скорлупы, и к нему с Курочкой во время поездки подсаживаются разные лесные жители, а далее они все вместе — пассажиры на диво безразмерного возка — мстят злому человеку.

Часто встречается сюжет о смерти Курочки на Ореховой горе, где она подавилась орехом. Петушок жену пытается спасти, предпринимает разные попытки, но Курочка все же умирает. Снова-таки ее везут на тележке, на которую подсаживаются все большие по размерам звери. Наконец просит подвезти совсем маленькое существо — блоха, и когда она усаживается, возок не выдерживает перегрузки и тонет в болоте. Новейшей по фабуле, хотя тоже с кумулятивными чертами, является широко известная сказка «Бременские музыканты», где Петух венчает собою пирамиду из животных, напугавших разбойников.

Исследователи-фольклористы и теоретики литературы (А. Веселовский, В. Пропп, А. Бройтман) полагают, что кумуляция представляет собой синкретический тип мышления, который предшествовал образному параллелизму. Думаю, такого рода сказки — осколки каких-то сложных поучительных текстов, которые отшлифовывали мышление детей, в том числе и через парадоксы (блоха, перегружающая возок). Так, можно полагать, что в возок последовательно подсаживались животные, которых приручали (или создавали) в определенном порядке вслед куриным.

В последовательности сказочных событий таинственный код бытия словно дешифровался, алгоритм делался более прозрачным, раскладываясь на какие-то постоянные элементы. Сказка — по-своему очень совершенная система, которая в простой и символической форме давала глубокие знания о первоначалах бытия. И то, что в онтологических по существу произведениях действуют Петух и Курочка, не может быть случайным.

Впрочем, возможно и другое объяснение кумулятивных сказок. Это, конечно же, обучающие тексты, но необходимые как коды для *запоминания* больших массивов информации. Самый известный ритор Античности Цицерон советовал для запоминания обширных текстов использовать способ «мест». В этом случае необходимо каждый из разделов сообщения мысленно отнести к тому или иному помещению, легко представляемому. Возможно, Цицерон воспользовался здесь именно народным способом запоминания, только в фольклоре применяются не

«места» как опорные сигналы памяти, а более близкие в древности к человеку животные и птицы.

Глубокие исследователи — братья Якоб и Вильгельм Гримм — поместили в сборнике и сказку, в которой по существу нет сюжета, не происходит ничего существенного: Петух уговаривает Курочку забраться на стол и поклевать крошки на нем, за что их обоих бьют. В научных комментариях к сказке современные аналитики высказали осторожное мнение, что тут наблюдается стремление передать «язык» петуха и курицы. Объяснение кажется неудачным, как и все наблюдения и соображения, связанные с героями — Петухом и Курочкой (я их даже не привожу). Упомянутая сказка «Хлебные крошки на столе» является осколком какого-то сакрального текста. А самих персонажей наказывают, по-моему, потому, что они нарушили табу: у многих народов, в том числе и у восточных славян, ни в коем случае не позволялось курам ходить по столу — месту в доме сакральному, аналогу алтаря в храме. Причем стол как алтарь — явление, безусловно, еще дохристианское, глубоко древнее. Не случайно и то, что Петух Курочку уговаривает (провоцирует): действительно, курице, в отличие от петуха, отводилось место исключительно на земле, и она должна была это хорошо знать и помнить, петух же больше связан с верхом. Хотя иногда и он — четко амбивалентный: у белорусов петуха до его семилетнего возраста старались непременно зарезать, считалось, что он после семи лет обязательно снесет яйцо. А это очень опасно, поскольку нарушает фундаментальные законы природы. В одной из новелл уже ранее упомянутого классического произведения белорусской литературы начала XIX века «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» Яна Барщевского из яйца, снесенного петухом, вылупляется цмок (дракон). Дракон — существо нечистое и жуткое: он может некоторое время исполнять желания хозяина, но, в конце концов, обязательно забирает у него душу. У украинцев демонический (значит, необычный) петух называется «царик». Он начинает петь еще в яйце, а когда вырастает, почитается во всей округе. Именно он первый оповещает о рассвете, и его боятся злые духи — нечистики. «Царика» как раз ни в коем случае убивать нельзя. В Сербии верят, что петух способен быть «змеем». Такой петух поражает могучей силой и во время грозы сражается с душами самоубийц, вызывающими тучи.

Характерна народная терминология: петух — «змей». Словно перед нами Кетцалькоатль. Вообще среди мировых символов достаточно много мифологических персонажей, представляющих собой, собственно говоря, монстров, притом с крыльями: грифон, конь Пегас, феникс, симплициссимус, василиск (он по внешности наиболее близок к петуху). Сущностно они, как и петух в его определенной ипостаси, близки к дракону. Невольно приходит на ум версия современных ученых, что куры происходят непосредственно от древних ящеров.

По причине своей исключительности, магической значимости петух — лучшая жертва природным стихиям, персонифицированным в образе духов и богов. Черного петуха белорусы приносили в дар водяному. И сегодня на Полесье режут петуха на месте будущей бани — жертвуют духу места. Последними словами философа Сократа, осужденного афинянами на смерть, было обращение к ученику: «Помни, что мы обещали Асклепию петуха!» Мудрый Сократ даже в последние свои минуты был верен народной традиции.

Далеко не все касающееся петуха поддается объяснению. В совсем непонятной немецкой сказке «Ханс-Ежик» похожий на ежика мальчик сбежал из дома и все время жил на дереве, неизменно сидя на петухе. Петух тут, судя по всему, солнце, а кто же мальчик-ежик? Уж не комета ли, которая вошла в пределы Солнечной системы? Я хочу сказать, что объяснения сказок о петухе и курочке могут быть и космологические.

Космическую роль петуха лучше всего чувствуют поэты. У Сергея Есенина: «С шеста созвездья // Поет петух». Необычайно тонкий в описаниях природных явлений выдающийся русский поэт-натурфилософ Николай Заболоцкий в сти-

хотворении «Петухи поют» также почувствовал в пении петухов таинственный разум созвездий, а земным фокусом Великого Ковша (Большой Медведицы) посчитал каждую петушиную душу:

На сараях, на банях, на гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочеты ночей — петухи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Здесь, в деревне, и вы удивитесь,
Услыхав, как в полуночный час
Трубным голосом огненный витязь
Из курятника чествует вас.

Сообщает он кучу известий.
Непонятных, как вымерший стих,
Но таинственный разум созвездий
Несомненно присутствует в них.

Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого Ковша,
На земле ему фокусом малым
Петушиная служит душа.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По древним космогоническим представлениям наших предков, Мир создан из огромного Космического Яйца. На небе среди звезд украинцы видели и Квочку, которая снесла то самое Яйцо — это созвездие Плеяды (у русских — Стожары, у белорусов — Ситко, т. е. Сито). Но логика жизни требует, чтобы кроме Курицы светился на небе и звездный Петух. Он не зафиксирован; скорее всего, о нем забыли, да несколько тысяч лет назад и конфигурация звезд была другая. Но почему-то кажется, что таким созвездием мог быть теперешний Крест (созвездие Лебедя), хотя Николай Заболоцкий называет даже Большую Медведицу, — а это ведь самое приметное созвездие северного полушария неба. В пользу моей версии говорит теория известного израильского исследователя Ариэля Голана, который считает крест очень древним символом, обозначавшим огонь. А петух тоже символизировал огонь.

Космическая роль Курицы и Петуха — тема, которая требует специального исследования. А вот о связи петуха с рассветом, солнцем и дневным светом говорят мифы всех народов, за исключением, может быть, кельтов и скандинавов, где петух является вестником преисподней. Не случайно и в «Сказках братьев Гримм» — сказках европейских народов, в этногенезе которых участвовали кельты и скандинавы, петух часто связывается, хотя и косвенно, со смертью. Но и солнце у германцев — чаще всего Черное Солнце — Подземное, которое графически представлялось в виде свастики, повернутой в обратную ходу часовой стрелки сторону. Именно такую свастику избрали своей эмблемой нацисты.

Более явственно небесно-солнечная символика петуха просматривается в сказках восточнославянских народов. В широко известной сказке «Кот, петух и лиса» хитрунья поет под окном, вызывая выглянуть Петуха, после чего его и крадет. С окном всегда было связано солнце: и на небе, согласно верованиям наших предков, оно выглядывает из окошка. В семантике дома окна воплощали связь домашнего космоса с космическими стихиями и объектами, прежде всего Солнцем и Месяцем. Они вошли и в орнаментику наличников, чрезвычайно богатую во многих регионах Беларуси (в основном в Гомельской области).

В вариантах сказки о петухе и лисе Петух с Котом живут у Деда с Бабой (символы человеческих предков) или вместе с Бараном, причем Кот неизменно во всех вариантах выручает Петуха из беды, отбирает у Лисы. Лиса здесь — хтонический персонаж, воплощение тьмы, зла, а Кот, по-моему, довольно позднее замещение Белки, которая была связной между разными уровнями-сферами на Космическом Древе. Правда, невыясненным остается вопрос, почему такая замена произошла.

В сказке «Медведь и Петух» из дому сбегают Вол, Баран и Петух и поселяются вместе в лесу. Вол (бык), баран и петух — животные все солярные, причем Петух, который играет главную роль в сюжете, воплощает собой утреннее или, скорее всего, весеннее солнце. В популярной у всех восточных славян сказке «Зимовье зверей» именно петух является притягательным кушаньем, лакомством для лесных зверей, подобно Колобку (луне) в одноименной сказке.

У белорусского, русского, украинского народов, как и у других этносов Европы, встречаются сказки кумулятивного характера, типа «Смерть Петушка», «Кочет и Курица». Здесь гибнет именно Петушок, и Курочка, чтобы спасти его, бросается за водой; ее добывание, в свою очередь, требует обращения к определенным существам и ряду соответствующих действий, которые вытекают одно из другого, цепляются одно за другое. Сказка ясно свидетельствует о связи всех предметов и явлений в мире, а это целиком укладывается в рамки мифологического мышления. Возможно, перед нами — своеобразный тест, который вскрывает потаенную структуру во внешне, казалось бы, хаотических явлениях.

В сказках более позднего времени петух демонстрирует свою воинственность. Так, в «Козе лупяной» он прогоняет нахальную Козу, которую можно рассматривать как замену Дракона — посланца потустороннего мира. Возможно и другое объяснение: Коза — солнце ущербное, которое исчезает во время затмения, и на смену ему появляется новое, активное, молодое — Петух. В «Лисе и Зайце» с косой на плечах Петух выгоняет из заячьей избушки Лису, действуя активнее и боевитее, чем все лесные звери.

Действительно, у античных греков петух сопровождал воинственных небожителей — Ареса и Афину. Но был он атрибутом и других богов — Аполлона (воплощения Солнца), Персефоны (символа возрождения природы весною), Гермеса (вестника богов), Асклепия (медицины). Петух — бдительный, нетерпимый ко злу, стоит на защите справедливости, добра и здоровья (по всей Европе когда-то верили, что лекарство подействует, если давать его больному во время пения петухов). В Китае, где и ввели птицу в зодиакальный круг, петух считался символом смелости, отваги и мужества. В ночь на Новый год петуха ощипывали и вывешивали на ворота — таким образом хозяева защищали себя от злых духов. А японская народная архитектурная форма, которая стала вообще символом Японии — *тория*, — и есть не что иное, как образная имитация насеста для петухов. В японских синтоистских храмах обязательно живут петухи, потому что считаются священными птицами.

В Китае слово «петух» — омоним удачливости. Красный петух отводит пожар от дома, а белый отгоняет привидения. Птицу могут приносить в жертву (как и во всем мире), но из уважения не едят. Петух является символом пяти (5 — священное число) китайских добродетелей: чувства собственного достоинства, благородства, мужества, надежности и великодушия (последнее — из-за привычки петуха предлагать найденную еду сначала курам, а потом уже есть самому). Возможно, приведенные качества и закладывались генетиками суперцивилизации в программу создания красивой, гордой и смелой птицы. В буддизме, который возник в Индии, петух воплощал сексуальное желание, похоть, но вместе с тем являлся одним из трех эмблематических животных (вместе со свиньей и змеей), которые сопровождали человека в круге рождений и смертей.

В классической поэзии Китая упоминание о лае собак и крике петухов создает определенную эмоциональную атмосферу — спокойствия и надежности,

близости к людям, ощущения единства с ними. Эти же существа воплощают домовитость, уютность, благоденствие: «Мой маленький домик // стоит у самой деревни: // Сквозь редкую изгородь // вижу собак и кур» (Бо Цзюйи).

И все же характерно то, что в европейском регионе произведений о петухе значительно больше, чем на территории, близкой к его родине, — Китае, Японии и Индии. Кстати, и названий птицы на землях Восточной Европы много: «певень» (бел.), «петух» (русск.), «кочет» (русск.), «будимир» (укр.), «пивень» (укр.), «кур» (общеслав.), «петел» (болг.), «петао» (сербск.), «петелин» (словенск.), «когут» (польск.). Наиболее древнее название, как мне кажется, — «кур». Корень «ур» когда-то означал свет, бога неба — Урана и одновременно входил в победный крик воинов — «ура», который буквально означал «с нами бог света». Начальное «к» («кур») во всех славянских языках означает приближение к чему-нибудь. Таким образом, «кур» — тот, кто близок к свету.

Можно предложить и другую версию: у древних шумеров бог неба Энлиль имел эпитеты — Кур-галь, Кур-ан (отсюда происходит, видимо, слово «курган»), что означало «высокую гору», «Гору Неба». Таким образом, даже само имя существа прямо указывало на его функцию. Естественно, что и в народе его всегда считали вестником света, восхода солнца — он *первый* приветствует солнце: это, видимо, и было определяющим в выборе китайцами птицы для своего календаря. Украинское «будимир» тоже прямо указывает — «будит мир», а под «миром» понимали и свет, и социальный космос — общину, народ. «Кочет» происходит, вероятно, от звукоподражательного междометия, а белорусское «певень», русское «петух», украинское «півень» и похожие слова из других славянских языков имеют общий корень с «пением».

Выдающийся исследователь мифологии и фольклора славян Александр Афанасьев в XIX ст. писал: «…крик петухов служит сигналом, что на небе звонят к заутрене; как скоро раздается он, черти, мертвецы, колдуны и ведьмы спешат разойтись по своим местам…». В белорусской легенде «Туровские саркофаги» петух живет (почему-то) даже на болоте и своим пением прогоняет русалок. Проще говоря, без него невозможно обойтись в отношениях между разными мирами — миром живых и миром умерших.

Современный белорусский исследователь фольклора Алексей Ненадовец отмечает, что символика петуха связана со всем комплексом представлений: жизнь — смерть — новое рождение. Действительно, это так, поскольку петух — метафорическое название Солнца, а Солнце путешествует не только по небу — царству богов, но и в подземном, чужом и враждебном для него, хтоническом мире, где все же обязательно побеждает тьму и неизменно возрождается каждое утро. Более того, еще ученые-мифологи XIX ст. стремились реконструировать имя славянского бога времени. Я. Гримм в своем классическом труде «Немецкая мифология» (1835 г.) пришел к выводу, что оно звучало «Крет» — созвучное в первых звуках греческому богу Крону (Хроносу). Исследователи XX в. окончательно установили, что имя бога времени у древних славян — Курет. Как видим, корень слова тот же, что и в названии петуха — «кур».

Самый широкий философский простор представлений, связанных с петухом, естественно, делает его образ многофункциональным в словесном художественном творчестве, героем исключительно разнообразных сюжетов. Так, в сборнике того же А. Афанасьева «Русские народные сказки» приводится сказка, в равной степени, но в разных вариантах характерная для русского, белорусского, украинского народов. Схема сказки такая: по дубу или по гороху (варианту Мирового Древа) Дед взбирается на небо и находит там чудесные жернова (символ Мирового Двигателя — Риты-Раты) и Петуха (символ Солнца). Боярин или другой злодей жернова крадет. Петух преследует его и требует вернуть чудесную вещь. Петуха бросают в колодец — он выпивает всю воду, потом сажают в печь — он заливает ее водой и в конце концов возвращает мельничку.

Мое объяснение сказки следующее: Солнцу-Петуху не страшна вода, потому что в своих суточных путешествиях оно проходит ночью через воду (Океан), каковым часто представлялась в мифологии хтоническая сфера. Тем более не страшен Солнцу огонь, поскольку оно само — огонь. Иногда перефразой огня и является выражение «красный петух». Современный российский писатель Михаил Успенский, фантаст и юморист, проведя обратный процесс деметафоризации, в своем фантастическом романе «Там, где нас нет» персонифицировал образ «красного петуха» в реальный (и в то же время сказочно-фэнтезийный) персонаж — Будимира. Будимир-Петух, поскольку он все же на самом деле — огонь, неоднократно спасает именно в этом своем качестве главного героя романа Жихаря — символ славянских народов — и его друга-попутчика Яр-Тура (Артура) — будущего короля английского народа.

Образ петуха неоднократно встречается в художественных произведениях, причем наиболее интересно — в литературных сказках. У самого жизнерадостного и разнообразного по сюжетам американского писателя XIX ст. — романтика Вашингтона Ирвинга — есть новелла в восточном стиле «Легенда об арабском астрологе», которую использовал, сильно видоизменив, Александр Пушкин в своей «Сказке о Золотом Петушке». У Ирвинга петушок, который стоял на спине барана, упоминается как одно из чудес Древнего Египта, но астролог, по заданию султана, создает все же и человекообразного железного охранника — будто бы в помощь наблюдателю-петуху. У ироничного Пушкина на вершину башни колдун поместил именно петуха-стража, потому что у всех народов Европы флюгерами были, как правило, петушки. Всемирно известный датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен даже сочинил сказку «Дворовый петух и флюгерный». Впрочем, у Пушкина золотой петушок — ложный флюгер и указатель, пагубный вестник, средство связи с магическими силами, злой дух, используемый в черной магии; и само произведение, по мнению российского автора Виктора Аксючица, исследует проблему прельщения властителя магическими силами, отчего страдает народ и держава терпит полный крах.

О том же — философская повесть-сказка «До третьих петухов» выдающегося русского писателя XX в. Василия Шукшина: в ней он необычайно точно в образной форме предсказал все, что произошло на рубеже столетий с нашей духовностью.

Не без иронии описывает своего персонажа — Петуха — Алексей Толстой в известнейшей сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Мало кому известно, что все герои произведения имели здесь своих прототипов, например, образ Пьеро — довольно злая карикатура на Александра Блока (а почитатели называли его птицей Гамаюн), Мальвина — на его жену Любовь Дмитриевну, Карабас-Барабас — на известного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда и т. д. Правда, еще не все прототипы раскрыты, но можно полагать, что среди знакомцев саркастичного автора был и «Петух» — человек надменный, задиристый и глупый.

Поскольку с петухом связывают сексуальную потенцию, он встречается в заговорах на любовь, в гаданиях и снах. Так, чтобы приворожить жениха, необходимо с печной заслонки покормить петуха. На Святки девушки часто гадали с петухом: загадывали желание на разные виды зерна и пускали птицу, смотрели, из какой кучки будет петух клевать. Существовали и другие виды гаданий с петухом. Широко распространены также приметы. Так, если петухи поют всю ночь — ожидай беды. Петухи распелись невовремя — к вестям. Если курица запела по-петушиному — кто-то умрет. У поляков на свадьбу перед молодыми несли петуха как символ мужской силы и плодовитости (в одной из русских иронических сказок Петух исповедуется перед Лисою, каясь в грехе — имеет семьдесят жен). И в белорусской свадебной обрядности петух и курица используются очень широко и на разных этапах ритуала. Вообще петух воплощает солярный и мужской принципы — отсюда и определенные его функции.

В новелле «Сон» украинской писательницы XIX в. Марко Вовчок молодице приснился сон о красном месяце, внутри которого белый петух крыльями махал и пел. Сон напророчил быстрое возвращение из Крыма ее молодого мужа-чумака. Если петух снится, это сулит удачу и повышение престижа. Услышанное во сне реальное утреннее пение петухов обещает для молодежи удачную женитьбу или замужество и благосостояние в доме. Если снится, что петух кричит ночью или вечером, придется плакать, и не раз. Подобно тому, как апостол Петр вспомнил предсказание Христа, услышав петушиный крик, так и нас сон с петухом может предостеречь от ошибок и заблуждений.

В христианстве петух приветствует восход Солнца-Христа на востоке. Позолоченный флюгерный петух охраняет храмы ночью, когда молчат колокола. Он воплощает праведников, оповестивших приход Рассвета —Христа.

В связи с солярной тематикой, да и красотой (фигурка исключительно изящная, утонченная, особенно в профиль), петух — частый персонаж изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Кельты-галлы носили изображение петуха на оружии и знаменах, он вообще стал эмблемой Галлии (благодаря игре слов латинского языка, где «gallus» означал и «петух», и «галл»). Во Франции, наследнице Галлии, петух считается символом независимости, свободы, но и задиристости. Француз любит отождествлять себя с петухом. Птица часто встречается в гербах не только городов и аристократических родов Франции, но и в геральдике соседних стран. В центральном зале заседаний здания ЮНЕСКО, размещенного в Париже, всю стену занимает огромный гобелен с изображением на нем петуха как воплощения солнца, света, утра, возрождения, культуры, обороны от всякого зла. Создал гобелен всемирно известный Жан Люрса, у которого многому научились признанные мастера белорусского монументального гобелена — Анатолий Кищенко и Михаил Савицкий (первый — создатель самого большого в мире гобелена, второй был академиком Академии художеств СССР и тем художником, который принес славу Беларуси).

В Китае петух — один из важнейших оберегов, нередко рисуется даже на стенах домов (у нас стилизованный — на деревянных крышах). В Беларуси, России, Украине, других славянских странах петуха часто можно видеть вышитым на ручниках, но особенно часто, скажем, у белорусов — в изделиях из соломки и в вытинанках — характерно белорусских национальных жанрах декоративно-прикладного искусства.

Пение петуха неоднократно имитировалось композиторами-классиками. Например, Михаилом Глинкой, Петром Чайковским. В советское время популярностью пользовалась симфоническая поэма испанского композитора Лопеса Флореса «Песня петуха» — ее часто передавали по радио. В кинолентах пение петуха за кадром — знак деревенского утра, и характерно: всегда настраивает на соответствующий эмоциональный лад.

Вообще же тема петуха в литературе и искусстве необъятна. Я ее затронула лишь в приближении.

Во всяком случае, несомненно, что из всех живых существ китайского традиционного календаря петух в наибольшей степени импонирует всем другим народам.

Действительно, мудрые китайцы, когда еще в глубокой древности выбирали птицу для своего календаря, как-то очень правильно угадали необычайно широкое распространение петуха в мире и любовь к нему многих людей. Но в семантике образа петуха остается еще, как ни странно, много невыясненного.

***Продолжение следует.***

Надежда ТВАРДОВСКАЯ

# *Родной дед А. Т. Твардовского*

Дед Александра Трифоновича Твардовского был родом из Беларуси. Он прожил большую жизнь — девяносто четыре года. Родился 17 декабря 1821 года, умер 5 ноября 1915 года на хуторе Загорье в семье сына Трифона Гордеевича Твардовского, кузнеца и крестьянина, где жил последние годы вместе с женой Зиновией Ильиничной. Дома ее все называли Зинаидой.

Внук А. Т. Твардовский хорошо помнил любимого деда-солдата и его рассказы о военной службе. Через тридцать шесть лет после его смерти, в 1951 году он писал в стихотворении:

Мы с ним дружили. Он любил меня.
Я тосковал, когда он был в отлучке,
И пряничного ждал себе коня,
Что он обычно приносил с получки.

Гордей родился в семье крепостных крестьян и со дня рождения тоже был крепостным. Детство его прошло в лесной белорусской местности в деревне вблизи реки Березины. Он окончил школу, был грамотным, любил книги и много читал. Родители его были православными. Село, в котором они жили, отличалось от соседних деревень большой высокой церковью. Гордей вместе со своим отцом Василием Ивановичем Твардовским пел на праздничных службах в этой красивой церкви в церковном хоре.

Отец его внезапно заболел и безвременно скончался. На память об отце осталась старинная книга в кожаном переплете — Священное Писание. Книга сопровождала Гордея Васильевича всю жизнь, и даже внуки держали в руках эту книгу, листали ее и запомнили хорошо, на долгие годы.

Гордею пришлось рано начать работать. В своей деревне он стал плотником и крестьянином и своим заработком облегчал заботы матери об учении младшего брата.

В возрасте 32 лет был взят рекрутом в армию. Был он не женат, рослый и крепкий, видный парень, и попал служить в Варшавскую крепостную артиллерию, куда набирались солдаты сильные, которые могли бы легко ворочать тяжелые пушечные ядра.

В Варшавскую крепостную артиллерию он прибыл в составе группы рекрутов из 115 человек 28 мая 1854 года из Минской губернии. Все рекруты были записаны в списочное состояние рот № 11 и № 12 Варшавской цитадели. Он начал службу в 11-й роте под командованием поручика Лазарева.

Ему, как и всем новым рекрутам, причиталось получить (серебром): жалованья — 35 копеек, на полушубок — 2 руб. 42 коп., амуничных и на шитье второй пары сапог — 45 копеек.

Документальные свидетельства о солдатской службе деда А. Т. Твардовского были найдены в книгах приказов по Варшавской крепостной артиллерии за 1854—1867 годы в Центральном военно-историческом архиве в 1987 году бывшим сотрудником журнала «Новый мир» Ю. Г. Буртиным и опубликованы в «Литературном обозрении» № 11 за 1987 год.

Обнаруженные бесспорно важные исторические документы раскрывали подробные факты солдатской биографии Гордея Васильевича Твардовского через 120 лет после окончания его службы.

За годы солдатской жизни в Варшавской крепостной артиллерии он служил в званиях младшего канонира, канонира и получил третье звание в артиллерии бомбардира. В этом звании он служил в ротах № 1 и № 3. Звание бомбардир впоследствии соответствовало ефрейтору в пехоте.

Гордей Васильевич, как грамотный и начитанный человек, во время службы писал письма солдатам домой и прошения на Высочайшее имя по просьбам сослуживцев. Заглавные, прописные буквы он выводил каллиграфически красиво, с узорами — завитушками, отражая в них уклад русской старины.

Гордею Твардовскому, как и всем служившим солдатам, несомненно повезло в жизни со значительным сокращением в 1855 году срока службы.

Срок службы солдат был сокращен до 15 лет: 12 лет службы плюс три года «временного отпуска» (т. е. в запасе). Это сокращение произошло при Александре II.

И до этого Указа сроки солдатской службы тоже сокращались. Все крепостные крестьяне после отмены крепостного права в 1861 году в России становились свободными людьми. Но земельный вопрос реформа полностью не решила. Земли остались у помещиков.

По царскому манифесту от 18 октября 1866 года «Об очередном рекрутском наборе и увольнении во временный отпуск нижних чинов старших сроков службы» полковник Граф приказом № 21 от 20 января 1867 года уволил в трехлетний отпуск (т. е. в запас) вместе с десятками других солдат «вверенной ему Варшавской крепостной артиллерии» и бомбардира 3-й роты Гордея Твардовского.

На основе изданного приказа Гордей Твардовский был уволен в отставку 20 января 1867 года. Общий срок его службы составил 12 лет 8 месяцев. Ему была назначена солдатская пенсия 3 рубля в месяц за ранение на военных учениях.

К этому времени он был женат на Зиновии Ильиничне, дочери сослуживца И. Т. Иванова, девушке 17 лет, у них родился сын Василий. Они имели квартиру в Александровской казарме по приказу полковника Графа.

В деревню Барсуки Ивановской волости Краснинского уезда Смоленской губернии в феврале 1867 года возвратились две семьи отслуживших солдат-бомбардиров — Гордея Твардовского с женой и сыном Василием и тестя Ильи Тарасовича Иванова с женой и сыновьями Георгием и Николаем.

В это время в Барсуках свирепствовала эпидемия инфекционной болезни. Все трое детей заболели и умерли. Сын Гордея Василий умер 3 марта 1867 года. Погребение троих детей было засвидетельствовано священником Дмитрием Петровым. Об этом печальном событии было сообщено в Варшавскую крепостную артиллерию, и дети были исключены из списков будущих солдат роты № 3.

Так печально началась жизнь семьи Гордея Васильевича на Смоленщине.

Все же на новом месте им пришлось обустраивать крестьянскую жизнь. Мирской сход деревни удовлетворил просьбу о выделении места под избу и для размещения огорода. После этого решения староста деревни попросил у Гордея Васильевича в долг деньги для уплаты недоимок деревни в 200 рублей. Он деньги дал, староста составил подворную именную ведомость должников. Но крестьяне вернули только некоторую часть долга.

В первый год жизни в Барсуках была построена изба самим Гордеем Васильевичем, он хорошо знал деревенское строительство. Они обзавелись небольшим хозяйством. Двор их остался безлошадным. Земельного надела Гордей Васильевич не имел.

Семья жила в основном заработками на помещичьих работах. Гордей Васильевич умел хорошо справляться с земледельческими работами — пахал, бороновал, сеял, молотил, убирал урожай, косил травы и т. д. Работа определялась количеством обработанных десятин земли и оплачивалась помещиком Прусом по выполненному объему в меньшей доле деньгами, в основном зерном и фуражом.

В их семье родилось семеро детей. Двое деток — сын Василий и дочь Ксения — умерли от болезней в раннем детстве. Выросли пятеро детей — четыре дочери и сын Трифон, последний ребенок, родившийся в 1881 году.

Гордей Васильевич был заботливым отцом. Он обладал минимальными средствами безземельного крестьянина, но все же все дети окончили сельскую школу. Сын Трифон получил похвальный лист за успехи в учении. Учитель села Ярковичи по фамилии Волович обратил внимание на способности ученика и после школы продолжал опекать Трифона, давая свои книги для чтения. Благодаря чтению книг и беседам с учителем Трифон хорошо знал русских писателей и поэтов-классиков и эту любовь потом воспитал у своих детей.

Через два года после школы Трифон стал учеником в большой кузнице владельца Молчанова в деревне Бобыри в верховьях реки Сож. В первый год Трифон, как и другие ученики, работал по хозяйству. А в последующие три года обучение шло одновременно с работой в кузнице. Работа учеников немного оплачивалась, в первый год они получали по 3 рубля в месяц, во второй — 10 рублей и в третий — 15 рублей. Трифон эти деньги отдавал отцу, он деньги сына не тратил. И к окончанию кузнечного обучения у Трифона собралось около двухсот рублей. В Барсуках на эти деньги он построил кузницу, приобрел оборудование. Через несколько лет стал хорошим мастером в округе.

Дочерей с детских лет приучали к домашнему труду, а с четырнадцати лет, как было принято у крестьян, они уже начинали выполнять основную работу — жали, брали лен, пряли лен и овечью шерсть, ткали льняное и шерстяное полотно. Вязали кружева и шерстяные изделия. Были рукодельницами.

Все дети были красивыми, в своих родителей. Девушки вышли замуж, имели семьи, воспитывали детей. Жили в с. Щелканово, Босино, Клычево, в г. Смоленске.

В Смоленске жила Татьяна, она была мастером женской одежды, т. е. закройщицей, работала в ателье. Ее муж был служащим. В советские годы их сын Иван Соколовский окончил экономический факультет университета в Петербурге (тогда Ленинграде) и перевез к себе семью родителей.

Осенью 1912 года постаревшие родители Трифона Гордеевича из села Барсуки, где они прожили 45 лет, переехали в Загорье. Гордею Васильевичу шел 91-й год, бабушке Зиновии Ильиничне более 60 лет.

В семье Твардовских было трое детей — Косте 4 года, Саше 2 года, в сентябре 1912 года родилась Анна. Их маме Марии Митрофановне было всего 24 года, отцу Трифону Гордеевичу — 31 год. В октябре 1914 года родился Ваня. Других внуков деду Гордею уже не придется увидеть. В семье было семеро детей.

Саша и Костя успели полюбить деда Гордея, он вырезал им игрушки из дерева, рассказывал сказки, пел солдатские песни.

А. Т. Твардовский вспоминал деда Гордея Васильевича, солдата Варшавской крепостной артиллерии, и писал в «Рабочих тетрадях» в 1955 году: «Помню его черный с красной окантовкой мундир, в который он обряжался, отправляясь пешком за 50 верст в город за своей немалой по тем временам пенсией — 3 руб. в месяц. Позже я узнал, что такая пенсия была ему не просто за безупречную службу, а еще и за ранение, или, вернее сказать, за увечье, полученное, правда, не в бою, а на каких-то учениях, когда колесом пушки ему повредило правую ногу» («Знамя», 1987, № 7, с. 163).

О внезапной болезни Гордея Васильевича и последнем дне его жизни рассказывала мама А. Т. Твардовского — Мария Митрофановна Твардовская, моя родная и любимая бабушка.

Свекор оставил о себе самые хорошие воспоминания. Был он человеком добрым, стариком крепким, на здоровье никогда не жаловался и не болел.

Было начало ноября 1915 года, сухая и теплая осень. Гордей Васильевич с утра ушел в поле проверить озимые посевы. Бабушка Зиновия Ильинична уже неделю гостила у дочери в с. Щелканово. Второй день был в городе Трифон Гордеевич и намеревался вернуться вечером или ранним утром следующего дня.

Мария Митрофановна была дома с детьми: Костей семи лет, Сашей пяти лет, дочерью Анной трех лет и Ваней одного года. Было 4 ноября 1915 года. Гордей Васильевич вернулся с полей в хорошем настроении, рассказывал обо всем, что рассмотрел. Зашел сосед Епифан Животков, имевший общую границу с Твардовскими. Разговорился с Гордеем Васильевичем о хозяйственных делах. Мария Митрофановна подавала ужин свекру и пригласила за стол соседа. После ужина сосед ушел.

Гордей Васильевич, как всегда, вечером помолился и лег спать на обычном своем месте на полатях, справа от русской печки.

Через некоторое время стал жаловаться на боль в животе и попросил позвать фельдшера. Он почувствовал, что заболел.

Мария Митрофановна пошла к соседям просить лошадь для поездки в Егорье. Уже вечерело, и она решила взять с собой Костю и Сашу. Костя сразу встал, а Саша, как и младшие дети, спал, и она пожалела его будить. Попросила соседку побыть у нее дома, пока вернется.

Фельдшер приехал. Осмотрел заболевшего, оставил большой пузырек микстуры и велел пить каждый час. Невестке он сказал, что у Гордея Васильевича аппендицит, операции он не делает, до города они его не довезут. Сердце у него крепкое, и он доживет до утра.

Свекру становилось все хуже, и он стал просить «попа, скорее попа». Опять на той же чужой лошади вместе с Костей Мария Митрофановна поехала за шесть километров в с. Ляхово за священником.

Дедушка Гордей священнику обрадовался. Он был в сознании. На вопросы отвечал правильно. Священник его осмотрел, потом дал в руку свечку и стал читать молитвы. Затем причастил его. Гордей Васильевич сказал: «Вот теперь легче. Умирать я не боюсь».

В ту печальную осеннюю ночь 5 ноября 1915 года внуку Саше было пять лет и несколько месяцев, он родился 8 июня 1910 года по старому стилю (по новому стилю его день рождения 21 июня).

Саша спал на русской печке, и когда проснулся, то священник из церкви с. Ляхово читал над дедушкой Гордеем молитвы и поправлял в его руке свечку. Вот с этого момента он запомнил последние минуты жизни любимого деда, поразившие его.

Дедушка Гордей Васильевич скончался на рассвете 5 ноября 1915 года, тихо и спокойно.

Через сорок лет после смерти деда внук А. Т. Твардовский 02.04.1955 г. писал в своих «Рабочих тетрадях»: «Смерть деда произошла буквально на моих глазах, я помню ее до подробностей, хотя мне было тогда не больше четырех лет. Я с печки смотрел на его большую седую голову, лежавшую на подушке в его запечном углу, и крупную руку, в которой плохо держалась свечка, ее все время поправляли.

Помню, что меня все это занимало и глубоко подавляло и устрашало. Понятие об ужасном и неизбежном для всех людей, а значит, и для меня конце просто наполняло меня всего... и думал: что же это такое, как все это ужасно.

При мне деда и обмывали двое наших соседей... где на загнетке стоял чугун с водой, и обряжали его в военный мундир, причесывали, ласково и уважительно пошучивали: вот так, вот так будет ему красиво» («Знамя», 1987, № 7, с. 163).

Рано утром приехала сестра Екатерина с мужем Михаилом Возновым на помощь.

Детей на дни похорон отвезли к сестрам Марии Митрофановны. Младших Аню и Ваню в Берники к сестре Анне. Костю и Сашу в Ковалево к Возновым.

Из Щелканова привезли бабушку Зиновию Ильиничну.

Михаил Вознов утром привез гроб из Починка.

Из города рано утром вернулся Трифон Гордеевич. Он был глубоко тронут смертью отца. Поцеловал его в лоб, скрещенные руки, сказал ему теплые слова прощания.

Православный обряд прощания с покойным Гордеем Васильевичем начал совершаться в первой половине дня 5 ноября 1915 года.

Священник, дьякон и псаломщик с причтом из церкви с. Ляхово отпевали покойного в Загорьевском доме днем и ночью по 7 ноября. Читали Псалтырь, пели заупокойные молитвы в присутствии родных, родственников, близких соседей.

Хоронили на третий день в полдень 7 ноября 1915 года на Сельцовском кладбище вблизи большой сосны, в одном километре от Загорья.

Поминали после похорон, на 9-й и 40-й дни. Трифон Гордеевич позднее поставил металлические крест и ограду из Смоленска.

В Метрической книге церкви с. Ляхово № 19 за 1915 год, сохранившейся в Смоленском государственном областном архиве, священник Оглоблин внес подробные сведения о Гордии Васильеве Твардовском: Возраст — 94 г., Дата смерти — 5 ноября 1915 г., Погребение — 7 ноября 1915 г. при с. Загорье, Болезнь — умер от натуральной болезни. В графе положение и место проживания — безземельный крестьянин Гордий Васильев Твардовский; проживал в дер. Барсуково Ивановской волости, также в с. Загорье Лобковской волости Краснинского уезда Смоленской губернии.

На Смоленской земле Г. В. Твардовский прожил сорок восемь лет — с 1867-го по 1915 год.

Так скоротечно 5 ноября 1915 года завершилась жизнь замечательного дедушки Гордея Васильевича Твардовского, к которому с большой теплотой и любовью относились близкие родные — сын, дочери, внуки, невестка и мужья дочерей, уважали друзья и знакомые.

Гордей Васильевич Твардовский всю свою жизнь прожил в постоянном труде и научил своих детей любить труд и уважать людей, воспитал детей честными, порядочными и хорошими семьянинами.

Бабушка Зиновия Ильинична прожила в Загорье в семье сына Трифона Гордеевича 15 лет. Она много внимания уделяла внукам, и они любили ее. Умерла в возрасте 79 лет 8 мая 1927 года. Похоронена рядом с мужем на Сельцовском кладбище.

А. Т. Твардовский в 1951 году посвятил деду-солдату другого исторического времени, которого любил всей своей детской душой, проникновенное стихотворение:

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руке стоявшей криво.

И вот он умер, и в гробу своем,
Накрытом крышкой, унесен куда-то,
И нет его, а мы себе живем, —
То первая была моя утрата...

И словно вдруг за некоей чертой
Осталось детства моего начало.
Я видел смерть, и доля смерти той
Мне на душу мою ребячью пала.

В памяти родного внука навсегда остались «и песни, и сказки, что слышал от деда...» — А. Т. Твардовский «За тысячу верст от родимого края...».

Образ деда Гордея Васильевича отражен в поэме «Страна Муравия», глава вторая. Черты любимого деда поэт воспроизводит в поэме «Василий Теркин» в главе «Два солдата».

Тимофей ЛИОКУМОВИЧ

# «Как поэт своим рождением я обязан именно этому произведению...»

В середине тридцатых годов прошлого столетия молодой белорусский поэт Аркадий Кулешов, несмотря на изданные к тому времени пять книг стихотворений и поэм, оказался на распутье, поскольку написанное не удовлетворяло его. Волнение поэта было вполне объяснимо: он почувствовал непродуктивность риторического письма, а следование конструктивистскому и другим модным и шумным направлениям в поэзии фактически тормозило проявление собственного поэтического дарования, в результате чего его произведения оказывались отдаленными от реальной жизни.

О тогдашнем своем беспокойном душевном состоянии и творческом смятении А. Кулешов вспоминал в автобиографических заметках: «Слежу за всем, что появляется нового в советской поэзии, с надеждой и тревогой листаю новые номера «толстых» журналов, ищу ответ на вопросы, волнующие меня. Наконец-то, как открытие, как просветление — «Страна Муравия» Александра Твардовского. Я нисколько не преувеличу, когда скажу, что как поэт своим рождением я обязан именно этому произведению. «Страна Муравия» не только по-новому дала возможность осмыслить близкий мне мир народной жизни, но и явилась толчком, который вывел меня из творческого тупика». Поэма «Страна Муравия» Твардовского оказалась первой ступенькой к внимательному отношению молодого белорусского поэта, недовольного написанным ранее и настойчиво искавшего новые пути развития своего таланта, к творчеству смолянина.

Исходя из современной точки зрения на процесс коллективизации, поэму «Страна Муравия» можно отнести к «вынужденной ошибочной концепции» (Е. Евтушенко), но нельзя не признать, что она живописна, что, как и все дальнейшее творчество Твардовского, проникнута «исповедью в мучительной любви к своему народу».

По-видимому, А. Кулешов обнаружил понятную нам сегодня с высоты лет более широкую внутреннюю основу содержания, отраженного в произведении, которому суждено остаться бессмертной страницей-свидетельницей исторических общественных событий, происходивших в стране. Да и нельзя сводить поэму к одной проблеме коллективизации, послужившей основой для прикосновения к глубинным связям изображенных явлений. По сути в ней поднят существующий с незапамятных времен вопрос о коммуникации человека с окружающим миром, об обстоятельствах, в которые он попадает помимо своей воли, его вечная тревога о своем месте на земле, о куске хлеба насущного, о поисках мира и нормальных условий для нормальной жизни.

Поэма «Страна Муравия» произвела на Кулешова, по его собственному признанию, ошеломляющее впечатление: «Что ни раздел — открытие, которое приятно удивляло и радовало новизной и свежестью правдиво выхваченных из жизни примет времени. Возникало такое чувство, словно все описанное в поэме давно знакомое и любимое, что жизнь, изображенная в ней, родилась не вчера, а давным-давно установилась на земле». Знакомство со «Страной Муравией», раскры-



*Аркадий Кулешов подписывает свою книгу Александру Твардовскому. 1949 год.*

вавшей сложную многогранность тогдашних бурных событий в государстве, А. Кулешов воспринимал как «результат глубокого знания жизни народа, его чаяний и надежд», как лирико-эпическое творение, в котором каждое слово было нацелено выражать многое привычное и возникающее в новом ракурсе так, что оно «хватало за душу».

Хотя уже в ранних произведениях Кулешова, составивших его первые сборники, сквозь риторические напластования отвлеченных образов и поэтических штампов и условностей, возникших под влиянием произведений стихотворцев рубежа двадцатых-тридцатых годов прошлого века, которым он старался подражать, чувствовалась жажда изображения жизни во всей ее сложности, ощущались «первые шаги к образно-лирическому слиянию жизненных, творческих, духовных начал в едином поэтическом переживании и осмыслении мира», но они до встречи с поэмой Твардовского не находили убедительного обоснования.

Читая «Страну Муравию» и сравнивая ее со своими стихотворениями, Кулешов уловил пагубность односторонней упрощенности риторического стиха, в итоге ведущего к одноцветной ограниченности. Он убедился в необходимости вводить в художественное произведение реальный жизненный материал со всеми его противоречиями, что потребовало новых способов воплощения. Кулешов ощутил гибкость и силу стиха Твардовского, уловил необходимость естественного выражения чувств и мыслей современников для изображения важнейших исторических процессов, подлинной народной жизни, не лозунговой, а социально-исторически обусловленной реальными поступками героев, что уже само по себе влекло к поиску новых средств изображения.

«Страна Муравия» не только открыла перед А. Кулешовым по-новому близкий мир народной жизни, но и явилась тем благодатным толчком, который вывел его из творческого тупика, позволив найти собственный поэтический голос.

Известно, что и Твардовский также именно со «Страны Муравии» начинал отсчет своим работам, которые могут характеризовать его как литератора. В соответствии с признаниями поэтов, уже можно было предполагать, что их дальнейшие творческие поиски будут развиваться в соприкасающемся русле при оригинальном проявлении индивидуального поэтического почерка каждого.

Верно подметила М. И. Твардовская: «Твардовский и Кулешов — одно поколение, одна атмосфера жизни, один круг социально-исторических событий в жизни народа и страны. И вряд ли могла возникнуть их многолетняя дружба, если бы смотрели они по-разному на все то, чему были свидетели и участни-

ки — иметь ли в виду коллективизацию, Великую Отечественную войну, или что-то иное. Именно близость художнического подхода к жизни да еще похожесть детства и юности с их не только радостными, но и драматическими страницами стали основой взаимопонимания и дружбы поэтов. Из детских лет, из родных мест вынесли они: один — лейтмотив Беседи, струю которой отличал он и в безбрежном океане, другой — звон отцовской наковальни, различимый им и в индустриальном грохоте уральской кувалды. Да, это люди одного поколения и в значительной мере одной судьбы. Отсюда такая близость восприятия действительности — тематическая и эмоциональная, объединяющая их творчество, вплоть до отдельных мотивов».

Говоря про истоки дружбы и сотрудничества двух поэтов, необходимо также учитывать любовь А. Твардовского к Беларуси, к белорусской литературе и белорусскому языку, которая возникла в душе на основе близкого географического соседства, оказавшегося настолько весомым в его жизни, что некоторые белорусские слова просачивались в художественные произведения русского классика. К тому же в середине тридцатых годов прошлого столетия установились тесные двусторонние связи между литераторами Минска и Смоленска, которые наглядно выражались во взаимном посещении соседями друг друга и издании совместных сборников. Нельзя сбрасывать со счетов того, что Твардовский, как и Кулешов, воспитывался не только на поэзии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, но и прошел поэтическую школу белорусских народных писателей Янки Купалы и Якуба Коласа, восхищался их самобытностью. Значит, изначально имелся общий фундамент для сближения поэтов, одаренных созвучными талантами, объединяющими их творческие поиски и нередко приводящими к идентичным открытиям.

Поэзия Твардовского, вызвавшая у Кулешова новый творческий подъем, стала для него воодушевляющим образцом, который притягивал и удивлял богатством содержания, глубиной мысли и жизненной правдой, выразительностью художественных образов, совершенством формы, свежестью, полнокровностью и версификаторской гибкостью поэтической строки.

А. Кулешов правомерно считал Твардовского «вдохновенным летописцем современности», видевшим «свое неспокойное счастье в том, чтобы успеть за временем, запечатлевая крупные и мелкие черты его с настойчивостью и любовью поселенца, которому дорог каждый уголок земли, защищенный от врага, праведно выстраданной моралью, достигнутой трудом».

А. Кулешов воспринимал Твардовского как наиболее выдающегося из современных поэтов, властителя дум своего поколения, признавался, что восхищался им как личностью и его поэтическим творчеством, в котором продолжились великие традиции русской классической поэзии. Творчество Твардовского позволило ему ощутить и убедиться в том, что литература является гражданской совестью, ибо должна нести ответственность «за славу, за державу, за народ».

А. Кулешову, с чутким вниманием припавшему к «строке, что выходила в путь не налегке — с весомой мыслью, с чувством сокровенным», было понятно, что веский стих «трудом добыт и вдохновеньем поднят, как самородок из глубин земных». Он объяснял: «Меня поражало и продолжает поражать великое свойство его таланта — следовать за быстротекущим временем, схватывать главное и выражать его в мельчайших подробностях неповторимо точным словом». Как-то в разговоре с Кулешовым Твардовский заметил: «Писатель, упустивший важный период в жизни народа, страны, кончается как писатель». Такая гражданская позиция Твардовского оставалась значимой и для белорусского поэта, содействовала духовному росту и развитию творческих способностей, сопутствовала самостоятельному объективному восприятию и художественному осмыслению действительности в характерных для нее проявлениях.

А. Кулешов писал Твардовскому 11 августа 1964 года: «Твоя взыскательность, острое чувство правды были для меня всегда, во все годы, самым высоким судом, и всегда, написав свою новую вещь, я думал про себя: а что скажешь о ней ты?»

В свою очередь Твардовский по достоинству оценил поэзию А. Кулешова, считал его одним из крупнейших поэтов двадцатого века, по плечу которому решения сложнейших художественных проблем. Поэму «Знамя бригады» (1942) он воспринял как произведение, полное любви к родной земле, которое отобразило народное бедствие и народный подвиг. Не без участия Твардовского появление кулешовской поэмы превратилось в настоящее событие во всесоюзной литературе.

С большим вниманием отнесся Твардовский к «Новой книге» (1964) лирико-философских стихотворений А. Кулешова, посвятив им статью «Зрелость таланта», в которой указал на общественную значимость самобытного кулешовского дарования: «Вся эта свобода лирического изъяснения, эта несдавленность тона, смелость неожиданного сближения строгой мысли и простой сердечности — их не отнесешь к иному, чем наши дни, периоду — они принадлежат нынешнему времени и порождены им».

А. Кулешов считал жизнь Твардовского «подвигом неслыханным». Памяти своего друга он посвятил поэму «Варшавский шлях» (1972).

Поэма «Варшавский шлях» — подтверждение того, что Кулешов до последних дней жизни пронес в сердце чувство бесконечной благодарности своему другу, советчику и популяризатору за ту действенную роль, которую автор знаменитых поэм «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль» и других любимых народом произведений сыграл в его судьбе и литературном творчестве. Ознакомившись с рецензией Твардовского на свой сборник «Новая книга», Кулешов признательно откликнулся: «Этот день был для меня настоящим праздником и будет записан красными чернилами в календарь моей жизни. Я как-то снова почувствовал себя человеком чего-то стоящим, а это, поверь, очень важно для меня...»



*Искусство суждения*

Марина АММОН

# *Прозорливый Видок Фиглярин*

## *Фаддей Булгарин у истоков российской фантастической литературы*

Творчество Фаддея Булгарина, одного из наиболее одиозных представителей российского культурного пространства XIX века, получило крайне неоднозначную оценку как со стороны современников, так и позднейших исследователей. Писателя неоднократно упрекали в конформизме, коммерциализации вербального искусства, шаблонности и компилятивности текстов.

Именно ему посвящены блистательные эпиграммы, уничижительные карикатуры, разгромные статьи и ироничные заметки ведущих представителей эпохи — А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова и многих других. Неприглядный образ Ф. Булгарина рисует и очевидец многих петербуржских литературных интриг белорус К. Вереницын, высмеивает его в своей знаменитой поэме «Тарас на Парнасе»:

<…> Аж нехта з-паміж іх пішчыць:
«Памалу, братцы, не душыце
Мой фельетон вы і «Пчалу»,
Мяне ж самога прапусьціце
І не дзяржыце за палу!
А не, дык да душы, ў газеце
Я вас аблаю на ўвесь сьвет,
Як Гогаля ў прошлым леце, —
Я ж сам рэдактар ўсіх газэт!»
Гляджу сабе — аж гэта сівы,
Кароткі, тоўсты, як чурбан,
Плюгавы, дужа некрасівы,
Крычыць, як ашалелы, пан.
Нясе вялікі мех пан гэты,
Паўным-паўнюсенька набіт.
Усё там кніжкі ды газэты,
Ну, як каробачнік які!

Подобным сатирико-комическим портретом зачастую и ограничивается восприятие современным неискушенным читателем «величайшего русского писателя», по версии энциклопедического словаря Брокгауза за 1832 год (где, к слову, А. Пушкин именуется всего лишь «многообещающим поэтом»). Но несмотря на то, что как минимум половина инсинуаций вокруг личности вспыльчивого и горделивого «поляка» была прямо или косвенно обоснована, невозможно игнорировать очевидное противоречие между некоторыми его поступками и старательно создаваемым в обществе образом антигероя. Ведь именно «Видок Фиглярин» (красноречивый эпитет А. Пушкина) сохранил архив приговоренного к смертной казни декабриста К. Рылеева, активно популяризировал творчество своего близкого друга А. Грибоедова, оказал существенную поддержку А. Мицкевичу, начинающим Н. Гоголю, М. Лермонтову и др.

Сложно также отрицать и личный вклад уроженца Беларуси в развитие российской словесности. Речь, в первую очередь, идет о поразительно умелом оперировании Ф. Булгариным новейшими стратегиями издательской и писательской деятельности с их ориентацией на массового читателя, полемичностью, сенсационностью — факторами, предопределившими появление первого восточнославянского бестселлера — романа «Иван Выжигин», разошедшегося небывалым для своего времени тиражом более чем 10 тысяч экземпляров. Упомянутая книга закрепила за ее автором репутацию родоначальника приключенче-




ского жанра в российской литературе и предвосхитила появление таких шедевров, как «Мертвые души» Н. Гоголя, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова и др.

Однако по-настоящему уникальным явлением в словесности XIX века можно назвать фантастические произведения Ф. Булгарина, где отразилась вся смелость научных взглядов писателя, широта его социальных, культурных, экономических воззрений, сложная парадигма морально-этических императивов. Имеются в виду «Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли» (1824), «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке» (1824), «Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рожд. Христова» (1828), «Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки» (1830). Безусловно, данные тексты не лишены недостатков, ведь, будучи созданными в период Позднего Просвещения в России, они чрезмерно дидактичны, декларативно прямолинейны. Кроме того, Ф. Булгарин, основным профессиональным занятием которого была журналистская и редакторская деятельность, нередко отдавал предпочтение малым прозаическим формам, что не всегда положительно влияло на рецепцию того или иного произведения, представленного в форме эскиза, черновика или отрывка из утопического трактата.

Тем не менее, многие явно слабые в художественном отношении тексты автора демонстрируют весьма оригинальные сюжетные решения. Например, «Чертополох...», хоть и апеллирует к чрезвычайно популярному среди романтиков мотиву договора человека с темными силами, иронически переосмысливает его, делая ставку на реалистическое повествование. Так, на предложение главного героя приобрести его душу дьявол с улыбкой замечает: «Ты, любезный Чертополох, столько накутил в жизни, что душа твоя давно уже наша собственность; но как я рад служить добрым приятелям, то в угоду твою готов купить твое тело». При этом образ наделенного инфернальными силами смертного по инерции используется писателем в качестве объекта литературной критики, что может восприниматься как отсылка к

многочисленным оппонентам главного издателя «Северной пчелы»: «Но к чему это ведет? Сатира поправляет, пасквиль только гневает без поправы. Впрочем, сбить в одну кучу и добрых и злых, и умных и дураков, и друзей и врагов доказывает, что у Чертополоха нет души, нет утонченного чувства изящного и что не любовь к добру водила его пером, а злоба и зависть».

Метафоричность рассказа окончательно разрушается в конце произведения, когда автор предлагает читателю незамысловатый дешифратор своего замысла: «Какая нравственная цель этой сказки? Поставьте слово порок вместо черта — и все разгадано». Дьявол оказался неспособным осчастливить главного героя, ведь писатель, будучи глашатаем среднего класса — служилых дворян, провинциальных помещиков, чиновников, купцов, мещан, — не верил в случайный успех. Именно поэтому его Мефистофель замечает: «Не моя вина,<…> что ты всегда нуждаешься в деньгах. Расчет, бережливость, приличное употребление богатства, все это по части нравственной — а моя часть телесная, и я не мешаюсь в распоряжение твоих страстей. Чтоб распорядиться деньгами, надобно более ума, нежели чтоб приобресть их».

Еще более традиционными, на первый взгляд, могут показаться «Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли». В упомянутой повести писатель обращается к хорошо известному мифологическому мотиву катабасиса — сошествия в ад, — определенным образом модифицированному под влиянием технологической эпохи. При этом очевидным является наследование автором сатирико-фантастической традиции Дж. Свифта, чей знаменитый Гулливер посетил ряд стран, каждая из которых выступила своеобразным метафорическом воплощением того или иного аспекта существования общества. Примечательно, что в белорусской литературе аналогичный подход к осмыслению мотива инфернального путешествия продемонстрировал Янка Сипаков в своей повести «Блуканне па іншасвеце» (1994).

Ф. Булгарин же, моделируя на страницах своего текста три кардинально различных социума, представляет свою собственную концепцию просвещенного общества как явления процессуального: «...первая полоса, или Игноранция, означает совершенное невежество; вторая полоса, или Скотиния, полуобразованность, полуученость, что гораздо хуже невежества, а третья полоса, или Светония, истинное просвещение, делающее людей добрыми, благонамеренными, смирными, скромными и честными». Особенностями данного произведения выступают также подчеркнутая натуралистичность повествования, стремление научно обосновать саму возможность подземных странствий на основании еще не опровергнутой на то время гипотезы о полой структуре Земли. Последнее вкупе с рядом схожих сюжетных решений, в свою очередь, объединяет повесть Ф. Булгарина со знаменитым романом Ж. Верна «Путешествие к центру Земли», к слову, вышедшим в свет через целых 40 лет после появления российского текста.

Самой же удачной с художественной точки зрения является утопия писателя «Правдоподобные небылицы, или Путешествие по миру в XXIX веке», которая считается первым в истории российской литературы описанием путешествия во времени. Подобный мотив помогает автору по-новому раскрыть свой любимый прием сопоставления прошлого и современного («Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рождества Христова» (1828), «Иван Иванович Выжигин» (1839), «Две противоположности» (1843) и др.), придает повествованию черты футурологического прогноза. Кроме того, именно в «правдоподобных небылицах» Ф. Булгарин сумел наиболее полно и последовательно изложить всю сложную парадигму своих морально-этических, общественно-политических, научных и экономических взглядов.

Для успешной репрезентации такой комплексной задачи писатель обращается к двум различным литературным формам: античному диалогу и развер-

нутому рассказу. Беседа философско-полемического характера служит толчком для развития действия внутри каждого темпорального среза. Так, в «режиме реального времени» главный герой диспутирует с товарищем по поводу гипотетических пределов совершенства человеческого общества. После совершенного персонажем перемещения основным сюжетным стержнем становится его разговор с Профессором. Данный подход придает тексту ярковыраженное публицистическое звучание в духе платоновских трактатов или «Города Солнца» Т. Кампанеллы. При этом автор стремится к стилизации своего произведения в жанре хождения с характерным для данной литературной разновидности акцентом на экзотичности, фантастичности рассказа. Поставленной задаче способствует также соответствующая форма передачи действия: в финале «Путешествие...» оказывается случайно найденной анонимной рукописью, продолжение которой написано на неизвестном языке и требует надлежащего перевода и толкования.

Но даже на страницах незавершенной повести писателю удалось представить колоссальный по своему размаху футурологический прогноз, поставивший окончательную точку в многолетних поисках идентичности, метаниях автора между различными национальными и социально-политическими группами. Сын соратника Т. Костюшко, названный в честь последнего, капитан наполеоновской армии, член вильнюсского литературного объединения шубравцев Ян Тадеуш Кристоф Булгарин окончательно самоопределился в пользу действительного статского советника Фаддея Венедиктовича Булгарина. Именно поэтому в произведении вся сложная картина будущего человечества видится писателю через призму развития России: от вопросов повсеместного использования русского языка до тех или иных геополитических проблем восточнославянской империи. Несмотря на очевидную утопичность данной части «правдоподобные небылиц», многие прогнозы автора оказались чрезвычайно близкими к истине. Примечательно, что, вознося язык российского государства на пьедестал национальной словесности, в будущем автор не видит его в качестве средства международной коммуникации: «Хозяйка сказала мне несколько слов на неизвестном мне языке, но, увидев, что я не понимаю, спросила по-русски, неужели я не говорю по-арабски.

— Нет, — отвечал я, — в наше время весьма немногие ученые занимались изучением сего языка.

— Это наш модный и дипломатический язык, — сказал профессор, — точно так же, как в ваше время был французский».

В контексте футурологического дискурса еще более дальновидным выступает описание Ф. Булгариным научно-технических аспектов будущего: «...я увидел господ и госпож в парчовых и бархатных платьях, выметавших улицы или поспешавших с корзинами на рынок в маленьких одноместных двухколесных возках, наподобие кресел: они катились сами без всякой упряжки по чугунным желобам мостовой с удивительной быстротой. Вскоре появились большие фуры с различными припасами, двигавшиеся также без лошадей. Под дрогами приделаны были чугунные ящики, из коих на поверхность подымались трубы: дым, выходивший из них, заставил меня догадываться, что это паровые машины». Аналогичное смелое для своего времени предсказание делает автор касаемо использования в будущем и других транспортных средств: «подводные суда, изобретенные в наше время американцем Фультоном и усовершенствованные англичанином Джонсоном, введены в употребление» и др.

Писатель также делает попытку осмысления праксеологических и этических аспектов научной практики. В качестве доминанты функционирования общества называются: приоритет интеллектуального труда: «<…> у профессора будет более золота, нежели в наше время было у всех вместе взятых откупщиков, менял и ростовщиков!..»; утилитаризм любого рода исследова-

ний и изобретений: «Из одного любопытства, право, не стоит посвящать жизнь на новые открытия и усовершенствования»; прерогатива этики науки над другими, техническими, дисциплинами: «Особенная наука под названием: применение всех человеческих познаний к общему благу — составляла отдельный факультет».

Показательно, что при всем своем восхищении технологиями XIX века автор моделирует возможные последствия их использования, апеллируя, например, к необходимости рационального природопользования: «Оттого-то, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса и не радели о воспитании и сохранении дерев, они наконец сделались редкостью и драгоценностью». Приведенная ситуация в созданном писателем мире, вместе с рядом других причин, привела к глобальной смене климатических поясов и заставила жителей Сибири выращивать... бананы. Вместе с проблемой планетарного потепления колоссальным по своей смелости воспринимается также утверждение Ф. Булгарина по поводу судоходности Северо-Западного Прохода. Известно, что появление морского пути через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг стало возможным только в XXI веке в результате таяния ледников.

Отдельную футурологическую группу в «правдоподобных небылицах» составляют художественно-литературные прогнозы писателя. Очерчивая круг авторов, которые пройдут испытание временем и останутся на полках читателей даже в XXIX веке, Ф. Булгарин довольно критически относится к собственному творчеству: «...тщетно я искал моего имени под буквой Б. Увы! я не мог отыскать его под спудом тысячи лет, и все мои статейки, критики и антикритики, над которыми я часто не досыпал ночей, в приятных надеждах на будущее — исчезли! Сперва я хотел печалиться, но вскоре утешился и, выходя за двери, весело повторил любимое мое выражение: Vanitas vanitatum et omnia vanitas! (Суета сует и всяческая суета)».

Безусловно, далеко не все предвидения писателя имеют шансы сбыться. Некоторые из них слишком смелые, даже нелепые, как, например, громоотвод в шляпе или специальные шарики, которые нужно класть в рот и уши, чтобы не оглохнуть от грома во время грозы. Кроме того, автор моделирует цивилизацию, где в совершенстве освоили механику и технологии паровых машин, что в глазах современного читателя выглядит явным анахронизмом. Часть же предсказаний настолько дальновидная, что решительно принять или отвергнуть их на сегодняшний день не представляется возможным (терраформирование Луны, подводные города, инновационные приспособления для повышения слуха, сенсорики, виртуозной вкусовой модификации пищи и др.).

С учетом вышесказанного, следует заметить, что в своих фантастических произведениях Ф. Булгарин предстает чрезвычайно неоднозначным писателем. С одной стороны, упомянутый автор публикует ряд текстов философско-публицистического звучания («Правдоподобные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли», «Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рождества Христова», «Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки»), где довольно интересные сюжетные решения нередко обретают довольно шаблонное художественное воплощение, а элементы фантастического выполняют четкую служебную функцию в рамках просветительской проблематики. Тем не менее, особое место в наследии Ф. Булгарина занимают «Правдоподобные небылицы, или Странствование по миру в XXIX веке» как первый пример прогностической литературы в российском вербальном искусстве. Данное произведение демонстрирует исключительную энциклопедическую образованность автора, его осведомленность в новейших научно-технических достижениях своей эпохи, а также точность их экстраполяций в будущее, что свидетельствует об исключительном таланте писателя как футуролога.

*С точки зрения рецензента*

# Продолжение большого проекта




В Издательском доме «Звязда» увидел свет новый сборник в серии «Светлые знаки: Поэты Китая» — книга стихотворений Ван Гочжэня «Мелодии открытого сердца».

Этот проект имеет серьезную предысторию. Китайская поэзия издавна привлекает внимание переводчиков из разных литератур. И, согласитесь, переводчиков на русский, украинский и белорусский языки — также. К примеру, первые украинские переводы из китайской литературы появились еще в начале XX столетия. Сначала — сказки, сборник «Хинские рассказы» (Киев, 1918), затем — произведения Лу Синя, Эми Сяо и др. Отдельными изданиями в Украине вышли романы Дин Линя, Чжо Либо, Мао Дуня, Лю Цина. Конечно же, внимание украинских переводчиков привлекала и поэзия Ду Фу, Ли Бо, Ван Вэя. В 1987 году в Киеве на украинском языке вышла книга «Поэзия» Ван Вэя. Сегодня поэтический сборник этого известного во всем мире классика китайской литературы пришел и к белорусскому читателю на его родном языке. Книга увидела свет в Издательском доме «Звязда». Но, безусловно, данному изданию предшествовала большая работа по изучению китайской литературы целой плеяды белорусских литераторов. Кстати, всего в минской серии «Светлые знаки…» увидели свет уже семь книг. Но еще несколько слов о сборнике Ван Вэя.

Еще раньше в Минске была издана большая антология поэзии разных народов мира — «Голоса из-за небосклона». Ее составителем является белорусский поэт, переводчик, публицист Михась Скобла. Уточним: «Голоса из-за небосклона: антология поэзии мира в белорусских переводах XX столетия» (Минск, 2008 год).

Да, конечно же, поэты Беларуси в большей степени как переводчики привязаны к литературам соседних народов: украинской, русской, польской, литовской, латышской. А также — к литературам славянских народов: сербской, чешской, словацкой, болгарской, польской… Стоит заметить, что много белорусы переводят англичан, французов, итальянцев, немцев, американцев. Все это закономерно. Такие приоритеты обусловлены объективными причина-

ми: историческими, географическими, лингвистическими, а также политическими, экономическими. Но нельзя не отметить и следующие моменты… Белорусско-китайские литературные связи берут начало еще в первом десятилетии XX века. Тогда в газете «Наша Ніва» были опубликованы произведения «Дао из гор Лао» и «Игра мечом в подводном царстве» (из древнекитайской книги «Тысяча рассказов»), переведенные В. Алексеевым, который впоследствии сделал немало для развития уже русского востоковедения. Если говорить о переводческих связях в области поэзии, то, пожалуй, одним из первых начал переводить китайскую поэзию на белорусский язык Владимир Дубовка (1900—1976). Он окончил Московский Литературно-художественный институт имени Валерия Брюсова. Первые оригинальные публикации его как поэта относятся к 1921 году. Публикации переводов — к 1922 году. Владимир Дубовка считается одним из лучших переводчиков сонетов У. Шекспира на белорусский язык. В творческой работе В. Дубовки был большой перерыв. В 1930 году поэта арестовали. Первый приговор — 5 лет ссылки. В 1937-м был осужден на 10 лет тюрьмы. Во время заключения работал столяром, штукатуром, каменщиком, чернорабочим. Рабочие профессии, концлагеря и ссылки не заставили поэта и переводчика забыть о его художественных устремлениях. Окончательно В. Дубовку реабилитировали в 1957 году. С 1958 года жил в Москве, в Беларуси бывал только наездами. Продолжал активно заниматься художественной литературой. В 1959 году в десятом, октябрьском, номере журнала «Полымя» опубликовал перевод «Стихотворения о том, как осенний ветер разрушил тростниковую крышу моего домика» Ду Фу. В антологии, составленной М. Скоблой, представлены три стихотворения Ду Фу в переводе В. Дубовки. Кроме упомянутого стихотворения помещены еще и следующие произведения: «О тигре» и «Кузнечик». Кстати, биография классика китайской поэзии Ду Фу изложена в шестом томе «Белорусской Энциклопедии» (Минск, 1998 год, страница 264, автор статьи — Г. В. Синило). «Стиль Ду Фу отличается ясностью, акварельной прозрачностью», — пишет в своей статье белорусский исследователь. Жаль, что в этом энциклопедическом материале не отражено внимание белорусских переводчиков к поэзии великого Ду Фу. А теперь вот и фактического материала для такого обращения прибавилось.

Также в антологии «Голоса из-за небосклона» помещены и переводы Ду Фу, которые осуществил лауреат Государственной премии Республики Беларусь Янка Сипаков (1936—2011). Все годы своей творческой работы белорусский поэт, прозаик, публицист был внимателен к поэзии разных народов мира. А из Ду Фу перевел стихотворения «Пишу о том, что видел из своего шалаша, накрытого травой» и «Жаль».

Кстати, среди белорусских переводчиков Ду Фу — народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Микола Метлицкий. Будем надеяться, что при переиздании антологии Михася Скоблы и эти переводы Ду Фу найдут место на ее страницах.

Пять стихотворений Ли Бо (и ему посвящена отдельная книга в серии «Светлые знаки…») представлены в антологии Михася Скоблы в переводах Игоря Бобкова: «Скорбь на ступеньках из яшмы», «Ночью, причаливая в Ню Чжу, вспоминаю старые времена», «Провожаю друга», «Осенью поднимаюсь на Северную башню Се Тяо в городе Сюанчен», «Возле горы Цинн Тхин сижу печальный». Несколько слов о переводчике. Игорь Бобков родился в Гомеле. Автор единственной оригинальной поэтической книги «Solus Rex». Философ по образованию.

Ли Бо раньше также перевоплощали на белорусский язык Рыгор Бородулин, Микола Метлицкий. Отдельным изданием вышла в Минске и книга стихотворений Ли Бая (именно: Ли Бая) на русском языке. Согласно Конституции Республики Беларусь, в стране два

государственных языка — белорусский и русский. Да и востребованность книг на русском языке в обществе огромная, несравнимо более высокая, нежели на белорусском языке. Поэтому много переводных книг и издается и на русском. Переводчик Ли Бо, или Ли Бая, на русский язык и инициатор этого издания — китаец Ли Цзо, который длительное время преподавал белорусским студентам китайский язык в Белорусском государственном университете.

В антологии «Голоса из-за небосклона» — и переводы стихотворений китайской поэтессы Ли Цинчжао (1084—1151?). В книге представлено ее стихотворение в переводе Нелли Тулуповой (1938—2001) — «Пусть болезнь отступила, но все же…». Хотя в последней прижизненной книге Н. Тулуповой «Я ожидаю тебя» (1993) помещен большой цикл переводов из поэзии Ли Цинчжао. И еще в антологии опубликовано стихотворение этой же китайской поэтессы в переводе Ольги Ипатовой — «Краснота и желтизна…»). Исторический прозаик, Ольга Михайловна Ипатова как переводчик поэзии чаще обращалась к творчеству киргизских, узбекских, литовских поэтов. Также к переводам поэзии Ли Цинчжао обращался и Микола Метлицкий. Но в антологию эти переводы не вошли. Издательский дом «Звязда» ликвидировал и этот пробел, выпустив отдельную книгу Ли Цинчжао на белорусском языке. Именно в переводах Нелли Тулуповой и ее коллег — Евгении Янищиц, Валентины Ковтун, Ольги Ипатовой. Рукопись этого сборника долгое время хранилась в семье поэтессы после ее смерти. И внучка Валерия Саротник передала эту книгу в издательство. Стоит заметить, что объем переводов гораздо больше, чем книга, выпущенная в «Звяздзе». Так что работу по знакомству белорусского читателя с поэзией Ли Цинчжао можно и должно продолжить.

Несомненно, китайская поэзия — и классическая, и современная — достойна гораздо большего внимания белорусских переводчиков. И очевидно, что в последние годы такое внимание проявляется все шире. Об этом свидетельствуют новые переводы китайской поэзии, опубликованные и в белорусской литературно-художественной периодике: газете «Літаратура і мастацтва», журналах «Полымя» и «Маладосць». Сегодня над переводами китайских поэтов разных поколений активно работают Микола Метлицкий, Елена Романовская, Татьяна Сивец, Наум Гальперович, Дарья Нечипорук, Валерия Саротник, Юлия Алейченко.

У недавней новинки — книги Ван Вэя «Беседка у озера» (по-белорусски: «Альтанка ля возера») — своя серьезная предыстория. Сборник — начало, первая ласточка новой книжной серии Издательского дома «Звязда»: «Светлые знаки: Поэты Китая». Создан редакционный совет серии, в который вошли министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич, директор Издательского дома «Звязда» Алесь Карлюкевич, Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура», заведующая отделом художественной литературы Издательского дома «Звязда» Ольга Алексеева, поэт и переводчик Татьяна Сивец, переводчик Гао Ман (Китай), поэт и переводчик Чингиз Али оглу (Азербайджан), представители китайского художественного, литературоведческого мира — Лю Сулин, Чжан Хунбо, другие поэты и переводчики… В предисловии к книге Ван Вэя говорится следующее: «…стихотворения гениального китайца — отражение огромной силы, которой владеет природа по дороге к искусству. Человек сам по себе — всего лишь песчинка, фрагмент бескрайней мозаики. Творец, который берет в руки кисть или перо, должен понимать, какого уровня ответственность лежит на нем, на его вхождении в мир цвета и красок. Видно, в том и заключается секрет долголетия художественного открытия, что побеждает в борьбе со временем наиболее острая и точная мысль, наиболее острый и проникающий взгляд. Или не так?.. Читаем Ван Вэя — и ищем утверждение или опро-

вержение…». Величайшим китайским поэтом-пейзажистом назвал Ван Вэя в книге «Китайцы: моя страна и мой народ» Линь Юйтан. Приведем следующую цитату из книги «Китайцы…»: «Ван Вэя (более известного как Ван Монцзе) называли человеком, у которого «в стихах просматривается картина, а в картине стихи», потому что сам Ван Вэй был еще и великим художником. Его сборник «Ванчуань цзи» — это собрание пасторальных стихов. Стихотворение, приведенное ниже, могло быть написано только человеком, вдохновленным китайской живописью:

Среди осенних дождей-туманов
С мелких каменных склонов стекает вода;
Она окропляет эти камни один за другим.
Белая цапля испуганно слетела вниз.

Рассмотрим проблему намека. Некоторые современные западные художники безуспешно пытаются передать «движение солнечного луча по ступенькам». Китайские художники, используя ассоциативный метод, частично преодолели это препятствие именно благодаря высокому уровню развития поэтического искусства. Человек действительно может с помощью намека изобразить звук и аромат. А китайский художник может нарисовать в храме колокол, вообще не изобразив его на картине, а лишь показав верхушку крыши храма, укрывшегося среди деревьев. Сам эффект удара в колокол будет отражен на лицах взрослых и детей…».

Тридцать четыре стихотворения Ван Вэя помещены в сборнике «Беседка у озера». Семнадцать из них перевел народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин. Семь — Микола Метлицкий. Еще десять — Татьяна Сивец. Опытные, яркие поэты разных поколений одинаково настойчиво попытались проникнуть в таинство поэтических воззрений Ван Вэя.

А у Издательского дома «Звязда», надеемся, хватит сил и желания для продолжения работы над серией книг поэзии Китая «Светлые знаки…» на белорусском языке. И первыми в этом ряду уже стоят книги Ван Вэя, Ду Фу, Ли Бо, Ай Цина, Ли Хэ, Ли Цинчжао. А теперь — и сборник Ван Гочжэня. Возможно, белорусские переводчики и издатели подготовят еще и книги Яна Ваньли, Лу Ю, Чэнь Юйи, Оуюн Сю, Мэй Яочэня и других не менее замечательных творцов. Такая работа будет только содействовать развитию школы белорусского художественного перевода.

***Алесь КАРЛЮКЕВИЧ***



*С точки зрения рецензента*

# Река достигла океана




Наверно, в каждой семье есть человек, который оказывает неожиданное влияние на других членов семьи, особенно на молодых. И это вовсе не обязательно отец-мать, в случае с автором книги (Любовь Турбина, «Разносчик телеграмм», Москва, 2015) это оказалась бабушка Анна Петровна, которая, будучи, в сущности, малограмотной (окончила только четыре класса начальной школы), вдруг подарила ей книгу Юлиана Тувима «Весны и осени», прочитав которую, у будущего поэта «как пробку из души выбило — стихи пошли потоком…». «Именно она, дорогая моя бабушка Анна Петровна, разглядела во мне поэтический талант, и счастливый случай подсунул ей ту самую книжку!»

Чаще всего мы мало знаем о наших предках, но Турбиной повезло, или она оказалась любознательнее, нежели большинство внуков и правнуков. Вот и здесь подробный рассказ о бабушке, которая, где бы ни жила, хоть в городе, хоть в деревне, в самые голодные годы держала корову и этим спасла от смерти пятерых детей, а кроме того обшивала всю немалую семью. (А вот страсти к постижению музыкальной культуры не имела, больше того, когда приехала погостить в Ленинград и ее отправили с внучкой в Малый оперный театр на оперу Кабалевского «Семья Тараса», бабушка, склонная к театральности, придя домой, упала на колени: «За что? Лучше бы ты меня полы во всей квартире перемыть заставила!»

Читаешь о такой старухе и проникаешься к ней особенным чувством — доверием.

Века жужжит веретено,
Река достигла океана,
Все тоньше нить живая, но
Да будет имя осиянно

АННА!

Женщины в семье вообще сыграли немалую роль в жизни девочки. Особенно тетя Маруся, которая на протяжении многих дней так подробно, так личностно рассказывала ей о романе «Граф Монте-Кристо», что навсегда затмила и книгу. Причину ее любви к этой книжной истории Любовь Турбина узнала много позже: ее муж, венгерский коммунист Иосиф Кнапп был

арестован в 1937 году, а в 1945-м на него пришла похоронка без указания места и даты смерти… Потому и стала история графа ее любимой историей, ее личной мечтой и надеждой на возмездие.

И знак беды к нам в хоромосомы
Внедрился и проник до дна:
С прищуром, пристально, знакомо
Взглянул с экрана сатана.
И страх гнездится в сердце: где мы?
Навеки врезано клеймо —
Коснулась вслух запретной темы.
И взгляд с прищуром — из трюмо.

Семья была разветвленной: дед Василий Николаевич (скромный бухгалтер, который, однако, издал брошюру «Об истории профсоюзного движения на предприятиях стекольного производства», а кроме того, играл на всех доступных ему музыкальных инструментах, даже на фисгармонии, пел в церковном хоре…) , бабушка Вера, тетя Маруся, тетя Галя… Каждый сыграл свою роль в становлении девочки, но, конечно, главная роль принадлежала отцу и матери. Отец — Николай Васильевич Турбин, академик Белорусской Академии наук, видный ученый-генетик. В тридцать шесть лет он декан биофака Лениградского университета, в сорок два — директор института Биологии АН БССР и одновременно заведующий кафедрой генетики БГУ. Лекции отца были подлинным культурным событием в тогдашнем Минске. Их посещали также люди, далекие от биологии: Адам Мальдис, Рыгор Бородулин, Нелли Счастная… То было время, когда в жизнь провинциального Минска ворвался ветер перемен. В середине прошлого века именно генетика стала полем идеологической борьбы в Советском Союзе.

«И мне довелось послушать несколько папиных лекций… Поразила та бездна обаяния, артистизм, которым он заражал аудиторию, стараясь, чтобы его не просто поняли, а полюбили предмет — в том числе и через любовь к нему самому, что подтверждают воспоминания некоторых его студенток. Никогда — ни дома, ни в Институте, я не видела его таким вдохновенным!» Безусловно, были у него и враги. Кто-то же подготовил Никиту Хрущева во время его визита в Минск, как говорится, ввел в уши его имя как создателя очага вейсманизма-морганизма! Только благодаря поддержке секретаря горкома Сергея Притыцкого он смог продолжить работу в Институте биологии. Но не тогда ли в его душе зародилось желание уехать в Москву?.. Такое приглашение он вскоре получил.

Каждая история в книге заканчивается стихотворением. Есть стихи, посвященные бабушке Ане, матери, есть — бывшему мужу… Но нет прямо посвященных отцу. Видно, отношения с ним были важными, но не сентиментальными…

Конечно, бабушка Аня сыграла роль в пробуждении у автора поэтического сознания, но влияние отца в этом неявном процессе никак нельзя недооценить: дома было принято чтение вслух, звучали имена Гоголя, Бунина, Лескова… и даже сам Николай Васильевич писал стихи — он автор поэмы о Гераклите и княгине Ольге. А как выясняется из главки «Настоящая красавица» — мать тоже не была лишена писательского дарования: она автор книги «Страницы воспоминаний». Матери в книге посвящено немало страниц. Это была разносторонне одаренная женщина: природа наделила ее прекрасным певческим голосом и художественным вкусом: закончив курсы кройки и шитья, она стала замечательной портнихой, женские платья которой отличались и оригинальностью, и совершенством. А кроме того — красавица и хорошая жена, которая обязана была соответствовать высокому званию и положению мужа.

Что касается ее портновских работ… *«Платье было из черного крепсатина — это был такой натуральный двухсторонний шелк, мама сшила платье на блестящую сторону материи, отделкой служила матовая сторона. Так, блестящая зауженная юбка прикрывалась матовой длинной баской из двух запахивающихся снизу закругленных пол; выше, на талии, блестящий*

*корсаж, застегивающийся на пуговки, — молний не было и в помине, а лиф с длинными рукавами на манжетах, тоже сшитый на матовую сторону материала, был обильно и многодельно украшен блестящей тесьмой. Эти тонкие рулики, из которых от плеча до талии были выложены узоры в виде петелек, выворачивались с моей помощью…* Вот просто устала описывать все изыски фасона, а каково было мамочке все это воплотить?..»

Смотрю на юный твой портрет:
Как трепетны черты!
Неизъяснимый этот свет
И тайны, и мечты.

Излом бровей и нежный рот —
Трагический контраст.
Как будто знает наперед —
Поблажек век не даст.

Сюжетов в книге много. И едва ли не каждая история пропитана духом времени, пронизана деталями эпохи. Время — постоянная тема книги. «Приглядимся: разве не оно над передвижной ярмаркой раскинуло свои пестрые шатры на нашем подворье?»

С особенным вниманием читаешь воспоминания, созвучные твоим собственным. Например, о приеме в пионеры и борьбе за звание звеньевой. Нет, мне, автору этих заметок, бороться за такое звание не пришлось, мне его подарили без боя, но я тоже гордился им и носил на рукаве красную нашивку (две нашивки полагались председателю совета отряда, три — дружины. Но о таких высоких званиях ни Любовь Турбина, ни я и не мечтали). Тот же вопрос витал и над нашей семьей в дни смерти и похорон Сталина: как теперь жить?

Книга пронизана, переплетена столь явными, а подчас яркими реминисценциями, что, читая, невольно замираешь: вот оно, мое время!

Это, конечно, и чтение стихов у памятника Маяковскому в Москве и у кинотеатра «Пионер» в Минске, и парторг курса, допрашивающий студентку за то, что отлучилась в Праге к знакомым и факультетское обсуждение-осуждение «Доктора Живаго», и студента, прочитавшего роман.

«Все самое важное для будущего вползает в настоящее исподтишка: так готовились подспудно те хтонические сдвиги в обществе, пик которых пришелся уже на годы юности наших детей».

Писать о себе, может быть, интереснее, нежели о сокурсниках, сослуживцах и прочих, но определенно труднее. Или — сложнее. Много опасностей подстерегают желающих рассказать о себе. Постановишь быть умным, окажешься нудным, встанешь в интересную позу… Глядишь и — дурак дураком. Надо быть честным или, по крайней мере, откровенным, даже если рассказываешь о любви. Вот первая физическая близость и прилюдное избиение возлюбленного букетом из сосновых веток… Вот история с «Геночкой» Новицким, с которым много раз сводила и разъединяла судьба. О многом говорят молодые люди, собирающиеся связать судьбы. Геночку больше всего волновало, как будут общаться между собой их родители — с разным уровнем образования, воспитания да и бытового благополучия. Или… У каждого времени свои если не предрассудки, то предпочтения. Вот и Геночка однажды как бы невзначай бросил: «Не переживу, если жена не принесет мне невинность». Такое наивное на сегодняшний взгляд опасение…Нынче бесконечные разводы, вторые и третьи браки начисто сняли эту когда-то живую проблему.

Нынче о плотской любви и прозаики, и поэты любят писать и подробно, и зримо. Но вот интригующий рассказ о любви молодых людей «Сын по переписке», важный эпизод которого автор не смогла утаить от читателей.

«…Уже начинало светать, мы старались двигаться совсем бесшумно, но *бесстыдно зазвенели тяжелые серебряные браслеты* (выделено мною. — *О. Ж.*), которые носила тогда не снимая. Кто-то спросил: «Который час?» Я просто умерла от страха, и потому не помню, как выбралась на волю…»

Не один раз, казалось, можно было поправить движение судеб. Не довелось…

«И чем дольше живу, тем чаще думаю — как бы повернулась жизнь, если бы дождалась я тогда Гену майским сиреневым утром в Ленинграде, на площади около юного Пушкина, сидящего на чугунной скамье напротив входа в Русский музей?»

Это не усталость, это зрелость,
Отошли сомненья, зависть, злость,
Прозвучало то, чего хотелось,
Более ли, менее сбылось.

Главное,
Стал мир почти прозрачен,
И как ласка, близко благодать.
Лишь того, кто был мне предназначен,
Так и не сумела отгадать…

Простая истина: нет ничего интереснее воспоминаний, написанных литературно одаренным человеком.

Живет в этой книге еще один необычный человек, давший, однако, название произведению: «нелепая фигура с походкой клоуна Славы Полунина, с гордо вздернутым подбородком и согнутой ковшиком ладошкой», чтобы принять благодарственную мелочь — разносчик телеграмм. (Однако, какие были времена! Телеграммы — экзотика для нынешнего поколения молодых людей… Тогда их часто присылали Николаю Васильевичу — поздравления учеников и коллег с научными достижениями, званиями, наградами, с праздниками…) К его появлениям привыкли, придумали ему имя — Муля, заранее держали денежки, чтобы положить в ковшик ладони… И вдруг разносчик исчез, казалось, навсегда. Но встретились — в «новые», так сказать, времена: Муля рылся в мусорном баке в поисках пустых бутылок. Бумажную денежку, как обычно, взял с достоинством и благодарностью в ладошку-ковшик, и наконец, назвал свое странное имя: Чудо.

Внезапно вспыхнет обещаньем
Закатный блик в окне у крыши.
Густых садов благоуханье
Все ощутимее, все ближе.

Расслышать в гамме звук оттуда
И различить в толпе прохожих
Из тысяч встреч — единой чудо —
Никто на свете не поможет.

Многие герои книги — родные, друзья и приятели, вдруг так живо предстанут перед глазами — не хочется верить, что некоторые из них уже ушли из жизни.

Вспоминательный жанр — один из любимых в русской литературе — если, конечно, открыто и честно, как на исповеди у священника, зная, что от Бога ничего не скрыть, не обмануть, и чтобы заслужить прощение или хотя бы облегчение, надо быть честным.

Книга населена порядочными, добрыми людьми. Таковы все, даже те, кто по той или иной причине принес автору страдания и зло.

Из души моей обиды
Время смыло как волной.
Но сквозь годы, как сквозь чащу,
Продирается все чаще,
Не теряется из виду
Взгляд обиженного мной.

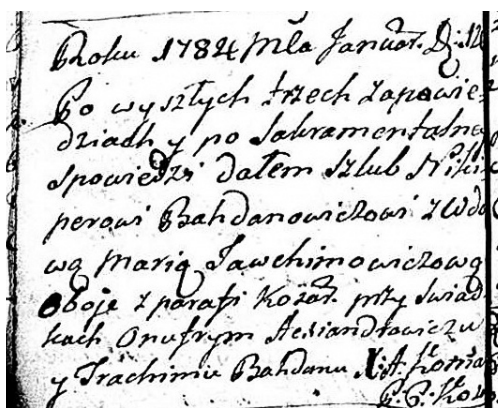
***Олег ЖДАН***



*К 125-летию Максима Богдановича*

# *Новые материалы к родословной Максима Богдановича*

В 2012 году были изданы отдельной книгой воспоминания Адама Егоровича Богдановича, отца поэта (Я всю жизнь стремился к свету. Минск: «Лiтаратура i Мастацтва»). В них Адам Егорович рассказывает и о своей родословной, в том числе упоминает ревизскую сказку за 1834 год и пишет следующее: «Лукьян — это мой дед, а Фронка дядя. Степан — прадед, а Ничипор Богданович, глава семьи, предок — эпоним, передавший фамилию Богданович своему пасынку Степану, который по отцу мог называться Скокличем. Отсюда двойственность в исповедных ведомостях и других церковных документах: то Богдановичи, то Скокличи. Гражданские документы этой путаницы не знают: там сплошь Богдановичи». В настоящее время известны две более ранние ревизские сказки, за 1811 и 1816 годы, где упоминается семья Богдановичей. Они опубликованы на сайтах музея поэта и исторического архива Беларуси.



Roku 1784 M[ie]s[iąc]a Januar. D. 12
Po wyszłych trzech zapowie-
dziach y po Sakramentalney
spowiedzi datem szlub Niki-
perowi Bahdanowiczowi z Wdo-
wą Maria Jawchimowiczową
Oboje z parafii Kozar. przy swiad-
kach Onufrym Aleksandrowiczu
y Trachimie Bahdanu

*Метрическая запись о бракосочетании Никифора Богдановича и Марии Явхимовичовой, 1784 г.*

Нам посчастливилось отыскать в историческом архиве документы XVIII века, относящиеся к родословной Максима Богдановича. Это ревизская сказка за 1795 год и метрические записи по Косаричской церкви.

В ревизской сказке за 1795 год у дедичного владельца Бобруйского уезда Иосифа Казимировича Вищинского в деревне Зубаревичи значится следующая семья (записи сделаны на польском и русском языках):

*Коренные неоседлые*

*Никифор Демьяна сын Богданович 25 лет*

*Жена его Марья Гаврилова (в польском варианте дочь Харлана — Н. К.) 28*

*У них дети сыновья*

*Стефан 10*

*Леон 9*

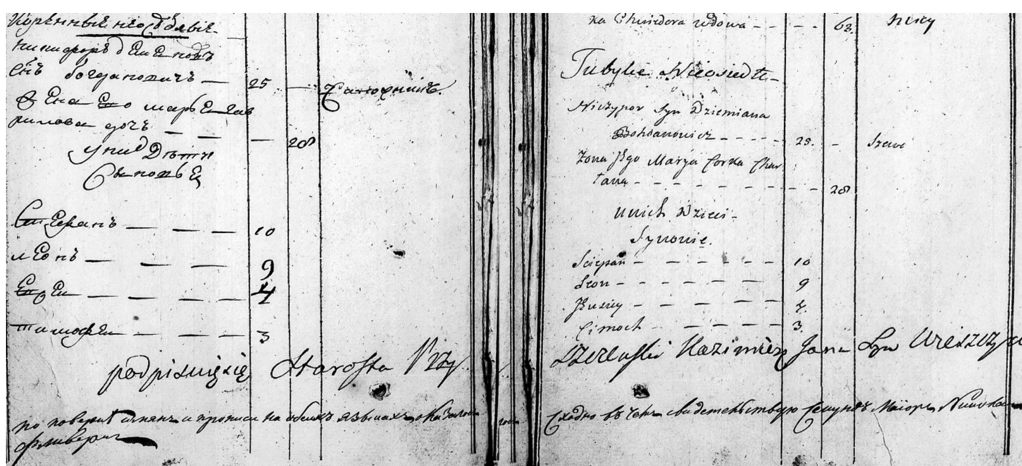
*Евсей 4*

*Тимофей 3*

(Ф. 333 оп. 9 д. 16, стр. 467 об. — 468).

Думается, Мария все же была дочерью Харлана, а не Гаврилы. Видимо, так «перевел» имя на русский язык тот, кто выполнил запись. В других записях, к примеру, — в польском варианте пишут Гришка (деревенское имя), а в русском — Григорий.

Также представляет интерес следующая метрическая запись по Косаричской церкви: «Года 1784 месяца января дня 12 по трем заповедям и таинству исповеди заключен брак между Никифором Богдановичем и вдовой Марией Явхимовичовой, оба из парафии Косаричской…» (перевод с польского; ф.136,оп. 13, д. 658б, стр. 73об).



*Ревизская сказка, 1795 г.*

Так как мы знаем, что Мария была дочерью Харлана, то, видимо, «Явхимовичовой» она записана по первому мужу.

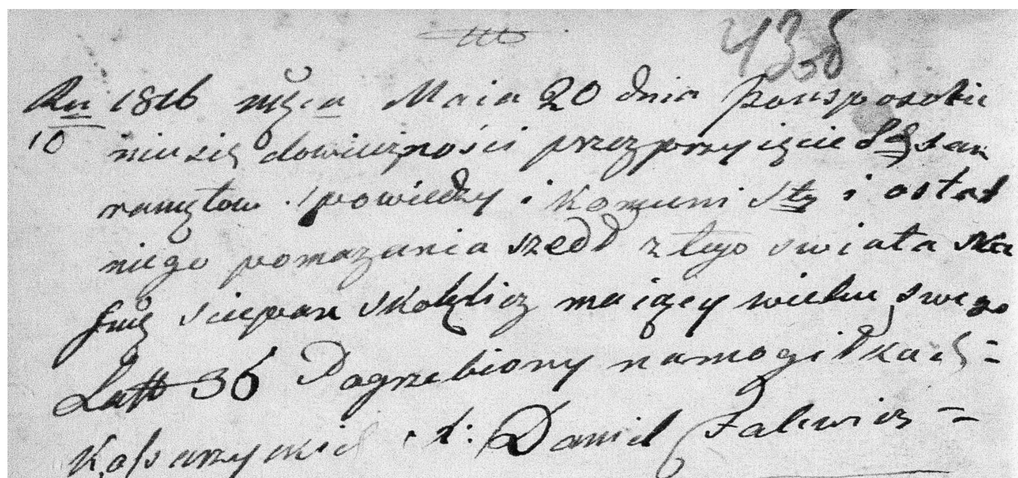
Следующая любопытная запись — о рождении Леона (из ревизской сказки мы видим, что это второй сын в семье): «Года 1786 месяца июня 20 дня крещен и елеопомазан сын Леон родителей Никифора и Марии Богдановичей…, ребенок и крестные из деревни Бобровичи» (перевод с польского; ф. 136 оп. 13, д. 658б, с. 51).

В последующих церковных записях Леон всегда пишется Богдановичем, Степан (Стефан) — только Скокличем. Есть метрическая запись и о смерти Степана. В ревизской сказке за 1834 год значится, что Степан умер в 1826 году, однако это не так. Дата его смерти — 1816 год: «1816 мая 20 дня по принятии святых таинств исповеди и причастия и последнего помазания пошел с этого света Степан Скоклич, которому было 36 лет. Похоронен на косаричском кладбище. Кс. Даниэль Фалевич» (перевод с польского; ф. 136, оп. 13, д. 721). Косаричская церковь в то время была униатской, а потому нет ничего удивительного в том, что таинства совершал ксендз.

Никифор Богданович намного пережил своего пасынка Степана. И Степан, и его дети всегда жили при Никифоре, в отличие от кровных сыновей Никифора, которые расселились и жили отдельными домами. Возможно, и поэтому за детьми Степана «утвердилась» фамилия Богдановичи.

Из ревизской сказки за 1795 год видно, что Степан и Леон — погодки. Возможно, между ними была и б**о**льшая разница. В архиве имеются метрические записи о родившихся и бракосочетавшихся по Косаричской церкви за более ранние годы (1780—1786), однако записей о рождении Степана Скоклича и бракосочетании Марии и некоего Скоклича, вероятнее всего, Явхима или Якима, в них, к сожалению, нет. О чем это говорит? Возможно, что и крещение, и бракосочетание имели место, а записи по какой-то причине просто не были сделаны, а может быть, все это происходило в другой церкви. Есть еще один вариант: по Косаричской церкви имеются и более ранние метрические записи, но нет записей за два года — 1778 и 1779-й. Конечно, маловероятно, что Степан родился в эти годы, потому что в таком случае вряд ли написали бы, что он всего лишь на год старше Леона, который, как мы знаем, родился в 1786 году.

В 1795 году семья Богдановичей оказалась в Зубаревичах. В более ранние годы и в начале XIX века они, судя по метрическим книгам, жили в Бобровичах, а затем, как указано в ревизской сказке за 1811 год, в 1804-м были переселены в Косаричи, где стали дворовыми при помещичьем доме. Все



*Метрическая запись о смерти Степана Скоклича, 1816 г.*

три указанные деревни принадлежали Иосифу Вищинскому. К слову сказать, в XVIII веке в деревнях Косаричи и Бобровичи, которые находились рядом, Скокличей было много. А вот к началу XIX века осталось всего несколько семей в деревне Бобровичи. Фамилия же Богданович, если не считать Никифора и его потомков, встретилась в названных документах всего еще один раз: 4 июля 1803 года умер некий Роман Богданович из деревни Холопеничи. Ему было около 58 лет, и погребен он был на холопеничском кладбище. Деревня Холопеничи находилась в Бобруйском уезде, недалеко от вышеназванных деревень (как мы знаем, Адам Богданович также родился и вырос в Холопеничах, но то было местечко в Борисовском уезде).

Есть еще одна любопытная метрическая запись по Косаричской церкви: «1769 сентября 7 крещен и елеопомазан сын именем Яким (Jekim) родителей Петра Скоклича и (имя матери неразборчиво)… все из деревни Косаричи» (перевод с польского; ф. 136, оп. 13 стр. 658б, стр. 20). Возможно, это и есть Яким (Явхим) Скоклич, муж Марии, отец Степана Скоклича?

На этот и многие другие вопросы пока нет ответа. Хотелось бы надеяться, что в будущем кому-нибудь удастся пролить и на них свет.

***Наталья КАЗАПОЛЯНСКАЯ***



*Литературное содружество*

# «Живем далеко, но по духу близки»

Весть о предстоящем III Съезде Союза писателей Беларуси быстро облетела интернет-пространство. Таково сегодня время, когда распространение информации носит мгновенный характер, не зная никаких географических преград. И тот, кто ищет друзей, кто хочет быть услышанным, обязательно найдет единомышленников.

Вот такая обратная связь очень убедительно проявилась в отношении сопричастности к Съезду белорусских литераторов писательского сообщества как Союзного государства, так и писательских кругов других стран. Съезд вызвал неподдельный интерес у тех, кто так же, как и белорусские творцы, ценит художественное слово, понимает его значимость как мощную силу, объединяющую народы.

К тому же, форум белорусских мастеров пера дал хороший повод для выявления литературных процессов, которые проходят на территории Союзного государства. Их сущность заключается в единстве взглядов и помыслов писателей постсоветского пространства на сообщность в творчестве, неподдельный интерес к жизни разных народов и культур, желание укреплять литературные мосты дружбы.

«С самыми добрыми пожеланиями и с большим удовольствием от имени всех писателей Татарстана поздравляю вас с очередным съездом писательского сообщества!» — одним из первых в адрес Съезда прилетело приветствие от Данилы Салихова, председателя Союза писателей Татарстана. Как трепетны слова далекого друга: «Татарстанцы еще с советских времен хорошо знакомы с творчеством классиков белорусской литературы, таких как Максим Богданович, Якуб Колас, Янка Купала. Судьба Янки Купалы напрямую связана с землей Татарстана. Память о великом сыне белорусского народа живет в наших сердцах, и его музей является одним из лучших в республике. Хорошо знакомо нам также и творчество современных белорусских писателей».

«Несмотря на то, что в последние десятилетия мы живем обособленно, нас объединяют многовековые традиции наших народов, а также Союзное государство России и Беларуси. Отрадно, что в последнее время возобновляются межгосударственные связи», — эта мысль проходит заглавной и в приветственном слове председателя Союза писателей Башкортостана Наиля Гантбаева, и председателя Союза писателей Республики Калмыкия, народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева.

Такой же смысл значимости связующей роли литературы вложен в строках праздничного поздравления, присланного Марийским региональным отделением Союза писателей России, Издательским домом «Марийское книжное издательство»: «Марийскому читателю небезызвестна белорусская литература. Во времена единого советского пространства национальные литературы активно взаимообогащались посредством художественных переводов с одного языка на другой. Связующим звеном, конечно же, был русский язык. Добротные переводческие произведения сохраняли национальный и этни-

ческий колорит, помогая ближе узнать друг друга, проникнуться духовными и культурными традициями народов».

Надежда на то, что новое время позволит еще больше укрепить творческие связи, звучит не только из уст марийских коллег.

С братским приветом от Клуба писателей Кавказа к форуму белорусских литераторов обратились балкарский поэт, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Гуртуев и чеченский писатель, президент Клуба писателей Кавказа Муса Ахмадов: «Дружба и братские отношения между писателями Кавказа и Беларуси, без преувеличения, исторические. Были времена, когда писатели не могли обходиться друг без друга. Отношения были творческими и человеческими: переводили друг друга, говорили друг о друге, искренне радовались успехам друг друга. Уверены, что налаживающиеся связи между нами будут развиваться. Мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее. Между людьми творческого труда никаких границ быть не может!» — уверены литературные аксакалы Кавказа.

Тесное партнерство, которое в последние годы сложилось между писательскими сообществами Беларуси и Казахстана, как раз и подтверждает: нет границ, если люди идут с добрыми намерениями навстречу друг к другу.

Таким образом, белорусский читатель смог познакомиться со стихотворениями видных современных поэтов Казахстана Нурлана Оразалина, Галыма Жайлыбая, Любови Шашковой, Олжаса Сулейменова. Микола Метлицкий перевел на белорусский книгу Абая «Степной простор». Тесно дружат литературные журналы: казахский «Простор» и белорусский «Нёман». «Пусть литературные связи писателей наших братских стран служат укреплению духовного родства наших народов и способствуют взаимообогащению наших национальных культур», — обратился к съезду Уалихан Калижанов, директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, член-корреспондент НАН РК.

Дорогого стоят и слова председателя Совета ДРОО «Уздени Дагестана» Керимхана Умаханова: «Уздени Дагестана высоко ценят личный вклад белорусских мастеров пера в дело укрепления межнационального мира и согласия. В период острой необходимости восстановления порушенных моральных ценностей белорусская творческая интеллигенция взяла на себя благородную миссию: словом воспитывать, словом убеждать, словом объединять силы в борьбе за мир. Ваш неугасаемый оптимизм, умение чтить память погибших, верность принципам дружбы и братства становятся образцом не только для россиян, но и всего мира».

А вот впечатления профессора доктора Мухаммада Касима Бугия, председателя Пакистанской Академии литературы, который поделился ими в приветственном слове к участникам Съезда: «Я посетил Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Визит открыл мне возможность иметь встречи с выдающимися литературными деятелями, представителями СМИ, учеными и исследователями Беларуси. Программа визита позволила мне наладить обмен между Пакистаном и Беларусью в области литературных переводов и исследований. Я хочу выразить свою радость от того, что Беларусь имеет многочисленное количество писателей и интеллектуалов, и я верю, что усилия, предпринятые Союзом писателей Беларуси, помогут развитию взаимосвязей между нашими странами.

Пусть Беларусь будет величественной, процветающей, а жизнь ее людей благополучной!»

К этим сердечным словам присоединяются и писатели Молдовы, Таджикистана, направившие в адрес Съезда в Минске свои теплые дружеские приветствия.

«Жить народам в мире и согласии, познавать уникальность национальных культур, просто дружить — это же так просто и ценно», — звучит писательское многоголосье. Как важно к нему прислушаться!

***Елена СТЕЛЬМАХ***

*Коллекция*

# Нерешенные вопросы возвращения культурных ценностей, вывезенных с белорусской территории во время Первой мировой войны

Отнюдь не для самовосхваления, а как констатацию факта, для оправдания темы своей данной статьи, хочу начать ее с цитаты из предисловия главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павла Якубовича под названием «Сокровищам необходим поиск» к моей не такой уж давнишней книге «Белорусские сокровища за рубежом» (Минск, 2009): «Когда листаешь библиографию работ Адама Мальдиса, помещенную в книге «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» (Мінск, 2007), видишь, что примерно третья часть из них посвящена вопросам реституции — поиска, атрибуции, возвращения или совместного использования кладов материальной и духовной культуры белорусского народа, которые при разных обстоятельствах, в том числе и военных, оказались на территории других, преимущественно соседних государств». К 43 страницам библиографии, о которой здесь идет речь, очевидно, имеются все основания добавить еще семь отредактированных мной и изданных Белорусским фондом культуры сборников «Вяртанне», вернее, восемь сборников. Ибо восьмой, как мне кажется, самый интересный и полезный для наших посольств и всех тех, кто занимается данной проблематикой, вот уже пять лет лежит… подготовленный, но без всякого движения в Институте культуры Беларуси.

И действительно: сегодня я могу не стыдясь признаться, что наряду с историей белорусской письменности XVI—XIX столетий, бытом и нравами наших предков проблемами реституции занимаюсь уже почти полвека, с февраля 1970 года, о чем, кажется, до сих пор не рассказывал. Тогда меня, сотрудника Института литературы АН БССР, послали перед выборами в Могилев читать лекции. После одной из них ко мне подошел человек намного старше меня, представился как бывший сотрудник довоенного Могилевского музея Иероним Филипович, пригласил к себе домой «на чашку чая и для разговора по очень важному вопросу». И когда мы уселись, задал такой вопрос: знаю ли я как литератор, что перед последней войной, когда собирались сделать Могилев столицей, поскольку он находился куда дальше от польской границы, чем Минск, в более укромное место начали свозить со всей Беларуси музейные ценности. И среди них оказались чудотворный крест Святой Евфросинии Полоцкой, Слуцкое Евангелие, золотой ключ от врат Могилева и многое-многое другое. В курсе ли я как литератор, где все это теперь?

Я ответил, что в газете «Голас Радзімы», которую выписывал, вычитал следующее: в первые дни оккупации мимо музея шел немецкий офицер, глянул через окно в подвал и увидел, что там виднеется что-то похожее на золото. Приказал взломать дверную решетку, спустился в подвал и поднял крест. Вывез его с собой в Германию, а потом, после войны, в западной зоне продал на рынке агенту какого-то американского миллионера. Потом, мол, в Эрмитаже всплыла фамилия Моргана…

Хозяин дома рассмеялся:

— Все это чушь. Хорошо помню, что крест хранился не в подвале, а на

довольно возвышенном первом этаже, куда с улицы не заглянешь… Я хорошо помню, видел сам, как музейные ценности грузили в машину еще до прихода немцев. Могилев — не Брест, не сразу очутился в их руках. В Могилев успел приехать сам Пономаренко, сидел в машине. Мы сразу узнали его. А потом уехали они не через Смоленск, ибо туда рвались немцы, а через Рославль и — южнее. Да и сам Пономаренко потом, в 44-м, кажется, на минском комсомольском пленуме говорил о кресте как о существующей, находящейся в поле зрения белорусской ценности…

— Так где же он теперь? Я еще слыхал версию, что его отдали в Америку как плату за поставки по ленд-лизу…

— Я интересовался этим слухом. Но по ленд-лизу мы не платили ничего.

— Где же тогда искать?

— Я теперь работаю инженером и далек от таких дел. А вы работаете в Академии наук — вам и карты в руки. Проверяйте официальную версию. А мне? Мне лучше помогите где-нибудь напечатать мою статью по истории Могилева.

Но я не сразу поверил в «неофициальную» версию, как журналист по образованию и несколько лет по профессии больше верил «Голасу Радзімы».

Вернувшись из командировки домой, решил поделился услышанным с Владимиром Короткевичем, который жил тогда рядом, всего через дом. Известный уже сосед довольно мрачно выслушал мой пересказ и вынес вердикт:

— Ты ж быў, стары (его любимое слово. — *А. М.*), нейкі час сакратаром партыйнай арганізацыі ў сваім інстытуце… То гэта твой абавязак — пайсці да свайго начальства, і няхай праверáць. І згадай ім, што на крыжы напісана: хто яго возьме і не верне, таго напаткае пакаранне Боскае!

Но идти никуда не понадобилось: приблизительно через пару недель в Академию пришел на собрание секретарь ЦК КПБ Станислав Пилатович. Я решился послать ему записку, а он приказным тоном сказал мне подойти к нему, когда закончится собрание.

Что было дальше, доскажу в конце текста. Здесь же перейду к своей главной теме: белорусским ценностям, находящимся нынче в других странах. Системно они делятся на следующие четыре группы.

Первая — когда владельцы их сами, по своей воле вывезли за сегодняшние рубежи, как Эмерик фон Гуттен-Чапский из Станькова под Минском в Краков или как Николай Румянцев из Гомеля сначала в Петербург, а потом в Москву. В таких случаях нам остается только совместно изучать наследие, ходатайствовать об организации в нашей стране познавательных и бодрящих национальное самосознание выставок.

Вторая — когда создатели ценностей сами жили за рубежом, сами оставили их там в музеях. Примеры тому — художественные творения довольно многочисленных наших соотечественников, которые работали во Франции, России, Польше, Литве, США, Швеции. Условия для нашего знакомства с их картинами остаются те же, что и в первой ситуации. При двустороннем старании здесь могут быть хорошие достижения, как недавняя выставка произведений наших соотечественников, принадлежавших к французской школе. За это удовольствие мы должны сказать спасибо нашему известному дипломату и искусствоведу Владимиру Счастному.

Третья — сокровища, которые вывозились из наших частных и учрежденческих коллекций на том основании, что белорусские земли тогда входили в состав сегодняшних соседних государств. Так было в виде наказания после восстаний под руководством Тадеуша Костюшко, 1831 и 1863 годов, что можно хотя бы как-то приблизительно и объяснить, но так было, напомню, и после ликвидации католических Полоцкой академии и Пинской семинарии. Их богатые многоязычные библиотеки, насколько мне известно, лежат в Петербурге (это хорошо показано в трудах выступающей Татьяны

Гернович с истфака БГУ) и Москве, фактически невостребованные читателями, и могут быть возвращены назад как проявление доброй воли государственного объединения Беларуси и Российской Федерации.

Наконец, четвертая, основная сегодня для меня группа — архивные, библиотечные и музейные ценности, вывезенные временно в связи с военными действиями, чтобы спасти их от наступающего врага. Такие потери наш народ понес как во время Первой, так и Второй мировых войн. Но если соответствующие события 1941—1944 годов уже достаточно освещены, в том числе и мной в статьях на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня», то спасательные вывозы 1915—1916 годов достойны не только напоминания, но и пристального внимания, соответствующих дружественных действий правительств двух соседних, многим объединенных стран.

Напомню, что когда российско-германские действия «Великой европейской войны», как ее тогда называла императрица, ибо никто тогда не предвидел, что вслед за Первой мировой будет еще и вызванная ее последствиями Вторая мировая война, передвинулись на восток, на белорусские земли, были сделаны, как я понимаю, правительственные распоряжения спасать частные и церковные ценности вывозом их в восточном направлении — в Москву и близлежащие города.

Прежде всего бессистемные и во многом стихийные и даже панические действия вывоза коснулись Гродно, близлежащих поместий — Альбертина Пусловских, Роси Браницких и имения Немцевичей Скоки около Бреста.

Из Гродно в Москву была вывезена икона Коложской Божьей Матери. В 1990-е годы во время обмена делегациями между этими городами было установлено, что эта чудотворная реликвия по-прежнему находится в одном из районов российской столицы. Начались разговоры о возвращении, материалы об этом были напечатаны мною в «Голасе Радзімы», но потом заглохли и сегодня требуют возобновления.

Больше сведений дошло до нас о портретах рода Немцевичей и других картинах, которые находились в Скоках, а потом оказались (непосредственно или через Москву) в Калуге. В свое время мне удалось установить связи с директором областного краеведческого музея этого города Василием Пуцко. Он принял участие в одном из конгрессов Международной ассоциации белорусистов, статьи о калужских собраниях были напечатаны в минской прессе. С другой стороны, брестские краеведы установили связи с германскими архивистами, откуда были получены снимки интерьеров, сделанные в Скоках. Ведь именно там, в связи с разрушениями в Брестской крепости, происходили в 1917 году российско-немецкие мирные переговоры. В итоге поисков и сопоставлений в Беларусь из Калуги были возвращены три портрета Немцевичей, но не в Скоки, ибо там еще не начинался ремонт, а почему-то в Гродно. И где они теперь находятся, установить мне не удалось. Но во всяком случае из присутствующих у меня копий публикаций видно, что около Москвы еще осталось многое из того, что следовало бы вернуть на Брестчину в отремонтированную уже и посещаемую туристами усадьбу известного польского классициста XVIII столетия.

После Гродненщины и Брестчины тревога, вызванная наступлением немцев вплоть до Сморгони и Мяделя, вызвала тревогу в Минске и даже в Витебской губернии. В Москву и ее окрестности были вывезены из пригорода Минска Прилуков собрания, преимущественно восточнославянские, тогдашнего городского головы нынешней нашей столицы Карла (Кароля) Чапского, сына Эмерика фон Гуттен-Чапского. О судьбе этих сокровищ я ничего не смог узнать и надеюсь теперь на помощь московских коллег.

Зато почти все узнал из уст недавно умершего почетного профессора многих университетов, в том числе и БГУ, последнего наследника князей Мстиславских и Заславских и поэтому одно время даже претендовавшего на белорусский престол, почетного граждани-

на Заславля (но не заупрямившегося Мстиславля!), жителя Лондона Анджея Цехановецкого. Его богатые собрания из родовой усадьбы Бочейково нынешнего Бешенковичского района Витебской области в 1916 году были на временных условиях отправлены в двух вагонах в Москву, а потом, по косвенным сведениям, попали в Орел. Перед смертью он, почетный член Международной ассоциации белорусистов, не раз публично повторял, что временно вывезенные на восток экспонаты должны быть возвращены не в Лондон и не на Королевский замок в Варшаве, где находится подаренная им ценная коллекция, а в Музей древнебелорусской культуры в НАН Беларуси, куда он в свое время через меня передал из Лондона уникальный слуцкий пояс.

В Москве находятся также белорусские по происхождению музейные собрания, которые были вывезены в Москву не из наших земель, а из соседнего Вильно, сегодняшнего Вильнюса. Они копились братьями Тышкевичами, Евстафием и Константином, историками-археологами, в их усадьбе в Логойске. Но там созданный ими музей древностей редко смотрели посетители. Поэтому в 1855 году, став попечителем Виленского музея древностей, Евстафий Тышкевич временно перевез туда и основные, логойские собрания. Сегодняшнее место им — конечно же, опять в древнем Логожеске, находящемся на бойком туристическом пути.

Подводя итоги краткому анализу белорусских ценностей, добровольно и временно вывезенных владетелями ради спасения от военного захвата в Москву и ее окрестности, я предлагаю возобновить переговоры об их возвращении, которые велись министерствами культуры наших соседних стран в начале 1990-х годов. Сам помню свое участие не в одной такой многообещающей встрече и в Москве, и в Минске. Но потом они приостановились, хотя теперь, при нынешнем государственном единении, должно быть совсем наоборот.

Наконец, несколько слов о том, как дальше проходили мои поиски наиболее ценных, с моей точки зрения, музейных сокровищ, вывезенных с нашей территории во время иной, Второй мировой войны. Прежде всего ради возвращения самой ценной нашей реликвии, креста Преподобной Евфросинии Полоцкой, первый наш министр иностранных дел Петр Кравченко взял меня на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. Посещения Музея Пирпонта Моргана и разговоры там со знакомцами моих коллег и как раз одновременные публикации в нашей печати, а потом и визит министра вместе со мной к директору музея убедили меня, что креста там нет, он остался в Москве. Эту мысль я развивал на научной конференции в Нью-Йорке в 1996 году, других форумах и встречах, в том числе в Москве. Эту мысль существенно подтвердил мой коллега, известный архивист Виталий Скалабан, последние публикации разных авторов в прессе, особенно в «Нашай Ніве», на которые никто не отреагировал протестом.

Вот почему во мне теплится надежда, что когда в следующем году начнется празднование пятисотлетия белорусского и одновременно всего восточнославянского книгопечатания, начатого Франциском Скориной и продолженного вилейчанином Иваном Федоровичем (Федоровым) и Петром Мстиславцем как последовательный и взаимосвязанный процесс, когда это празднество начнут (дай-то Боже) в Полоцке католический и православный Первоиерархи, которые дали согласие, прямое или косвенное, на свой приезд в Беларусь, о чем уже сообщила печать, все это стало бы подлинным торжеством Слова, которым начинается Священное Писание. Оно издавалось ими для православного «люду посполитого» нашими первопечатниками, людьми трудолюбивыми, многострадальными, богобоязненными и как таковые, кажется мне, грешному, стоящими канонизации. Как Кирилл и Мефодий.

***Адам МАЛЬДИС***

*Память*

# Забытая крепость Осовец

В Советское и постсоветское время освещение тех или иных исторических событий зависело от складывающейся политической конъюнктуры. В семидесятые годы прошлого столетия объектом № 1 для историков и официальной пропаганды была Малая Земля — тактический вспомогательный десант, высаженный в Цемесской бухте под Новороссийском в феврале 1943 года. Этот эпизод войны связан с именем советского лидера Л. И. Брежнева. Ему уделялось больше внимания в отечественных СМИ, чем величайшему сражению Второй мировой войны — Сталинградской битве.

В угоду политической конъюнктуре замалчивались события, связанные со сражениями русской армии с германскими войсками в годы Первой мировой войны на территории Польши.

К числу «белых пятен» в истории принадлежат бои частей Красной Армии с фашистскими войсками в июне 1941 года на Белостокском выступе.

Попытаемся осветить события двух Мировых войн, связанные с обороной русской армией крепости Осовец в 1915 году и защитой ее частями Красной Армии в июне горького и страшного 1941 года.

Местность вокруг города Осовец, расположенного на территории северо-восточной Польши, на берегу реки Бобр (нынче Бебжа), имела исключительно важное значение для защиты от ударов германцев железнодорожной магистрали Граево—Белосток—Брест и прикрытия тыла основной группировки войск Варшавского военного округа.

По высочайшему повелению государя-императора Александра III в 1882 году у польского городка Осовец было начато строительство малой крепости (или крепости-заставы).

Новым в принципах строительства этой крепости было то, что она не создавалась для круговой обороны в условиях полного окружения, а изначально должна была сдерживать неприятеля, имея открытый тыл. Это обеспечивало ее непрерывное снабжение резервами и боеприпасами, тесное взаимодействие с полевыми войсками. Руководителем проектных и строительных работ крепости Осовец был известный русский фортификатор генерал Константин Иванович Величко.

Крепость Осовец привлекла к себе внимание российской общественности по другим причинам. Лесисто-заболоченная пойма реки Бобр была удобным местом для перехода границы Российской империи контрабандистами, а впоследствии — членами революционных партий и террористических организаций. У пограничников не было ни одного спокойного месяца службы. Первые русские могилы на территории крепости Осовец были могилами пограничников.

Первую мировую войну гарнизон крепости Осовец встретил под командованием генерал-майора Николая Александровича Бржозовского, ранее возглавлявшего артиллерию Осовца.

Это был боевой генерал русской армии. Он прошел через горнило боев русско-турецкой войны 1877 года и русско-японской войны 1904—1905 годов.

Служба этого человека проходила на окраинах империи — Кавказе, Средней Азии, Дальнем Востоке.

К началу военных испытаний генерал Бржозовский успел хорошо подготовить крепость и гарнизон.

Война подошла к крепости Осовец в январе 1915 года. В весенне-летней кампании германское командование планировало сходящимися ударами из Голиции и Восточной Пруссии окружить и разгромить основную группировку Северо-Западного фронта в районе Варшавы. Осуществление этого плана позволило бы германским войскам нанести удар на восток через Польшу, Беларусь к Москве.

Начало осады крепости Осовец — 30 января 1915 года. После мощной и продолжительной артиллерийской подготовки войска 8-й германской армии начали штурм. Гарнизон, поддержанный двумя полками 57-й пехотной дивизии, устоял. Началась осада Осовца: штурмы, артиллерийские обстрелы, длившиеся неделями, газовые атаки.

План германского командования нанести удар во фланг и тыл основной группировке войск генерала М. В. Алексеева был сорван. Немецкие войска оказались втянутыми в бесперспективные затяжные бои с русской армией.

В августе войска Северо-Западного фронта, избежав окружения под Варшавой, отошли на рубежи восточнее Осовец—Белосток—Брест.

29 августа 1915 года по приказу командования доблестные защитники крепости Осовец, взорвав уцелевшие укрепления, оставили обильно политый русской кровью участок.

Через Осовец прошло 52 тыс. русских солдат и офицеров. 18 тыс. из них сложили свои головы в боях за крепость. Сколько преждевременно ушло из жизни от последствия газовых атак, установить невозможно. Ведь защитники Осовца не были обеспечены противогазами. Так, в 1915 года крепость Осовец защищал ефрейтор Яков Климентьевич Горбунов, мой дед по матери, который в этих боях был ранен и отравлен газами. В 48 лет он ушел из жизни оставив вдову с тремя малолетними детьми.

Генерал Н. А. Бржозовский организованно вывел личный состав гарнизона, тяжелое вооружение, боеприпасы и продовольствие на восток в направлении на Гродно. Врагу достались лишь развалины крепости.

За проявленное мужество, героизм и воинское мастерство Н. А. Бржозовский был удостоен ордена Георгия IV степени и золотого Георгиевского оружия, произведен в чин генерал-лейтенанта. Награды и генеральские погоны Н. А. Бржозовскому вручил сам государь-император Николай II. Боевых наград были удостоены также солдаты и офицеры гарнизона крепости.

В годы Первой мировой войны ни одна крепость русской армии не выдержала более продолжительной осады. Защитники Осовца стали символом стойкости русской армии в боях с немецкими войсками.

Генерал Бржозовский успешно командовал войсками 44-го армейского корпуса. За отказ присягнуть Временному Правительству он был отправлен в отставку. Приход к власти в октябре 1918 года большевиков и заключенный ими мир с Германией считал величайшей катастрофой в истории России.

Генерал Бржозовский оказался в рядах Белого движения на юге России. Занимался подготовкой офицерских кадров для белогвардейских войск. С 1920 года в эмиграции. Свой жизненный путь окончил в Белграде, в нищете.

Однако ход истории неумолим. Драматические события лета и осени 1939 года предопределили приход Советского солдата на многострадальную землю Осовца. 26 сентября в крепость вошли части 2-й Белорусской стрелковой дивизии.

2-я Белорусская стрелковая дивизия в 20—30-е годы прошлого столетия была основой Минского гарнизона. Это соединение славилось в Белорусском военном округе своей боевой выучкой. Во 2-й Белорусской проходили испы-

тания новые образцы стрелкового вооружения, боевой техники, готовились кадры младшего командного состава для войск округа. Дивизией командовали в довоенные годы наиболее перспективные командиры. Например, в 1936—1937 годы 2-й Белорусской командовал комдив И. С. Конев — будущий Маршал Советского Союза.

В рамках оборонного строительства, которое началось на западной границе Советского Союза в 1940 году, старая крепость Осовец выполняла роль казармы и складов для развертывания войск на случай войны с Германией.

Осовец был базой для 66-го укрепленного района.

Войска 10-й армии Западного особого военного округа, дислоцированные на Белостокском выступе, по планам Генштаба, имели задачу отрезать восточно-прусскую группировку немецких войск от Германии. 2-й Белорусской стрелковой дивизии, как и другим частям, предстояло штурмовать Восточную Пруссию, где каждый дом, каждая постройка приспосабливались к обороне. 66-й укрепленный район (Осовецкий) защищал пограничную полосу шириной 60 км. Основой гарнизона стала 2-я Белорусская стрелковая дивизия полковника М. Д. Гришина, хорошо подготовленная к боям с любым противником.

В состав этого соединения входили: 13-й стрелковый полк полковника Ф. Т. Леусова, 200-й стрелковый полк майора Г. Д. Маврина, 261-й стрелковый полк майора А. С. Солодкова.

В состав артиллерии дивизии входили: 164-й легко-артиллерийский полк полковника А. П. Радзивила, 243-й гаубичный полк капитана Г. Н. Билетова и ряд специальных подразделений.

Однако к началу войны артиллерия убыла на плановые учебные сборы в поселок Чырвоны Бор, что под Ломжей в 80 километрах от места постоянной дислокации. Зенитно-артиллерийский дивизион находился на сборах под Борисовом, у поселка Крупки. Поочередно по одному батальону из каждого стрелкового полка было задействовано на строительстве укреплений непосредственно на границе, там же оставалось около 50 процентов автотранспорта дивизии. В различные командировки, отпуска, на учебу убыло около 30 процентов командного состава соединения. Дивизией временно командовал полковник Константин Павлович Дюков — заместитель командира соединения по строевой части.

66-й Осовецкий укрепрайон имел в своем составе 73-е управление начальника строительства и два артиллерийско-пулеметных батальона. Комендант Осовецкого УРа — полковник С. Н. Дралин. Непосредственно границу в полосе Осовецкого УРа охраняли пограничники 86-го пограничного отряда подполковника Г. К. Здорного.

Было еще одно чрезвычайно опасное «но» — нарком обороны маршал С. К. Тимошенко категорически запретил офицерскому составу войск прикрытия заблаговременно вывозить вглубь страны свои семьи, несмотря на чрезвычайно тревожную обстановку на границе с Германией.

В последний мирный вечер в Осовце стояла теплая и ясная погода. Политотдел дивизии организовал полковые смотры художественной самодеятельности. В гарнизонном клубе демонстрировался кинофильм «Человек с ружьем», а после его окончания начались танцы под музыку дивизионного оркестра. Однако это было тревожное веселье. Многие предчувствовали, что оно последнее в их жизни.

Основа любой армии — это люди. Красная Армия 1939—1941 годов была укомплектована красноармейцами, младшими командирами и командирами ротного звена, уроженцами 1917—1922 годов. На их долю выпали все трудности 30-х: коллективизация, индустриализация, репрессии. Многие из этих парней за свою короткую жизнь не сносили добротной одежды, даже не сумели ни разу досыта поесть. Зато с малолетства были приучены к труду, закалены жизненными невзго-

дами. Для Красной Армии это был превосходный человеческий материал. В подтверждение расскажем о горькой судьбе коренного могилевчанина Ивана Яковлевича Горбунова.

Он родился в 1919 году в городе Могилев в рабочей семье. Весной голодного 1933 года лишился отца. Его мать Дарья Никоновна не могла одна прокормить трех детей. Ивану пришлось оставить учебу в школе и поступить в ремесленное училище. Потом были два года на строительстве Челябинского тракторного завода, работа вагранщиком на могилевском кроватном заводе, автошкола, работа водителем на грузовике ЗИС-5 в автобазе областного управления связи.

В декабре 1939 года Иван ушел на работу. Но уже через два часа вернулся домой и сообщил матери о том, что его призвали в Красную Армию. Отправка немедленно. Мать не успела организовать ему прощальный ужин. Иван не смог попрощаться с сестрами, которые находились в школе. Горбунов вместе с восемью соседями по улице Подгорной попал служить во 2-ю Белорусскую стрелковую дивизию в Осовец.

Ранним утром трагического дня 22 июня 1941 года личный состав крепости Осовец был разбужен ревом немецких самолетов, взрывами бомб и тяжелых снарядов. Казалось, что крепость стала эпицентром извержения вулкана, что от взрывов и пожаров погибло все живое.

Когда взрывы затихли, у разрушенных казарм сидели и стояли группы полуодетых солдат, среди них было много раненых с наспех наложенными повязками. У всех был один вопрос — это война или крупная провокация?

Еще большее потрясение пережили строители и личный состав стрелковых батальонов, задействованных прямо на границе. Сразу после окончания обстрела среди палаток лагеря появились немецкие автоматчики. Люди оказались в плену уже в первые часы войны.

Очень скоро в крепости поняли: началась страшная война. Начальник гарнизона не имел устойчивой связи с вышестоящим командованием и действовал так, как сам понимал обстановку. Но беда не приходит одна. По приказу полковника Дюкова на станции Осовец сформировали эшелон, в котором эвакуировались семьи военнослужащих, тяжелораненые солдаты и офицеры. Этот эшелон разбомбила авиация врага. Пытавшихся спастись из горящего поезда женщин и детей расстреливали немецкие самолеты. Тяжелораненые сгорели в вагонах. Эта страшная новость уже к утру второго дня войны разнеслась по гарнизону крепости. Нетрудно представить, какой это был удар для личного состава.

Полковник Дюков не стал организовывать атаки с целью восстановления положения на границе у Граево. Он приказал командиру 261-го стрелкового полка майору А. С. Солодкову перекрыть дорогу Граево—Осовец у местечка Руда. В течение одного дня войны дивизия спешно готовила оборону по рубежу реки Бобр на линии крепостной позиции Осовца и вступила в бой с частями 42-го армейского корпуса врага.

Непосредственно крепость Осовец обороняли личный состав 13-го стрелкового полка подполковника Ф. Т. Леусова, 200-го стрелкового полка майора Г. Д. Маврина, а также отошедшие к крепости подразделения 261-го стрелкового полка майора А. С. Солодкова. К. П. Дюков принял личный состав разбитых в боях на границе соседних частей и соединений.

К концу первого дня войны наконец добрались к месту дислокации со сборов в Червоном Бору артиллеристы 2-й стрелковой дивизии. В небе господствовала авиация врага. В результате ее ударов артиллерийские полки потеряли около 50 процентов личного состава и орудий. К утру 23 июня артиллеристы заняли огневые позиции в крепости Осовец и поддержали огнем свою пехоту.

В течение двух суток — 23 и 24 июня — немецкие войска штурмовали

Осовец, но защитники крепости устояли. Убедившись в безрезультатности атак, командование врага их прекратило. Зато авиация продолжала наносить мощные бомбовые удары. Бомбежки чередовались с артобстрелами.

На второй день войны по приказу командования отступили на восток пограничники подполковника Г. К. Здорного и уцелевший личный состав 66-го укрепрайона полковника С. Н. Дралина. В крепости остался личный состав 2-й стрелковой дивизии.

Убедившись в отходе на восток соседей, полковник К. П. Дюков понял, что оборона Осовца потеряла всякий смысл. Промедление приведет к гибели и пленению всего гарнизона. Он приказал защитникам в ночь на 27 июня оставить крепость.

Ранним утром разведчики 191-й пехотной дивизии 42-го армейского корпуса вошли в разрушенную крепость, оставленную советскими войсками.

Соединение полковника Дюкова последним покинуло Белостокский выступ. Отступали организованно, походными колоннами.

Дороги отступления пролегли из Осовца через Сокулку, Крынки, Берестовицу. У поселка Рубежевичи Дзержинского района, на старой границе, остатки этого соединения были разгромлены и рассеяны врагом. Случилось это 3 июля 1941 года.

Полковнику Дюкову во главе отряда численностью 250 человек удалось перейти линию фронта в августе 1941 года.

Куда меньше повезло командирам частей полковнику А. П. Радзивилу, подполковнику Ф. Т. Леусову, майорам А. С. Солодкову, Г. Д. Маврину. Они, будучи ранены в боях под Рубежевичами, были пленены врагом. Их горькую участь сполна разделили сотни воинов 2-й стрелковой дивизии.

За оборону крепости Осовец наград не удостоился ни один ее защитник. Пролитая кровь и страдания воинов были ненапрасными. Темп наступления вражеских войск снизился из-за упорного сопротивления окруженной группировки 10-й и 3-й армии западнее Минска.

Было выиграно время для развертывания войск 2-го стратегического эшелона по рубежу рек Западная Двина — Днепр. Блицкриг начал давать осечку. Начала вырисовываться перспектива затяжной войны, в которой Германия однозначно была обречена на поражение.

После выхода из окружения полковнику Дюкову пришлось пройти длительную и унизительную проверку по линии органов госбезопасности. Этому незаурядному офицеру не доверяли самостоятельной командной должности.

Дюков продолжил службу в должности старшего помощника начальника оперативного управления штаба Западного фронта. Во время проведения операции «Багратион» летом 1944 года получил тяжелое ранение.

После госпиталя воевал в должности начальника штаба 29-й Гвардейской стрелковой дивизии. Войну закончил в Германии. Продвижения никакого: полковником начал, полковником закончил. В 1947 году вышел в отставку. Вернулся на свою малую родину. Работал в должности председателя Солигамского райисполкома Костромской области. На родине о себе оставил добрую память.

В 1959 году Константина Павловича Дюкова не стало.

Полковник А. П. Радзивил и майор А. С. Солодков трагически погибли в плену. Полковник Ф. Т. Леусов стойко выдержал ад лагерей военнопленных. Однако после освобождения был осужден на 15 лет лагерей. Трагически погиб в неволе. Реабилитирован посмертно в 1959 году. Майор Г. Д. Маврин в плен попал прямо в санитарной машине, ему ампутировали ногу. Чудом остался в живых. Положенную ему военную пенсию стал получать в 1953 году, после смерти Сталина.

Рядовой Иван Горбунов пропал без вести. Домой не вернулся никто из восьми его товарищей. Его матери

Дарье Никоновне Всевышний дал долгий век. Она умерла в 1987 году. Часто вспоминала своего первенца Ванечку. Горько было слышать от нее слова: «Хорошо бы Ванечка был убит сразу, без мучений, и избежал плена». Плакала навзрыд, когда мимо ее дома на Подгорной провожали очередного призывника в армию.

К глубокому сожалению, вопрос об увековечивании памяти воинов 2-й Белорусской стрелковой дивизии, павших в бою с врагом под Рубежевичами 3 июля 1941 года, остается открытым.

Как говорил мой хороший товарищ, защитник Осовца, Владимир Николаевич Болейко: «Мы проклятые солдаты, Родина-Мать о нас не вспомнит».

Однако история знает и другие примеры увековечивания памяти павших воинов.

Известие о разгроме русской эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского в сражении с японским флотом потрясло всю Россию. Ведь военно-морской флот был элитой вооруженных сил страны.

Стихийно среди общественности и широких народных масс возникло движение по увековечиванию памяти семи тысяч русских моряков — героев-мучеников, погибших на Цусиме без погребения. На народные средства был построен в Петербурге храм-памятник жертвам Цусимы в 1910—1911 гг. Храм поражал всех своей красотой. Он просуществовал до 1932 года. В рамках антирелигиозной кампании, проводившейся в то время, по приказу Ленинградского лидера С. М. Кирова храм-памятник был взорван, а имущество разграблено.

Хорошо бы у поселка Рубежевичи, у места последнего боя 2-й Белорусской стрелковой дивизии, установить какой-либо памятный знак или часовенку.

***Александр МАЛАХОВСКИЙ***



# Содержание журнала «Нёман» за 2016 год

## ПОЭЗИЯ

## ПРОЗА

## «СЯБРЫНА»: МОЛОДАЯ РОССИЙСКАЯ ПРОЗА



## «СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ—ТАДЖИКИСТАН

**Журнал «Памир» в гостях у «Нёмана»**



## «СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ—РОССИЯ

***Мост дружбы***



## «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В «НЁМАНЕ»

***Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан***



## НАСЛЕДИЕ



## ЭПОХА

## ИМЕНА



## ДОКУМЕНТЫ. ЗАПИСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ



## ВРЕМЯ. ЖИЗНЬ. ЛИТЕРАТУРА



## ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

***С точки зрения рецензента***

***Искусство суждения***



## КУЛЬТУРНЫЙ МИР



## COLLEGIUM MUSICUM



## НАПОСЛЕДОК

***Литературное содружество***

***Жизнь в искусстве***



***Имена***



***Личность***



***Коллекция***



*К 125-летию Максима Бо гдановича*



## ПАМЯТЬ



## ВНЕ ВРЕМЕНИ



## И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ



## ИЗ ПОЧТЫ ЖУРНАЛА



***Составила Н. ПАРХИМОВИЧ.***



**КОЗЛОВ Анатолий Сергеевич.** Родился в 1962 г. в д. Осиновка Краснопольского района Могилевской области. Окончил Гомельский государственный университет, аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Прозаик. Автор книг прозы «Міражы ценяў», «...І тады я памёр», «Незламаная свечка» и др. Живет в Минске.

**ХВАЛЕЙ Евгений Иванович.** Родился в 1947 г. в д. Бельковщина Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор книг «Ярына», «Прычасце», «Зялёны прамень аеру», «Прынцэса з тусоўкі» и др. Лауреат литературной премии «Золотой Купидон». Живет в Минске.

**МАРЧУК Георгий Васильевич.** Родился в 1947 г. в Давид-Городке Столинского района Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик, драматург. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

**ЛИСНЯК Александр Алексеевич**. Родился в 1948 г. в Лискинском районе Воронежской области. Окончил дирижерско-хоровое отделение культурно-просветительского училища, факультет журналистики Воронежского государственного университета. Автор многих книг поэзии и прозы. Живет в деревне Прудок Городокского района Витебской области.

**МАТВИЕНКО Анатолий Евгеньевич.** Родился в 1969 г. в поселке городского типа Погар Брянской области (Россия). Окончил Дятьковское СПТУ № 14 Брянской области по специальности «художник по стеклу». Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

**ПИЧУГИН Геннадий Васильевич.** Родился в 1952 г. с. Кувакино Алатырского района (Чувашия). Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и Минский государственный педагогический институт имени М. Горького. Автор поэтических сборников «Земное стояние», «До боли, до стона, до крика!», «От себя не убежишь». Живет в г. Смолевичи Минской области.

**СЫС Анатоль (Анатолий Тихонович).** Родился в 1959 г. в д. Горошков Речицкого района Гомельской области. Окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. При жизни вышло три сборника поэзии: «Агмень», «Пан лес», «Сыс». Умер в 2005 году.